



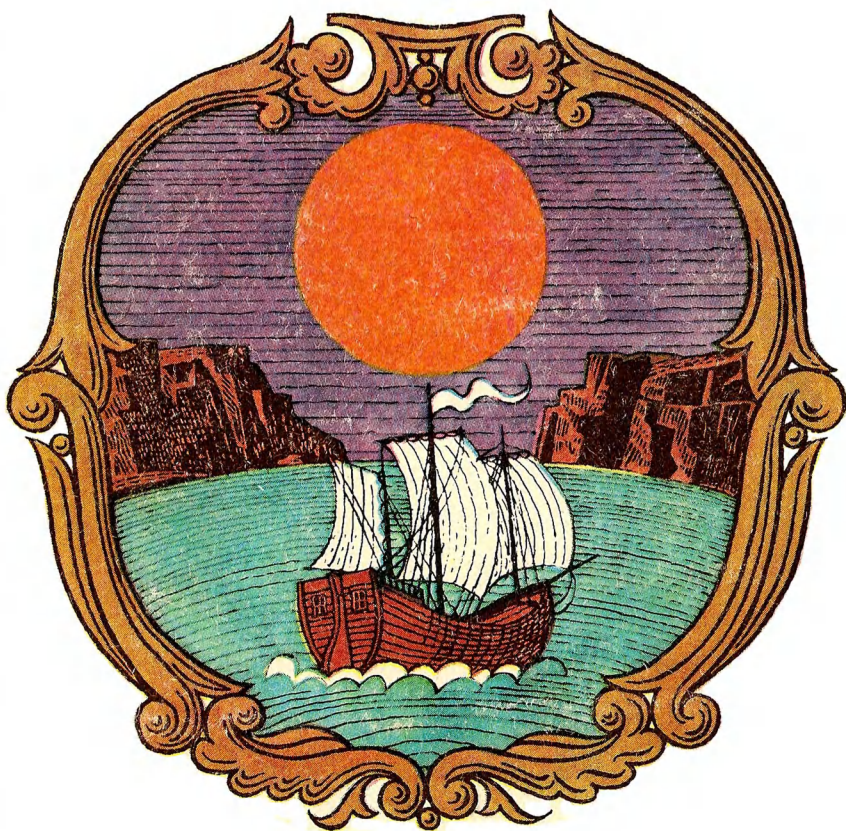
ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ

АРСЕНИЙ СЕМЕНОВ



АРСЕНИЙ СЕМЕНОВ

ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ







АРСЕНИЙ СЕМЕНОВ

ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ

РОМАН

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1976

**P2
C30**

Художник Г. МЕТЧЕНКО

С $\frac{70302-129}{078(02)-76}$ 257—76

© Издательство «Молодая гвардия», 1976 г.



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Тюремный видлец

«Где же царь?» — удивляется Владимир Атласов. Комната, куда судья Сибирского приказа, думный дьяк Андрей Вinius, привел его, ничуть не похожа на царские покои — узкая, с голыми бревенчатыми стенами и низким потолком. В стенах множество выщерблин и дырок — похоже, по бревнам садили из пистоля.

По комнате вышагивает долговязый детина в замызганном нанковом халате, стоптанных башмаках и кое-как заштопанных чулках. Кучерявые длинные волосы его спутаны. Должно, с похмелья. Ужель царский слуга? Как такого допустили прислуживать самому царю?

В комнате стоит узкая койка с засаленными одеялом и подушкой. Если детина и впрямь обретается здесь, то спит он, надо думать, не снимая башмаков, — ишь как постель извожена!

Кроме кровати, Атласов замечает заваленный бумагами стол с приставленным к нему тяжелым дубовым креслом, а в углу, у входа — что за наваждение! — столярный верстак, усыпанный мелкой щепой, опилка-



ми, стружкой. Ужель так подшутил над ним Виниус — вместо царских покоев привел в столярную мастерскую?

Атласов пытается заглянуть через плечо детины, отыскивая другую дверь, из которой может появиться государь. «Главное, не сомлеть, как предстану пред его очей!» — приказывает он себе.

Через плечо шагающего по комнате человека заглянуть ему никак не удастся, тот под три аршина вымахал. И чего он мотается туда-сюда, на людей не гляючи. Должно, с похмелья башка трещит, а сообразить не может, бедняга, у кого бы медную денежку перехватить на штоф сивухи.

Вдруг детина резко останавливается, поворачивается к вошедшим и смотрит прямо на Атласова отсутствующим и таким страшным взглядом темных глаз, что тот, внутренне содрогнувшись от своей догадки и сразу покрывшись испариной, решает, словно под лед проваливается: царь! Ноги у него начинают подламываться, он рад скорее бухнуться на колени, ткнуться лбом в пол, лишь бы не видеть этих нестерпимых, тяжких глаз царя, в которых он успел прочесть такую сосредоточенную волю, какая способна смять, сокрушить все мыслимые и немыслимые преграды.

В следующее мгновение круглые щеки, прямые острые усы, выпуклые глаза — все на лице Петра оживает, губы раздвигаются в улыбке, обнажая крепкие, по-волчьи чистые зубы.

— А, казак! — говорит он дружелюбным негустым баритоном, не давая Атласову упасть на колени. — Знаю. Слышал. Хвалю!.. Мне теперь много надо денег. Мои молодцы под Нарвой задали такого стрекача, что всю артиллерию оставили шведам. Колокола велю снимать с церкви, чтоб лить пушки... За Камчатку, за соболей — спаси тебя бог!.. Езжай, казак, обратно. Шли мне соболей больше — за то тебе вечная моя царская милость. Хвалю!

Грозно выкрикнув это «Хвалю!», государь с такой силой бьет Атласова кулаком в плечо, что тот с грохотом вышибает спиной двери, кубарем вылетает из дворца и несется выше церковных колоколен, с которых сняты уже колокола и на которых сидят и плачут безработные звонари, свесив ноги в лаптях. Потом он взвизгивает выше лесов, обступающих Москву, выше об-

лаков и летит все дальше и дальше, в сторону Сибири, слыша, как ветер свистит в волосах. Вот он пролетел уже над Уралом, над Обью и Енисеем, скоро под ним заструится великая река Лена и откроются глазу стены и башни Якутска — за тысячи верст унесся он от Москвы, и тем не менее все продолжает видеть, как на пороге своей комнаты, уставив руки в бока и дружески ему подмигивая, хохочет царь, а рядом с ним вежливо подхихикивает старый Виниус со шпагой на боку, в расшитом серебряным позументом камзоле.

— Пойдешь иль нет? В который раз спрашиваю! — сердито трясет Атласова за плечо сосед по тюремной келье есаул Василий Щипицын.

— Куда?

— Милостыню просить. Кишки-то, поди, и у тебя с голодухи к позвонкам прилипли. Сторож гремел в дверь, велел собираться, кто хочет. Поведет в торговые ряды.

— Не пойду, — угрюмо отворачивается к стене Атласов.

Нет ни Москвы, ни царя Петра, ни думного дьяка Андрея Виниуса. Есть эти жесткие, с соломенной подстилкой нары, эта узкая — два шага от стены до стены — убогая келья, сырой сруб, опущенный в землю, каких за тюремными стенами, усаженными поверху железным «чесноком», в Якутске полтора десятка.

Щипицын что-то бубнит о гордыне, которая кое-кого обуяла, и что эти кое-кто могут подышать с голоду, он таким мешать не станет, но Атласов не слушает его.

Этот сон! Всегда, когда снится ему прием у царя, а потом он просыпается в тюрьме, горло ему захлестывает горечь, и все окружающее становится невыносимым до боли в груди. И тогда он спешит погрузиться в воспоминания, ворошит прошлое, словно там, в прошлом, скрыта для него надежда на спасение.

Сколько Атласов помнит себя, всегда он жил словно на горячих углях. Должно быть, какой-то бес сидел у него на загривке и не давал ни минутки посидеть спокойно. На какие только проделки не толкал его этот бес в детстве! То заставлял забраться на кровлю самой высокой в Якутске башни и сидеть там, дрожа от страха, пока его не снимали оттуда еще более перепуганные сторожа, то приказывал на спор с мальчишками

переплыть рукав Лены до острова на самом быстром месте, то соблазнял отправиться в тайгу за соболиным царем, у которого каждая ворсинка на шкуре золотая, а на голове маленькая корона, усыпанная зелеными драгоценными камушками. И ведь убежал он и в самом деле в тайгу! — один, не предупредив даже своего дружка Потапку Серюкова. Три дня плутал он в тайге, под конец совсем ослаб от голода и лежал под скалой, слушая гул лиственниц под ветром. Были волки, ночью с вершины лиственницы глядели на него два огненных глаза и чей-то голос требовал: «Дуй в дуду!» — и другой голос глухо, словно под сводами церкви, отвечал: «Ух, буду, буду, дую!» И когда он осмелился открыть зажмуренные от страха глаза, увидел, как проشمгнул мимо золотой зверек, вскочил на пригорок, и корона на нем засветилась, словно гнилушка, Потом беглец случайно наткнулся в тайге на якутов-охотников, и те привезли его на лошади в Якутск. И не было ему тогда еще двенадцати лет.

Годам к четырнадцати из всех смутных желаний, какие его томили до той поры, остались всего два, но зато твердые, как гранит, и необратимые, как смерть. Вместе со своим другом Потапкой Серюковым дали они великую клятву: во-первых, отыскать страну, где кончаются ведомые человеку царства и одноногий великан сторожит китов, на которых стоит земля; во-вторых, побывать в Москве, поглядеть светлого царя Руси.

Решили начать с неведомой страны, которая есть край земли — это казалось им намного важнее, чем поглядеть Москву и царя. В Якутске чтили и славили более всего тех казаков, что находили неведомые дотолес земли и приводили в государев ясачный платеж неизвестные таежные племена. Самый воздух Якутска, казалось, был наполнен дыханием далеких дивных земель, ими грезили и взрослые казаки, и ребятишки, еще державшиеся за мамкину юбку.

С тех знаменитых дней, когда вольная казачья дружина атамана Ермака перешла через каменный пояс Уральских гор и, преследуя огненным боем хищные Кучумовы орды, прорубилась к слиянию Иртыша и Тобола, а вслед за казаками Ермака тысячи русских людей в поисках воли и промысловой удачи хлынули на отверстые просторы Сибири, население которой встречало пришельцев как избавителей от вековой тирании боль-

ших и малых степных царьков, кормившихся разбоем, — с тех самых дней Русь все ширилась и ширилась, а конца этой шири, края земли никто из землепроходцев до сих пор не достиг.

И вот они с Потапкой решили, как отрезали: найти этот край земли. Казак попусту слов на ветер не бросает: сказано — сделано. Готовились целый год. Весной, когда сошел лед, они тайком от родителей отчалили на крепком плоту и поплыли по Лене к ее устью, ибо знали уже, что от устья великой реки по берегу Студеного моря-океана можно было достичь края земли, если следовать все время встреч солнцу, потом от Анадыря-реки надлежало повернуть на полдень — тут тебе неподалеку и сам конец. Путь подростков не страшил. Была у них с собой парусиновая палатка, был старенький самопал, стащенный Потапом у отца вместе с изрядным запасом пороху и свинца, а он, Владимир, покусился на пару пистолей старого Атласа и саблю старшего брата Ивана. Кроме того, запаслись они рыболовными крючками и небольшим, трехсаженным неводом. В случае встречи с недружественными племенами они надеялись отбиться огнестрельным оружием, а голод им не грозил и подавно. Страшило их лишь одно: выдержит ли их разум видение того, что видеть ни одной душе христианской невмочь? На краю земли, там, где небо смыкается с землей и солнце, перед тем как оно поднимается по небосводу, лежит, огромное, в морской пучине, шипя словно раскаленная сковородка, — там, на этом краю, изрыгают пламя тысячи жерл, простиравшихся в ад, и пахнет серой, и обитают возле огненных гор люди немые, одна часть тела человеческая, а другая песья, а другие люди — великаны девяти сажен, у третьих ноги скотьи, у иных очи и рот в груди. Но наибольшее чудо — одноногий старик, головой небо подпирает, чтоб в океан не упало, а в четыре руки бьет бичами китов, не давая выплыть из-под земли, ибо тогда земля потонет в пучине. Помимо всякой нечисти, имеющей облик, схожий с человеческим, есть там нечисть зверья. Обитает там крокодил — лютый зверь: как помочится он на дерево — дерево тут же огнем сгорает. Птица Ног застилает там крыльями полнеба — велика столь, что вьет гнездо на пятнадцати могучих дубах. Птица Феникс свивает гнездо в новолунье, приносит с неба огонь и гнездо свое сжигает,

и сама сгорает тут же. А в том пепле зарождается червь золотой, потом он покрывается перьями и становится единственной птицей — другого плода у этой птицы нет.

Стоило подросткам вообразить, с какими чудесами придется им встретиться, как волосы начинали у них шевелиться на голове. Однако плох тот казак, который страх свой побороть не может. Надеялись они в случае опасности откреститься от нечисти — перед крестом господним всякая нечисть кажет спину — и решили следовать своим путем непоколебимо. Утешало их то, что было достоверно известно: ни ужей, ни жаб, ни змей в стране той не водится, а если появятся, сразу умирают. И еще — что нет в том краю ни вора, ни разбойника, ни завистливого человека, ибо всего там такое изобилие, что ни воровать, ни разбойничать ни у кого нет охоты.

Сколь наивны они были тогда с Потапом, каким только рассказням не верили! А ведь поплыли все-таки! Самое удивительное было в том, что они сумели доплыть до ленского устья. И не только доплыли, но и прожили на одном из островков в ее дельте целый год. И с голоду не умерли. И сдружились так — клещами не растащишь. Искать край земли помешало им то, что они истратили все боеприпасы раньше, чем рассчитывали.

В Якутск они вернулись на коче, плывшем с Анадыря с моржовым зубом. Судно было потрепано бурей, и промышленные, случайно заметив на одном из островков в устье Лены дым костра, пристали к берегу, чтобы починить снасть. Они думали, что здесь промышляет какая-нибудь рыболовецкая артель и тут попотчуют их свежей рыбкой.

Свежей рыбкой их здесь действительно попотчевали вволю.

Седобородый кормщик, узнав о том, что подростки вдвоем зимовали на этом забытом людьми и богом островке, схватился за голову.

— Святые угодники! Чтoб меня черти съели с потрохами, если я слышал о чем-нибудь подобном! Жаль, что я не ваш батька. Всыпал бы вам столько ремней — зареклись бы навеки своевольничать! Ведь вас дома, поди, давно уж оплакали.

Однако за стерляжьей ухой, выпив медовухи, кормщик запел совсем по-другому.

— Дивитесь, братья. То дети тех, кто прошел всю Сибирь от края одного до края другого. То дух русский, то кость русская! То сила наша, возросшая три-четыре раза.

Кормщик даже прослезился, речь его растрогала и всех промышленных с коча. Однако сами подростки остались равнодушны к похвалам. Ведь края земли они так и не сумели достичь.

Кроме того, тревожила их мысль: как встретят дома? Ясно было, что великой порки не миновать.

Однако не порка ждала их в Якутске, но печальные известия. Отец Потапа погиб в Верхневилуйском зимовье, заблудившись минувшей зимой во время сильной пурги, а отец Владимира, Владимир Тимофеевич, прозвищем Атлас, метался в горячке. Владимир так и не успел попросить у него прощения за свой побег — отец умер в бреду, никого не узнавая.

Отца Владимир любил больше всех на свете, старался во всем подражать ему, ибо старый Атлас и впрямь был знатный казак, славный во всем Якутском воеводстве и даже за его пределами. Отца знали и судьи Сибирского приказа в Москве, и даже царю о нем докладывали.

Владимир, сын крестьянина Тимофея, в надежде на удачный соболиный промысел сошел из своей бедной белозерской деревеньки через Усолье в Сибирь, на великую реку Лену, в те дни, когда служилые казахи и промышленные ватаги рубили здесь первые зимовья и остроги.

Пристать к ватаге охотников, промышлявших соболя, отцу не удалось — ему нечем было внести свой пай в артель. Тогда он поверстался на государеву казачью службу с годовым жалованьем пять рублей с четью деньгами, семь четей ржи, шесть четей овса и два пуда соли. Выдали ему пищаль, саблю и нарядный атласный кафтан. За кафтан свой он тут же и был прозван Атласом.

Ходил вновь прибранный на службу казак с отрядами сборщиков ясака по всем волостям огромного Якутского воеводства, голодал, мерз, рубил с товарищами новые зимовья и остроги на дальних реках — в землях оленных людей, и в землях собачьих людей, и в землях

людей полуночной стороны, какие строят жилища из китовых ребер, ибо лес там не родится. Имел отец веселый, уживчивый характер, ни от какой работы не отказывался, и за то любили его товарищи. Но уважаемым казаком он стал после того, как свел дружбу с Серафимом Петлей — первой саблей воеводства. Серафим Петля позволил себе злую шутку над одним худым казаком, который нечаянно облил Серафиму новый кафтан медовухой в якутском кабаке. Серафим заставил казака залезть под стол и полчаса лаять собакой, потом велел несчастному, осмеянному всеми казаку раздеться и трижды обежать нагишом вокруг кабака по морозу. Тогда и встал Атлас, обозвал Серафима бессовестным басурманом — то была дерзость, на какую не осмелился бы никто. Серафим вырвал из ножен саблю, Атлас обнажил свою.

Схватка была недолгой. Серафим скоро применил свой знаменитый прием — «петлю», за которую и получил грозное прозвище. Сабля его сделала обманное круговое движение и вышла жалом сбоку, чтобы пронзить горло противника возле уха. По счастью, Атлас споткнулся в это время о скамью и растянулся на полу. Удар просвистел, к удивлению Серафима, по воздуху. Казак был вспыльчив, словно порох, но быстро отходил. Рубить поверженного противника он почел ниже своего достоинства и, оценив смелость, с какой Атлас встал ему поперек дороги, не убоившись его грозного имени, подал противнику руку. Вскоре они сдружились, и Петля обучил Атласа всем сабельным приемам, какие знал сам.

Едва в воеводской канцелярии стало известно о новом искусном рубакае, как его тут же назначили вместе с Петлей в число провожатых при государевой соболиной казне, ежегодно отправляемой из Якутска в Москву.

Путь из Якутска до Москвы занимал полтора года. Всякое могло случиться во время столь долгого пути. И поэтому в число провожатых назначали казаков, каждый из которых мог один выстоять против десятых. По малолюдству якутского гарнизона воеводы не могли выделять в провожатые за казной больше десяти-двенадцати человек, редко число это достигало пятнадцати казаков. Слух о том, что везут сокровище сокровищ, соболиную годовичную казну самого государя,

катился далеко впереди отряда, и казакам всегда приходилось быть настороже, ибо немало находилось таежных и степных князьков и просто лихих ватаг, готовых попытать счастья — отбить у казаков сокровище сокровищ.

Во время первой же поездки Атласа в Москву казакам пришлось вступить в несколько стычек со степными конниками. Казну они отстояли, однако потеряли во время этих стычек двух товарищей. Об этих стычках стало известно даже царю Алексею Михайловичу, и он велел пожаловать казакам по десяти рублей сверх обычных денег за выход на Москву.

В некрещеной Сибири трудно было казакам найти себе невест. Поэтому был у них обычай: возвращаясь из Москвы, подговаривать по дороге молодых женщин и девушек ехать с ними в Сибирь. Атлас из первой поездки тоже привез себе жену, совсем еще молоденькую девушку, смуглую, глазом черную, будто из татарок, но крещеную, веселую, бойкую характером, с удивительно густыми светлыми с рыжеватинной волосами. В нее и пошли все дети Атласа — старший Иван, младший Григорий и он, Владимир, — темноглазые, смуглые, с густыми черными бровями, а бороды и волосы на голове росли светло-русые с рыжевато-золотым отливом. И характер у всех троих был материнский — легкий, веселый и горячий. Зато телом удались в отца — рослые, жилистые, крепкие, что молодые дубки.

Семья у них была дружная, отец и в матери и в детях души не чаял. Лет с одиннадцати-двенадцати учил он сыновей рубиться на саблях и никому не давать себя в обиду.

Отец, кажется, ходил в Москву в провожатых за казной четыре раза. Дважды видел царя. Один раз на соколиной охоте, а второй раз, когда Алексей Михайлович, облаченный в золотой убор, выходил из церкви. По словам отца, от государя лилось такое сияние, исходила такая святость, что все, кто лицезрел его, сходились в одном: сей царственный муж отмечен перстом божьим. Рассказы отца и заронили в сердце Владимира мечту увидеть белокаменную Москву и светлого царя Руси.

Атласов усмехается, вспоминая свою встречу с царем Петром, сыном сиятельного Алексея Михайловича.

Меньше всего Петр походил на того царя, облик которого рисовался ему по рассказам отца. И все-таки Атласов увидел тогда: это — царь! Может быть, столь же великий и страшный, как Иван Грозный. Царь-плотник, царь-богатырь, который, по рассказам, могучими руками сворачивал серебряные тарелки в трубку, царь, спящий на земле подобно простому солдату, царь — гуляка и богохульник, труженик и гроза ленивых, чванных бояр — такой царь был и страшен и люб казакам. Не золоченая икона, но живой человек, мятущийся, дерзкий, кидающий вызов земле и небесам.

Но между смертью отца и встречей с царем легли для Атласова девятнадцать лет казачьей службы, на которую они с Потапом Серюковым поверстались семнадцатилетними зеленцами. Поначалу служили все время вместе — ходили в сборщиках ясака по рекам Учуру и Улье, по Уди и Тугиру. С ними в одном отряде служил сын Семена Дежнева — Любим. От него они впервые и услышали о Камчатке.

Семен Дежнев плыл на Анадырь из Нижнеколымского зимовья на кочах промышленного человека Федота Попова. Бурей кочи разметало в море, и суда потеряли друг друга из виду. Дежнев думал, что коч Попова разбит бурей. Но много уже лет спустя казаки Дежнева, открывшие богатую моржовым зубом коргу и обосновавшие на Анадыре зимовье, отбили у коряков пленную женку Федота Попова. Та и рассказала, что будто бы буря занесла судно Федота на неведомую реку Камчатку, там промышленные перезимовали, добыли несметное множество соболей и на другой год, обогнув Камчатку, возвращались домой Пенжинским морем. Однако на реке Палане, где промышленные пристали к берегу, чтобы пополнить припасы пресной воды, на них напали коряки и всех перебили, оставив в живых только жену Федота.

Любим клялся, что слышал этот рассказ из уст своего отца, ныне покойного. Будто бы Семен Дежнев строил планы достичь богатой соболем реки Камчатки, но смерть помешала ему осуществить задуманное.

И вот Любим, Потап и Владимир уговорились: как только представится возможность, подать воеводе челобитную, чтобы он отпустил их проведать ту соболиную реку.

Но Любима вскоре назначили в другой отряд, а по-

том судьба разлучила Владимира и с Потапом, и отчасти в этом была виновата сестра Потапа Стеша.

Была она года на два моложе их с Потапом, и они с детства привыкли шпынять ее, чтоб не таскалась за ними, не встревала в их мальчишечьи игры, не лазила вместе с ними по крепостным стенам и башням, не ревела, когда ушибется.

Но Стеша упрямо держалась за них. Ее с Потапом мать знала толк в травах и ворожбе и слыла «колдовской». Серючиху побаивались в Якутске — как бы не навела порчу на скотину. Настоящим горем было для Стеши, что девчонки дразнили ее «ведьмачкой» и не принимали в свои игры. Гордая, самолюбивая девчушка вынуждена была разделять игры с Потапом и его дружкой Володей, хотя они и старались изо всех сил не замечать ее, стыдясь, что эта упрямица бродит за ними как тень, что из-за нее мальчишки прозвали их «сарафанной артелью». Даже когда Стеша подросла и стала почти взрослой девушкой, они по привычке обращались с ней как с маленькой, и она старалась не обижаться на них. Подруг у нее по-прежнему не было, женихи тоже не досаждали ей, хотя ни красотой, ни статью бог ее не обидел. Кажется, она и сама отшивала парней слишком сурово.

Однажды летом на покосах Атласов спросил у Потапа про разрыв-траву, бывает ли такая взаправду на свете? Потап только пожал плечами. Но Владимир не унимался — пусть-де у матери своей спросит. Потап насупился (как и Стеша, он не любил, когда напоминали, что мать его считают колдуньей) и заявил, что матери про разрыв-траву тоже ничего не известно. Тут и встряла в их разговор Стеша. «А я вот знаю!» — заявила она, хитро поглядывая на Атласова. Он сразу оживился, потребовал, чтоб говорила. «Надо зеленую траву кидать в реку, — серьезно заявила Стеша, — кидать да поглядывать, какая против течения поплывет. Это и будет разрыв-трава».

По предложению Владимира они, смеясь и дурачась, долго кидали пучки пахучей свежескошенной травы с обрыва в реку, почти целый прокос перекидали, да только какая ж дурная трава против течения поплывет?

Потап скоро махнул рукой на пустое занятие, ушел полежать в тени под кустом. А Владимир со Стешей

весело и упрямо продолжали свое занятие до тех пор, пока не случилось чудо: пук зеленой травы вдруг остановился, прошелся по кругу и двинулся как бы против течения.

С криком «Разрыв-трава!» они кинулись с обрыва, понеслись в воду, поднимая фонтаны брызг босыми ногами.

Стеша оказалась проворней и первой ухватила заветную траву, но, на беду свою, не умела плавать. Как потеряла дно, так и понесло ее по течению.

Атласов до сих пор помнит, какой испуг пронзил его тогда от груди до самых пяток. Он рванулся за ней, быстро настиг и вынес из воды на руках. Все произошло так быстро, что сама она, должно быть, даже испугаться не успела, и только руки ее, крепко обвившиеся вокруг шеи спасителя, были напряжены, как камень. Но как она при этом улыбалась!

Он понял вдруг, что на руках его ей лежать покойно, увидел ее взрослую грудь, нежный овал широкового светлого лица, большие, налитые тьмой и поднимающимся из глубины нестерпимым сиянием глаза ее, и у него остановилось дыхание. Смутившись, он опустил ее на песок, но она глядела на него прежним взглядом, не мигая и не шевелясь, словно все еще покоилась на его руках.

Он отступил в замешательстве на шаг, и коса ее, длинная пышная коса, долго сползала с его плеча, щекоча ему за ухом. И когда она, эта коса, упала наконец, повиснув вдоль напряженного тела девушки до облепленных мокрым сарафаном коленей, только тогда он пришел в себя и спросил, что надо делать дальше.

Вначале она не поняла, о чем он ее спрашивает. Потом, увидев у себя в руке пучок травы, которую не выпустила даже тогда, когда течение оторвало ее от речного дна и потащило на стрежень, она велела Владимиру раскрыть правую ладонь и крепко сжать траву в кулаке. Он сжал пучок травы, с которой еще капала вода, а Стеша стала с силой этот пучок вытягивать, держась за его конец.

Атласов почувствовал, что какая-то острая колючка впиалась ему в ладонь и раздирает кожу, но пальцев не разжал. Протянув траву сквозь его кулак, Стеша кинула траву обратно в реку, пробормотав: «Плыви в море-

океан, а силу нам оставь!» — и велела Владимиру показать ладонь. По руке его стекала струйка крови. «Все правильно, — объявила девушка, — разрыв-трава врезана в руку. Теперь перед такой рукой не устоит никакая вражья сила».

И он, удивленно прислушиваясь к своему бьющемуся сердцу, поверил ей, ибо хотел поверить. И тогда он взял ее за руку, уже безбоязненно заглянул в ее глаза и сказал с той смелостью, какая подобает настоящему казаку: «Ты — соболя моя золотая...»

Стеша сразу вспыхнула и зажмурила глаза от счастья.

«Гей-гей!...» Стояла самая звонкая в его жизни осень. Стоило крикнуть — и эхо улетало далеко в горы, и будило неживые скалы, и само небо отзывалось голосу человеческому, словно колокол чистого серебра.

Владимир с Потапом уходили на ближнюю годичную службу в Верхневилуйское зимовье, где обитали племена белдетов и нюмагиров, шелогонов, обгинцев — все сплошь тунгусы.

— Вернись — пришлю сватов. Не побоишься? — спросил Атласов у Стеши.

— А ты?

— Что я?

— Не побоишься? Ведь я же ведьмина дочка! — с лукавым вызовом сказала она.

Атласов расхохотался.

— Жди! — ответил, словно в свадебный колокол ударил.

Год прошел словно один день. Атласову казалось, что солнце не успело закатиться ни разу.

Когда они с Потапом вернулись летом в Якутск, узнали новый указ: не только всех личных соболей, но и лучших лисиц сдавать в казну, — тем, кто попытался бы сбыть шкурки торговым людям, грозило суровое наказание. По мере умаления на Лене соболя Сибирский приказ накладывал руку на прочую ценную пушнину. Атласов сдал упромышленные им за зиму или вымениянные у тунгусов шкурки и получил за них из казны восемь рублей с алтыном. Можно было справлять свадьбу. Утаил он только черно-бурую лису дивной красоты — поберег на свадебный подарок для Стеши.

Так и осталось неизвестным, какой заушник донес об этом воеводе. Едва была сыграна свадьба, Атласова кинули под кнуты и, едва зажила спина, отправили служить в самое дальнее зимовье — Анадырское. Между ним и Стешей легли две тысячи верст тайги, гор, тундры, топей. Впервые он служил без Потапа, и от разлуки со Стешей и верным другом служба казалась ему вдвойне тяжелой.

Через два года в Анадырское пришла страшная весть о черном море в Якутске. Стеша не стало...

На Анадыре два месяца в году царят сумерки. Атласову казалось, что солнце зашло навечно. Лишь через год заметил он его — низкое, большое северное солнце, красноватое от испарений.

Однажды большой отряд чукотских воинов, нагрянув с севера, побил сонными сорок казаков, промывавших моржовый зуб в устье Анадыря. Едва эта весть достигла зимовья, казаки снарядили погоню за чукчами.

На устье пришли на третьи сутки. Над местом побоища висели тучи воронья. Едва предали земле погибших, воеводский приказчик, трусливый пес из детей боярских, велел поворачивать обратно. Ярость обуяла казаков. Многие нашли на месте побоища своих отцов, братьев, друзей и требовали отмщения. Но приказчик уперся. Срок его службы в Анадырском истекал, он ожидал скорой подмены и не хотел рисковать головой. Ему хорошо было известно, что чукчи отличались устойчивостью в рукопашном бою, ружейного огня боялись мало, отряды их нередко насчитывали до четырех-пяти сотен копий. Гоняться за ними с двумя десятками казаков сын боярский боялся и даже не скрывал этого. Дело дошло до матерной брани. Среди тех, кто особенно поносил приказчика, были Лука Морозко и Атласов. Не наказывать сейчас чукчей — значило поставить зимовье на грань гибели. Чукчи, осмелев и собрав еще большие силы, не замедлят осадить Анадырское и в конце концов спалят его, взяв осажденных измором. Только пустая башка закроет глаза на опасность. Атласов даже не утратившись называть приказчика плутом и вором, припомнив, что тот в государеву ясачную казну клал худых соболей, а лучших оставлял себе.

Тогда сын боярский велел бить Атласова батогами,

но тот в руки не дался, заявив подступившим к нему верным приказчику служилым:

— Что ж, казачки, хватайте меня! Бейте, да глядите, не прймайтеся! Знаю я на приказчика Дело великих государей. Как бы и вам потом головы не поснимали.

Служилые в страхе отступили. Да и сын боярский струхнул порядочно, едва услышал о заявленном на него Деле государевом.

Однако, едва казаки, так и не дав острастки чукчам, вернулись в Анадырское, Лука Морозко посоветовал Атласову отказаться от заявленного слова.

— Ох, Владимир, — сказал старый, седой как лунь казак. — Башка у тебя горячая, да, жаль, глупая. За то, что воевода назначил сына боярского приказчиком на Анадырь, получил он с него поклонных, поди, рублей двести, не меньше. То ж и с писчика, и с толмача рублей по сорок. Вот и пораскинъ теперь умишком своим зеленым, чью сторону возьмет воевода в твоём с приказчиком споре. Писчик с толмачом, ясно, будут держать руку приказчика. Упекет тебя в тюрьму воевода, рассудив, что слово на приказчика заявил ты облыжно.

Как ни кипел гневом Атласов, однако ж вынужден был признать, что выйдет так, как предсказывал Морозко. Вызванный на допрос к приказчику, Атласов признался, что сказал Дело государево с перепугу, боясь батогах.

Приказчик велел бить его кнутами. Однако и на этом сын боярский не простил ему, решив выслать строптивного казака в Якутск, на суд к воеводе. Кажется, ловушка захлопнулась крепко. Теперь в деле об оскорблении приказчика имелось самоличное признание Атласова, что приказчика оскорбил он безвинно. Воевода мог заживо сгноить его в тюрьме, дабы и другие казаки зареклись бунтовать против своих приказчиков веками.

— В хорошую ж западню ты толкнул меня, поклон тебе за то земной! — в отчаянии пенял Атласов Морозке накануне отправки из Анадырского. — Злейший враг не мог бы придумать для меня мести страшнее.

— Да разве думал я, что приказчик окажется столь злобной тварью? — оправдывался Морозко. — Что воевода, что его приказчики — все они живоглоты, каких свет не видывал. Давно уж мне ведомо, что

как воеводы, так и их приказчики грабят государеву казну, подменяя лучших соболей худыми. И воеводы, и приказчики в некоторых зимовьях держат винные ку-рени, наживаясь на торговле корчемным вином — плевать им на государеву винную монополику. А на приказчицы и на иные должности воевода назначает тех, кто даст больше поклонных, будь хоть это негодяй из негодяев, подобно нашему сыну боярскому.

— Спасибо, Лука, научил ты меня уму-разуму! — горько усмехнулся Атласов. — Теперь мне легче будет гнить в тюрьме, постигнув твою премудрость.

— Полно, полно, Владимир! Что это ты поешь себе отходную? Иль один толковый казак семерых воевод и дюжины приказчиков не стоит? Знаю я, что сабля твоя остра и рука крепка. Так пора и уму твоему поострить-ся. Плох тот казак, которого приказчик голой рукой возьмет. Оставим мы сына боярского с носом, попомни мое слово.

— Так что ж ты жилы из меня тянешь, Морозко? Толкуй, в чем мое спасение!

Подкрутил Морозко сивый ус, прикрыл правый глаз, а левый уставил в потолок.

— Умей, — сказал, — с потолка читать. А написано там, что надлежит тебе в пути с каким-нибудь казаком службой поменяться. Ведомо всем якутским казакам, что служба на ледяных анадырских землях не мед. Любой будет рад вернуться в Якутск, уступив тебе здешнюю свою службу. Уразумел?

Атласов уразумел и действительно сумел, дойдя лишь до Колымы, поменяться службой с одним из казаков. В Анадырское вернулся с другим уже приказчиком, когда сына боярского на Анадыре и след простыл.

Постепенно дело об оскорблении сына боярского совершенно забылось — шел уже пятый год службы Атласова в Анадырском.

Между тем в Анадырское все чаще стали проникать известия о новой соболиной реке Камчатке. Привозили эти известия казачьи отряды, ходившие на сбор ясака в корякские земли, лежавшие на полдень от Анадыря. Вспомнил Атласов давние свои разговоры с Любимом Дежневым и Потапом Серюковым об этой реке, понял, что если не он, то кто-нибудь другой выйдет вскоре на эту реку. И тогда зажмурил он один глаз, поднял к потолку второй и прочитал там для себя: теперь или

никогда! Иль не сын он славного Атласа? Иль не чувствует он в себе силу и решимость великую?

Однако на поиск новой соболиной реки анадырской приказчик скорее отпустил бы мудрого и опытного Луку Морозко, чем юного еще годами Атласова. Не стал он подавать челобитную приказчику, но заспешил в Якутск, к воеводе, надеясь первым привезти желанное для воеводы известие.

И он не ошибся в своих расчетах. Известие о новой соболиной реке произвело на воеводу большое впечатление. Соболиные ясачные сборы падали в воеводстве год от году. Сибирский приказ выражал недовольство и слал воеводе наказ действовать энергичнее, подкрепляя эти указы именем государей Петра и Иоанна. Опасаясь царской немилости, напуганный прибытием сыщика, который был прислан расследовать челобитные казаков и инородческих князцов о злоупотреблении воевод своей властью, ленский наместник государей принял Атласова более чем ласково. Дело об оскорблении сына боярского было предано забвению, воевода велел подьячему разрядного стола заготовить выписку о службах казака и вскоре произвел Атласова в чин казачьего пятидесятника.

Через год Атласов возвращался на Анадырь уже не простым казаком, но пятидесятником и приказчиком. Друзья Атласова встретили эту весть ликованием. На Анадырь он пришел с двенадцатью казаками — больше дать ему людей воевода не мог, — якутский гарнизон, обслуживающий все огромное воеводство, не насчитывал и восьми сотен человек. Но зато на этот раз с Атласовым снова был Потап Серюков, успевший дослужиться к той поре до чина казачьего десятника.

В Анадырском Атласов был огорошен известием: Лука Морозко с горсткой казаков восемь месяцев назад ушел отыскивать реку Камчатку! Атласов опоздал! Это было крушение всех его надежд и планов, которые он столь долго вынашивал.

Но через две недели Лука Морозко вернулся с известием о неудаче: всего в двух днях пути от Камчатки казаки опрокинули по нечаянности в реку лодку с боеприпасами. Следовать дальше с десятком безоружных

товарищей Морозко почел безумием — по известиям, полученным от надежных проводников, на реке Камчатке обитали многолюдные иноземческие роды, ведущие непрерывные войны друг с другом. Там казаки могли ни за понюх табаку сложить головы.

Атласов понял, что надо спешить. Не повезло Морозке — мог какой-нибудь другой отряд казаков или промышленных проникнуть в сторону Камчатки с верховьев Колымы или Индигирки через Пенжину, даже не заходя в Анадырское.

Лука Морозко вернулся в Анадырское совсем больной — его трепала лихорадка.

— Бери больше людей и спеши! — наставлял он Атласова. — С малыми людьми ты ничего не достигнешь. Камчадалские роды насчитывают по тысяче и больше человек. И будь осторожен, головы не теряй, даже когда небо покажется с овчинку. Не посрами отцовскую казацкую славу. Благослови тебя бог, сынок! Верю я в тебя — хоть и отчаянная у тебя башка, но светлая. То замечал я не раз и потому люблю тебя. А в случае чего, когда не будет уже никакой надежды на спасение, — улыбнулся через силу старый казак, — зажмурь один глаз, а вторым гляди на потолок, как я учил тебя. Там прочтешь свое спасение.

Между тем приказчищи заботы связывали Атласова по рукам и ногам, грозя отдалить поход до неопределенного будущего. Казалось, все земные и небесные силы сговорились против него. В последние несколько лет соболь на Анадыре стал так стремительно умалаться, что это сильно встревожило воеводскую канцелярию. Воевода предписал Атласову любым способом взыскать ясачные недоимки за прошлые годы с анадырских юкагиров. Уже бывший до Атласова приказчик поступил с юкагирами слишком круто, забирая в счет недоимок соболиные и собачьи шубы, меховые сапоги, малахан, рукавицы. Некоторые стойбища оказались раздетыми чуть не донага. О каком новом взимании недоимок могла идти речь, если уже и теперь доведенные до отчаяния юкагиры грозились сжечь казачье укрепление? А вскоре Атласову донесли, что чукчи, погромившие несколько лет назад казаков на корге в устье Анадыря и безнаказанно ушедшие в тундру, присылали к юкагирским князьям гонцов и договорились о совместном нападении на зимовье.

Не о походе на Камчатку, но о спешном укреплении зимовья следовало позаботиться Атласову, о подготовке к длительной осаде.

Однако чем неблагоприятнее складывались для него обстоятельства, тем упрямее он решил добиваться своей цели, ибо и самые неблагоприятные обстоятельства кажутся грозными лишь до тех пор, пока не найден способ извлечь из них пользу, обернуть их другой стороной.

Проведя в раздумьях бессонную ночь, он решился на такой способ действий, до какого не додумался бы даже сам хитроумный Лука Морозко.

В Анадырском, как и во всех казачьих зимовьях и острожках воеводства, содержались в аманатах* несколько юкагирских князцов из наиболее могущественных родов. Атласов наутро велел привести самого известного из них — знаменитого воина и охотника Ому. Он предложил князцу отправиться на переговоры в самый могущественный Канмамутеев род.

Атласов предлагал юкагирам выделить от всех родов шестьдесят лучших охотников, чтобы они отправились с ним на соболиный промысел на богатую реку Камчатку. В случае удачной охоты юкагирам удалось бы не только погасить все ясачные недоимки, но и на будущие годы иметь разведанные соболиные угодья.

Шансы на успех переговоров были невелики, но и Атласов рисковал немногим: упустил бы одного из заложников — потеря невелика перед лицом грозно развивающихся событий. Зато в случае успеха переговоров победа могла стать полной, и у него оказались бы развязанными руки для желанного похода.

Та смелость и уверенность, с какой уже почти запертые в крепости казаки вступили в деловые мирные переговоры, произвели на юкагиров как раз такое впечатление, на какое втайне даже от самого себя рассчитывал Атласов. Видимо, и юкагиры прослышали уже о Камчатке, и предложение Атласова показалось им ничуть не дерзким, но скорее разумным.

Атласов, отпуская Ому на переговоры, говорил с ним так, словно Камчатка уже хорошо разведана казаками. Он дал понять князцу, что приглашает в этот

* Аманат — заложник, под которого племя или род платили ясак.

поход из чисто дружественных чувств, что действий прежнего приказчика не одобряет и обещает возместить юкагирам отнятое у них имущество из государственной подарочной казны бисером и ножами. В случае успеха переговоров Атласов готов был выпустить Ому из аманатов и взять с собой на Камчатку, дабы он, как великий охотник, мог добыть столько шкурок, сколь позволит ему его известное всей тундре искусство, а как великий воин — охранять могучей рукой охотников от нападения неприятеля, если он объявится и попытается помешать мирной охоте.

Ома не подвел. Ему удалось уговорить князца Канмамутеева распустить воинов и закончить всю эту заварушку к обоюдному удовлетворению сторон. Ома скоро явился в зимовье с шестьюдесятью охотниками, молодцами на подбор, сухощавыми, жилистыми, налитыми силой, стремительными, как ветер.

Атласов, узнав о том, что переговоры между Омой и Канмамутеевым идут успешно, уже готовился к выступлению. Ни одного лишнего дня не хотел он задерживаться в Анадырском и велел сиповщикам трубить выступление на другой же день после прихода Омы.

— Ты сам сатана! — восхищенно говорил на прощанье Атласову Морозко. — Хватка у тебя, что у самого Ермака Тимофеевича. Иди с богом! Верю я в твою удачу!

— Лука, можешь проклясть меня, но беру я из крепости шестьдесят казаков.

— Большая опасность в том, — вздохнул больной Морозко. — Стало быть, в остроге остаются полтора десятка тех, кто ходил со мной в последний поход. Однако противиться я не стану. Оставил я у коряков в Алюторской земле Сидора Бычана с двадцатью служилыми. Встретишь его там, прикажи, чтобы он поспешил в Анадырское. Нельзя оставлять крепость беззащитной.

— Юкагиры, которые идут со мной, должны понимать, что случится с ними, если князец Канмамутеев нарушит слово и нападет на крепость.

— То поступил ты мудро. Юкагиры для тебя и слуги, и охрана, и залог сохранности крепости. Прощай, сынок. Дай обниму тебя!

В тот же день Атласов выступил из укрепления.

Явившийся через неделю на смену Атласову приказчик, посланный якутским воеводой, пришел в ужас:

крепость совсем оголена! А узнав о том, что неподалеку от укрепления бродят крупные отряды чукотских воинов, что и в юкагирских родах смута еще не совсем улеглась, приказчик и вовсе обезумел. Не слушая увещеваний Луки Морозки, он кинулся в погоню за Атласовым, чтобы вернуть хотя бы часть казаков.

Атласова он не догнал и возвращался на Анадырь, обмирая от страха, ожидая увидеть на месте укрепления одно пепелище. Однако в крепости уже был Сидор Бычан со своими казаками. Только тут приказчик вздохнул с некоторым облегчением.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Достижение Камчатки

Темно в тюремной келье, хотя солнце уже стоит высоко. Сквозь узкую прорезь забранного железными прутьями окна свет едва сочится.

Щипицын, кутая плечи в драный зипун и стуча зубами от холода, продолжает вышагивать от оконца до двери в ожидании сторожа, который все не появляется. Атласову хотелось бы поговорить с ним о Камчатке, но тот, пожалуй, только окрысится. Разве поймет он чувства, переполнявшие грудь Атласова, ту бурю душевного взлета, которая помогла ему преодолеть все препятствия и вывести своих казаков в долину заветной реки?

Если бы был сейчас здесь Потап Серюков или племянник Василий, сын старшего брата Ивана, о! Тогда им было бы о чем поговорить, что вспомнить. Но Потап погиб на Камчатке, а Василий сейчас где-то на дальней службе в Даурии.

«Гей! Гей! Расступись, время! Просветлись, память!»

На сорока оленьих упряжках вынесся отряд Атласова из Анадырского декабря 14-го числа 1696 года — пепельный сумрак стоял в небесах, пепельный снег летел из-под полозьев санок день за днем, ибо низкое солнце стоит в это время у самого горизонта, кроясь дымкой даже в полдень, а потом на двадцать часов исчезает вовсе, и в тундре царит тьма. Ледяную мертвую

пустыню оставляли они позади, двигаясь к югу. С Анадыря перешли на Майн, с Майна — на реку Черную, приток Пенжины. Кустики чахлой растительности в пойме Пенжины сменились рощами лиственницы. Здесь они в последний раз видели северное сияние, которое часто раскрашивает павлиньими хвостами небеса над Анадырем. Чем ближе к устью Пенжины продвигались они, тем гуще обступали их леса. На притоке Пенжины, реке Оклане, впервые увидели они рощи могучих, в три обхвата, тополей, кроны которых, казалось, подпирали небеса. Устья Пенжины достигли они всего за неделю. Здесь солнце уже стояло выше, поднимаясь до половины небесного свода. По счастью, пурга ни разу не задержала их в пути, ибо стояли такие морозы, что вороны замерзали на лету. От мороза солнце в небе двоилось и троилось и было багровым, почти цвета крови. Взяв ясак с каменских и таловских коряков, Атласов разделил отряд.

На восток по долине Таловки простирается пустынный Парапольский дол, где оленные коряки пасут тысячные табуны. Потапу Серюкову надлежало пересечь дол и спешить в землю алюторских коряков, чтобы разыскать там отряд Сидора Бычана, отдать тому распоряжение немедленно возвращаться в Анадырское, а самому двигаться дальше на юг, в сторону реки Камчатки, восточным побережьем Камчатского носа, объясняя по пути встреченные племена.

Атласов с остальной частью отряда и юкагирами двигался побережьем Пенжинского, или Ламского, моря.

Неслись, загоняя оленей, ибо Атласов положил пройти тысячу верст, отделяющих Анадырь от Тигиля, с верховий которого можно было пройти в долину Камчатки, до той поры, как сойдут снега. Кроме вожей*, взятых из числа коряков, был в отряде Атласова казак Яшка Волокита, ходивший до Тигиля с Лукой Морозкой, поэтому отряду не грозила опасность заблудиться в пути. Загнанных оленей заменяли свежими, взятыми у оленных коряков. Оленную упряжку коряки охотно отдавали за усольский нож и еще считали, что от этой мены остаются в выигрыше — так в этих местах ценилось железо.

* Во ж — проводник.

С Таловки перешли на реку Подкагирную, с Подкагирной — на Шаманку, а затем на Лесную. Тундру населяли оленные коряки, воинственные, спесивые. Жили они в обширных чумах, крытых оленьими шкурами. На побережье обитали коряки сидячие. Эти кормились рыбной ловлей, промышляли морских зверей, юрты у них были земляные, посуду делали деревянную и глиняную. Были они как бы в подчинении у оленных коряков, и поселки их составлялись из тех коряков, кто по какому-нибудь несчастью потерял свои олени табуны и по этой причине вынужден был кормиться возле рек и моря.

Ни сидячие, ни оленные коряки соболя почти не промышляли — непрочные шкурки этих зверьков не шли, по их убеждению, ни в какое сравнение с оленьими либо собачьими.

К югу от Парапольского дола снова начинались места лесные, но лиственница здесь уже не росла — царили здесь береза, крепкая, что камень, свиловатая, а также осина, рябинники и засыпанные снегом стелющиеся кедрачи. На Подкагирной и Шаманке все чаще сопровождавшие казаков юагиры стали примечать на снегу соболиные следы, на Лесной следы эти стали примечаться совсем густо, и Ома стал приставать к Атласову, чтоб тот разрешил юагирам начать соболиный промысел. Атласов резко отказал. Ома обиделся, но смолчал. После этого отказа юагиры стали посматривать на Атласова враждебно.

В середине февраля на Лесной их захватила пурга и свирепствовала две недели. Снегу навалило на сажень, и накатанные коряками зимние санные дороги оказались погребены под ним. Какую-то несчастную сотню верст от реки Лесной до Паланы пришлось пробиваться по горло в снегу десять суток. Дорогу для оленных упряжек пробивали юагиры, идя впереди на лыжах. Ко времени выхода на Палану люди измотались так, что ни у кого не было сил стоять на ногах. Волей-неволей Атласову пришлось дать казакам несколько дней на отдых.

Истинные дети Севера, юагиры набрались сил раньше казаков и успели обследовать все окрестности. Юагир Еремка Тугуланов, издавна друживший с Яшкой Волокитой, обнаружил в версте от казацкого стана столь густую сеть соболиных следов, что взбудоражил

весь лагерь. Юкагиры требовали задержаться здесь хотя бы неделю, чтобы поживиться соболем, который, можно сказать, сам шел охотникам в руки. Ома прямо обезумел и смотрел на Атласова волком, подозревая в том, что тот обманул юкагиров и что они, юкагиры, понадобились казакам только как слуги в этом походе. Яшка Волокита уговорил Атласова отпустить хотя бы нескольких казаков с юкагирами посмотреть те соболиные следы.

Если бы мог знать Атласов, к чему приведет эта уступка с его стороны! Смотреть ушли пятеро казаков и почти все юкагиры. К вечеру в стан вернулись все юкагиры, кроме Еремки Тугуланова, но не вернулся ни один из казаков.

На расспросы Атласова, почему не вернулись казаки, Ома, пряча глаза, ответил, что казаки поставили на ночь петли на соболей и вернутся утром с добычей. Атласов особенно не встревожился, ибо выступление с Паланы на Тигиль было назначено на утро. Ему и самому интересно было узнать, хороши ли здешние соболя.

Ночью Атласов был разбужен выстрелами и смятением в лагере. Он быстро сообразил, что юкагиры напали на казаков!

Впоследствии выяснилось, что, отойдя верст на пять от лагеря и достигнув того места, где были обнаружены соболиные следы, юкагиры предложили ставить петли, но казаки, памятуя запрещение Атласова задерживаться на Палане ради охоты, отказали Оме в этом требовании. И тогда по знаку князца юкагиры закололи четверых казаков копьями. Еремка же Тугуланов прикрыл своим телом пятого казака, Яшку Волокиту, и заколоть его не дал, хотя казака успели-таки изрядно помять. Оставшись отхаивать оглушенного ударом палицы в голову казака, Тугуланов в лагерь с прочими юкагирами не вернулся, прокричав вдогонку своим товарищам, чтоб те опомнились и повинились перед Атласовым.

Однако те не только не повинились, но решили напасть ночью на всех остальных казаков и перебить до единого. Тугуланов не знал, что Ома успел снестись с Канмамутеевым и на Анадыре стало известно о запрещении Атласова юкагирам заниматься промыслом соболя. Канмамутеев выслал к Оме отряд в пятьдесят

воинов под началом князца Почины, и Почина уже несколько дней тайно следовал за казаками, ища лишь удобного случая напасть на казаков совместно с Омой.

Но ничего этого Атласов даже не подозревал. «Вперед и вперед, на Камчатку!» — вот мысль, которая направляла в этом походе все его поступки.

Разбуженный выстрелами — стоявший этой ночью на часах казак сумел вовремя разбудить лагерь, хотя и был тут же заколот, — Атласов быстро собрал вокруг себя своих людей и дал юкагирам достойный отпор.

Однако едва казаки, огоротившиеся оленьими санками, выскочили на вылазку, чтобы довершить разгром юкагиров Омы, как из тьмы набежали на них десятки врагов — это подоспел отряд юкагира Почины.

Пришлось казакам вернуться в огороженный санками лагерь. Утром выяснилось, что убито трое казаков, не считая тех, что были заманены Омой в тундру якобы смотреть соболиные следы. Пятнадцать казаков были ранены, сам Атласов получил шесть ранений. Положение усугублялось тем, что юкагиры в ночной схватке сумели выкрасть у казаков почти все ружья и боеприпасы. Кроме сабель, у людей Атласова осталось только три пищали, два старых самопада да несколько пистолетов. Этого хватило бы лишь для того, чтобы удерживать в своих руках кое-как укрепленный лагерь, ни о какой вылазке не могло быть и речи — больше половины казаков не могло стоять на ногах, столь серьезны были полученные ими в ночной схватке ранения.

Следующей ночью в казачий лагерь проскользнули Яшка Волокита и оставшийся верным казакам юкагир Еремка Тугуланов. Волокита притащил с собой все ружья убитых в тундре товарищей, и это несколько улучшило положение осажденных. Отсиживаться на снегу за оградой из одних лишь саней было безумием, и казаки под покровом ночи сумели пробиться в огороженное земляным валом стойбище сидячих коряков, расположенное в полуверсте от их лагеря. Напуганные сражением, хозяева стойбища бежали в тундру, и казакам, кроме теплых земляных юрт, достались изрядные запасы юколы, сушеной икры, мешки с вялеными клубнями сараны, пузыри, налитые лахтачьим жиром, пуки сушеной сахарной травы — словом, в ближайшие два-три месяца голод им не грозил.

Те, кто мог стоять на ногах, подсыпали окружающий стойбище земляной вал снегом и обливали водой, так что вскоре укрепление стало совсем надежным.

Между тем и силы осаждавших увеличивались. К юагирам присоединился какой-то оленный корякский князец с двумя десятками своих воинов — видимо, он рассчитывал на легкую поживу. Угроза витала над лагерем осажденных. Своими силами из осады казакам было не вырваться. Мог выручить только Потап Серюков. Но как дать ему знать об этом? Никто из казаков не мог бы добраться до него — в тундре уже прошел слух, что казаки загнаны в ловушку, и любой посланец Атласова был бы немедленно схвачен не юагирами, так коряками, и предан смерти.

Выручил Еремка Тугуланов. Юагира этого спас когда-то от смерти Яшка Волокита, найдя еще подростком в тундре истекающим кровью, — Еремка напоролся на охоте на медведя-шатуна, и хотя медведя он пронзил копьем, сам охотник был настолько истерзан, что не выжил бы, если бы его не вынес на руках в ближайшее стойбище Яшка Волокита. На предложение отправиться к Серюкову Тугуланов согласился сразу, едва его попросил об этом Волокита. Еремка в тундре был свой человек, и никому и в голову не пришло бы, что он посланец обложенных в укреплении казаков.

Уходил день за днем, наступил уже июнь, а о Серюкове по-прежнему не было никаких известий. Между тем голод делал свое дело. Осажденные ели уже лахтачьи ремни и с трудом передвигали ноги. Когда казаки решили, что гибель неминуема, появился Потап Серюков. Юагиры и корякский князец после недолгой схватки побросали оружие и запросили пощады.

Стремительный, загорелый, с виноватой улыбкой на широком круглом лице, Потап обнимал ослабевшего Атласова, объясняя, что его задержала гибель проводников, попавших в горах под снежную лавину, и казаки два месяца блуждали в незнакомых ущельях. Весть о том, что казаки попали на Палане в осаду, достигла ушей Потапа раньше, чем к нему прибыл Тугуланов. Юагир разыскал их в горах, когда казаки не чаяли уже выбраться к Палане, и вывел их кратчайшей дорогой мимо Паланского озера.

Атласов был так обрадован этим чудесным спасением, что даже не стал наказывать изменивших ему юа-

гиров. Опасаясь за сохранность Анадырского зимовья — как стало известно от повинившихся юкагиров, на Анадыре был побит отряд торгового человека Афанасия Балушкина, и юкагиры с чукчами уже осаждали сам острог, — пятидесятник разрешил Почине заняться промыслом соболя на Палане и Лесной, а в Анадырское отправил Яшку Волокиту вместе с Тугулановым, дабы они возвести тамошним родам, что отряд Атласова цел, юкагиры покорены и в случае разорения зимовья зачинщиков ждет суровая расплата. Впоследствии оказалось, что Атласов поступил правильно. Когда его посланцы явились на Анадырь, чукчи с юкагирами уже готовились в третий раз пойти на приступ казачьего укрепления. И только известие о победе Атласова на Палане предотвратило гибель Анадырского. Нападавшие отступили и запросили мира.

Атласов же со всеми казаками и юкагирами Омы двигался уже к Тигилю. При этом изголодавшиеся во время многомесячной осады казаки приказали следовать за ними и злополучному корякскому князю со всеми его табунами. На стоянках князец, радуясь тому, что казаки простили ему измену, приказывал своим пастухам резать самых жирных оленей и кормил казаков до отвала. Юкагиры же, как заметил Атласов, держались настороженно и угрюмо. Ома даже позеленел от какой-то кручины. Никто не мог бы объяснить, в чем тут причина. Жидкие обвисшие усы князца, втянутая в плечи голова, несвойственная ему раньше робость говорили, как казалось Атласову, о крайнем раскаянии князца, о том, что он себя денно и ночью бичует за измену.

Однако на Тигиле неожиданно для Атласова юкагиры совершили попытку тайком покинуть казаков. Такое вероломство и неблагодарность совсем взбесили Атласова, и он решил дать юкагирам острастку — всех до одного их выпороли батогами.

И странное дело — после великой порки юкагиры повеселели так, что на них приятно было поглядеть. Они прямо заглядывали в рот Атласову, готовые по одному его слову идти в огонь и воду. Только теперь выяснилось, что, не получив никакого наказания за свою черную измену, кончившуюся гибелью семерых казаков, они решили, что начальник готовит для них страш-

ную кару — такую страшную, что белый свет казался им немил. Порка же показалась им настолько желанным наказанием, что они прямо сами лезли под батоги, некоторые даже пытались подставить спину дважды.

Когда смысл всего этого дошел до казаков, они хотали так, что зверье в ужасе разбегалось по тундре, и вместе с казаками хохотали юкагиры, которых уже успели выпороть, и хохотали юкагиры, которых еще пороли, — и под конец, на вечный мир и дружбу, Атласов велел выставить невесть какими путями сохранившийся бочонок вина, который и был осушен под общий хохот.

В последних числах июня 1697 года, оставив позади истоки Тигиля и горные перевалы, казаки вышли на реку Кануч, падающую устьем в заветную реку Камчатку.

В устье реки Кануч Атласов велел поставить огромный крест в знак присоединения Камчатки к землям Якутского воеводства. На кресте вырезали письма, гласящие о том, что крест сей поставил пятидесятник Владимир Атласов с товарищами в таком-то году, такого-то числа. Казаки палили из пищалей и кидали кверху шапки, осеняли себя крестным знаменем и целовали землю, плакали, смеялись и падали друг другу в объятия.

На грохот выстрелов сошлись и окружили казаков сотен пять обнаженных по пояс камчадалских воинов. Вели они при этом себя так, словно пред ними предстали посланцы самого господа бога. Положив на землю луки из китового уса и копья, они тем самым уверили пришельцев в дружественном к ним отношении.

Дабы показать, что они и в самом деле не лыком шиты, Атласов, почти не целясь, выпалил из пистоля по кружившейся над его головой вороне. Когда ворона упала к его ногам, почтение камчадалов к пришельцам возросло десятикратно.

Уже вечером, когда казаки сидели за пиршеством в балагане камчадалского князца, коряк, бывший за толмача в разговоре Атласова с князцом, объяснил, что камчадалы считают пришельцев огненными людьми, что пламя, которым Атласов поразил ворону, вылетело у него не из дула пистоля, а изо рта. Впрочем, и сам толмач считал, что так оно и есть, что пришельцы

способны поразить огненным дыханием все живое окрест.

Зимними жилищами у камчадалов служили огромные земляные юрты, в каждой из которых обитало до трех десятков семей. Летом камчадалы переходили жить в крытые корьем балаганы, поставленные на высоких столбах, — каждый такой балаган издали походил на городскую башню. У всякой семьи на лето имелся свой балаган. В стойбище князца таких балаганов казаки насчитали до четырех сотен. Сколь же многолюдны были стойбища в долине Камчатки, если население первого встреченного из них равнялось трети населения Якутска!

Камчадалский князец с величайшим удовольствием принял подарки — бисер, позумент, несколько железных ножей — и согласился быть впредь покорен великому вождю, приславшему на Камчатку своих огненных людей. Узнав, что пришельцы больше всего ценят соболиные шкурки, князец несколько удивился, но, будучи от природы сообразителен, не стал отдаривать пришельцев шубами и шапками из прекрасной собачины, а велел принести кухлянки из соболя и соболиные шкурки. Выяснилось, что соболем Камчатка богата превыше всяких ожиданий. Но камчадалы промышляют его мало, так как шкурки этих зверьков по прочности далеко уступают собачине либо гагарьим шкуркам, из которых они и шьют себе одежду. Впредь для своих новых друзей князец велит промышлять соболя в таком количестве, какое его друзьям покажется достаточным.

— Про острог спроси, — шепнул Атласову Серюков.

— Видно, самое время спросить, — согласился Атласов. — Тут у них, чую, промеж князцами давние стычки кипят, коль научились укреплять острогами свои стойбища... А не дивно ль тебе, Потап, вспоминать, как мы с тобой край земли представляли? Мол, там и великаны девяти сажень, и люди с ногами скотьиными, с очами и ртом в груди. И птица Феникс-де там сама свое гнездо сжигает, и выходит из того пепла червь золотой, чтоб самому обрасти перьями и стать новой огненной птицей. А тут, глянь-ка, нас самих за огненных людей приняли. Потому мы для них тоже пришли со края земли, только с другого, им неведомо-

го. А ведь Камчатский нос для нас-то и есть край земли.

— А ты спроси еще князца про одноногого старика, который головой небо подпирает, а в четыре руки бьет бичами китов, чтоб из-под земли не выплыли и землю в пучине не утопили. Может, тот старик как раз родственник нашему князцу.

Потап тихо рассмеялся, а Атласов стал спрашивать князца, какая опасность заставляет камчадалов стойбища острогом обносить.

— Шантал! — с ненавистью ответил князец, рвя свою жидкую, как и у всех камчадалов, бородку. Потом он ударил себя кулаком в обнаженную грудь и, скрипя зубами, затряс головой, отчего его иссиня-черные волосы, заплетенные в косицы, упали ему на грудь.

— Кто такой Шантал? — дав ему немного успокоиться, спросил Атласов.

— Шантал — сын бешеной собаки, ночной волк! Куча дерьма и туча злобы!

Оказалось, что Шантал — самый могущественный князец низовой реки Камчатки, что он совершает постоянные нападения на стойбища среднекамчатских и даже верхнекамчатских родов, истребляя мужчин и уводя в плен женщин. Он опустошил и сжег уже многие селения, вырезал целые роды. Камчадалы стали укреплять свои селения стенами, опасаясь его набегов. Незадолго до прихода казаков на Камчатку камчадалы, обитающие в средней и верхней частях камчатской долины, договорились объединить силы и нагрянуть на низовья, решив победить или умереть.

— Сколько копий у Шантала?

— Много, потом еще раз много и еще раз столько же, сколько два раза много вместе, — перевел толмач Атласову ответ князца.

Оказалось, что князец умеет считать только до двадцати — ровно столько у него пальцев на руках и ногах. Он не мог выразить числом, даже сколько воинов у него самого. Любое число, превышающее два десятка, определял он одним словом «много». Атласов вспотел, прежде чем добился ответа на свой вопрос. В родах, выставляющих воинов по призыву Шантала, было впятеро больше способных носить оружие мужчин, чем

в родах, обитающих в средней и верхней частях долины Камчатки, что-то примерно около пяти тысяч воинов! При этом войско у Шантала было настолько хорошо организовано, что перед ним трепетала вся тундра на триста верст в округе.

— Пойдем с нами на Шантала, огненный вождь! Иначе его воины вырежут всех остальных мужчин и некому будет промышлять для тебя шкурки соболя! — упрасивал князец Атласова, применив весьма веский и тонко рассчитанный довод.

У князца было звучащее совсем по-русски имя Крупеня. Заинтересовавшись, что означает по-камчадалски это имя, Атласов получил неожиданный ответ: ничего по-камчадалски не означает, так называли очень вкусную похлебку другие огненные люди, которые были на Камчатке очень давно, когда князцу было меньше лет, чем пальцев на двух его руках.

Атласов поинтересовался, как звали начальника тех огненных людей, и получил ответ: Федота. Так вот оно что! Крупеня, принявший имя в честь вкусной похлеб-ки, помнил еще кочевщика Федота Попова. Значит, то, о чем когда-то рассказывал Любим Дежнев, оказалось истинной правдой! Именно по этой причине, видимо, и приняли камчадалы казаков так по-дружески. Что ж, дружба за дружбу. Посоветовавшись с казаками, Атласов решил принять участие в отчаянном походе, предпринимаемом Крупеней.

Вышли через несколько дней. Погрузились на камчадалские лодки, которые почти ничем не отличались от русских стругов, разве что сработаны были погрубее, так как камчадалы мастерят свои лодки каменными топорами и теслами.

Спускаясь по Камчатке, дивились казаки обилию растительности, теплу и солнцу, переполнявшему долину. Не все, что они слышали с Потапом о крае земли в детстве, оказалось неправдой. Видели они слева от долины гору, подобную скирде, которая извергала дым и пепел, и по ночам над ней стояло пламя. Гору ту камчадалы звали Шивелучь. Справа от долины поднялась еще одна высочайшая гора, которая гремела и тряслась, и пламя над ней освещало по ночам окрестности на многие десятки верст. То была Ключевская гора. Время от времени из нее исторгались тучи пепла, и в пепле том меркло солнце. Правдой оказалось и то,

что на Камчатке не было ни ужа, ни жабы, ни иного гада, кроме ящериц.

Не зря говорят, что у страха глаза велики. Крепость, в которой заперся Шантал, была ненамного больше укрепления Крупени. Соединенное войско камчадалов и казаков взяло вражескую твердыню с третьего приступа, когда несколькими казакам во главе с Потапом Серюковым, облаченным в кольчуги, удалось зажечь стены. Шантал погиб, кинувшись со стены на камчадалские копья.

Воины Крупени выжгли еще несколько крепостей, в которых сидели верные Шанталу князцы, и на том во всей долине Камчатки воцарился мир.

Затем Атласов решил подняться с казаками до верховий Камчатки, чтобы получше познакомиться со здешними обитателями. Крупеня выделил для него два десятка самых ловких и сильных гребцов, и струи даже против течения поднимались очень быстро. Чем выше к истокам реки поднимались казаки, тем тучнее становилась растительность. Казаки обнаружили даже черемуху и малину. Земля здесь под благодатным солнцем была засеяна семенами жадных цепких растений, реки и озера обильны рыбой и птицей, а здешние леса — всяким зверьем и, что особенно важно было для казаков, соболем. Казаки мяли и нюхали черную, жирную почву и сходились на одном, что здесь даже хлеб сеять можно.

По сравнению с закованным в ледяной панцирь и погруженным в сумерки Анадырем Камчатка представлялась сущим раем.

Потому и населены эти берега были густо — многочисленные камчадалские селения радовали глаз живостью, весельем и отменным здоровьем мужчин, пригожестью женщин, свежестью рожниц ребятишек.

В пути догнала Атласова весть: корякский князец, следовавший на Камчатку по приказу казаков со своим табуном, бежал в тундру. При этом он увел и казацких ездовых оленей.

Пришлось срочно возвращаться. Князца казаки настигли в устье Тигиля, к нему присоединилось до полутора сотен корякских воинов. Пришлось вступить с ними в схватку. Это был последний крупный бой казаков в камчадалской земле. Оленей они отбили, а коряков рассеяли.

Пройдя затем побережьем Пенжинского моря на юг до реки, где обитали курильцы, и взяв там полоненка, занесенного морем на Камчатский нос бурей из Узакинского (Японского) государства, Атласов повернул на север, и на реке Иче казаки срубили зимовье, где и перезимовали. И казаки, и юкагиры зимой промыслили соболя: охота оказалась удачной настолько, что все были довольны.

Отправив Потапа Серюкова с полутора десятками людей в верховья реки Камчатки, чтобы он поставил там крепкий острог и взял ясак согласно договоренности с камчадалов Крупени и иных стойбищ, Атласов внял челобитной остальных казаков, настаивавших на возвращении в Анадырское, так как порох и свинец были почти израсходованы, и по первому снегу отряд двинулся на оленьих упряжках в обратный путь.

И в Анадырском, и в Якутске результаты этого похода были оценены так высоко, что якутский воевода немедленно отправил Атласова в Москву порадовать государя открытием новой соболиной реки.

— Семь трясовиц ему в поясницу, этому сторожу! Чтоб его черти уволокли в болото! — ругается Щипицын, потрясая кулаками. — Час уж тому, как прокричал, чтоб собирались на торги, а сам и носу не кажет, змей подкольный!

У Василия Щипицына узкое одеревенелое лицо, на котором прямой рот зияет, словно щель, глаза маленькие и застывшие, затылок стесанный, грудь плоская. Ни дать ни взять деревянный идол, каких таежные жители вырезают из досок. Сходство это нарушает лишь торчащая вперед острая борода, поблескивающая по бокам сединой, словно обоюдоострое лезвие.

В тюрьме Щипицын усох, как хворостина. Почти все разговоры сводятся у него теперь к еде. Даже во сне он чаще всего видит затекающие золотым жиром балыки и копченые окорока. Проснувшись утром, он злится, что это был только сон. В такие минуты его лучше не раздражать. А ведь в те дни, когда Атласов поверстал его на службу в свой отряд, Щипицын был известен всему Енисейску как веселый балагур и гуляка, которому море по колено. Тюрьма озлобила его. Кажется, он теперь ненавидит весь род человеческий, да-

же самого Атласова грозился поджарить на сковородке, как только представится для этого удобный случай. Иногда между ними возникали такие перепалки, что они готовы были кинуться друг на друга с кулаками.

Хотя и у Атласова испортился в тюрьме характер — он сам замечал за собой, что ему все труднее обуздать приступы ярости, возникающие по пустякам, — однако почти всегда зачинщиком ссор выступал Шипицын. Василий в запальчивости договаривался даже до того, что и в тюрьме он оказался по вине Атласова. Более наглых речей Владимир в жизни не слыхивал! Кто, как не Шипицын, травил его во всю эту историю?

Для второго похода на Камчатку Атласову предписывалось по царскому указу набрать сто человек в Тобольске, Енисейске и Якутске — как охотников из промышленных и гулящих людей, так и в неволю из детей служилых казаков. Василий Шипицын пристал к отряду в Енисейске с десятком таких же, как и он сам, гулящих товарищей. До поступления в отряд они промышляли соболя, однако неудачно; занимались охранять торговые караваны; иногда, пропившись до исподнего, брались за любую поденную работу. Поговаривали, будто бы числились за ними и лихие дела.

Шипицын сразу полюбился Атласову какой-то особенной бойкостью характера, готовностью идти без раздумий куда угодно, лишь бы не знать в жизни скуки.

Веселый этот проныра, узнав, что начальник отряда жалован шубой с царского плеча и произведен в казачьи головы самим государем, сумел указать Атласову способ, как добыть дощаники для плавания из Енисейска в Якутск. К тому времени имущество отряда — пушки с ядрами, пищали, множество другого вооружения, а также всяких годных в походе припасов — громоздилось на берегу Енисея целыми горами, а речные суда, выделенные Атласову енисейским воеводой, оказались мелки, стары и дырявы — плыть на них можно было лишь в гости к водяному.

По подсказке Шипицына казаки захватили два вместительных прочных дощаника, принадлежавшие какому-то именитому торговому гостю, а из выделенных воеводой загрузили только один — тот, что был попрочнее, остальные же попросту бросили. В случае распросов по этому делу уговорились объявить, что в чужие суда сели по ошибке, приняв их за свои. При этом Ци-

пицын сумел убедить Атласова, что енисейский воевода не осмелится преследовать человека, обласканного самим государем. Да что там преследовать! Государь попросту прикажет снять с енисейского воеводы шапку вместе с головой за то, что он вместо прочных посуды пытался всучить Атласову дырявые корыта!

С этого захвата чужих дощаников и начался путь к тюрьме. Якутский воевода, может быть, и уладил бы как-нибудь с енисейским воеводой это дело о захвате дощаников торгового человека, да вся беда в том, что самовольный этот захват был лишь первой ласточкой в той волне самоуправства и разгула, которая с легкой руки Щипицына захлестнула атласовский отряд.

Почти все деньги, полученные от Атласова при вступлении в отряд, новоиспеченные государевы казаки истратили на закупку вина — брали в складчину, бочонками.

Едва отчалили от Енисейска и достигли Тунгуски, началось веселье. Пили и пели так — небо качалось. Орали в сто луженых глоток, поклявшись распугать все таежное зверье на Тунгуске на сто лет вперед.

Атласов тоже отпустил вожжи. Кружила голову слава, приятны были почести, какие воздавали ему казаки — все они до единого хотели выпить хотя бы раз, а потом хотя бы еще и еще раз на вечную дружбу с казачьим головой, жалованным самим государем. Вскоре его величали уже не головой, а попросту атаманом — так звучало намного теплее и приятнее для всех. И атаман, сердечно обнимая милого друга Щипицына, назначенного им есаулом отряда, старался перепить и перепеть всех, дабы не уронить себя в глазах веселых своих товарищей. Расчувствовавшись, он сулил им открытие новых земель, даже богаче Камчатки! И за те земли государь пожалует их всех до единого в казачьи головы и поднесет по большому орленому кубку.

Дальше — больше! Пугали зверей — стали пугать торговых людей. Остановливали плывущие навстречу купеческие суда, требовали угощения, подарков. Когда один из дощаников дал течь, казаки задержали первое попавшееся торговое судно и пересели в него, «забыв» выгрузить купеческие товары. Ограбленному купчишке велели занять освободившийся дощаник и плыть со своими людьми поскорее в Енисейск, покуда судно со-

нсем не затонуло и покуда у казаков терпение не кончилось.

Потом и вовсе началось несуразное. Атласов смутно помнил, как гонялся на своих дощаниках за судами, принадлежавшими самим енисейским воеводам! Хоть и были воеводские суда не в пример атласовским быстрее, однако где им было уйти от преследования, если казаки прознали, что те суда гружены вином!

Догнали, хотели брать вино силой, а оказалось, что воеводский приказчик — душа человек, что вовсе он не намерен был бежать от казаков, а просто хотел узнать из чистого интереса, хорошо ли владеют казаки веслами и парусом. И как только увидел он, что за молодцы наседають у него за кормой, тут же по своей доброй воле велел гребцам сушить весла — так его разобрала охота взглянуть в лицо и воздать должное богатырской силушке казаков-удальцов. Тут же велел он выкатить бочки с медом и поить казаков сколько влезет. Атласова же лобызал со слезами умиления и братской любви и лично проводил на атаманский дощаник, даже подушечку под голову атаману подложил с превеликой заботой о его сладком покое.

Но лишь уснули казаки, поднял, стервец, паруса и скользнул пораньше утречком прочь от друга-атамана, не оставив тому даже малого жбана медку на опохмелку.

Казаки утром рвали на голове волосы, что дали так провести себя. Целых два дощаника с вином ускользнули у них из-под носа как раз тогда, когда они вошли в самую охотку!

Не беда! Едва перетащили суда через Ленский волок и достигли Киренского острога, наткнулись на винный курень, который тайно держал киренский приказчик. Перетаскали приказчику за корчемное вино все китайские товары с грабленного купеческого дощаника — три недели стоял в Киренском дым коромыслом.

Славно погуляли! Подплывая к Якутску, казаки даже и думать не хотели о том, что весть о разбое на Тунгуске могла уже достигнуть ушей якутского воеводы. Где им было думать об этом! В тот час, когда вооруженный конвой препровождал их от причала за тюремные стены, все они еще пошатывались, блаженно улыбались, объяснялись конвойным в любви и лезли целоваться,

и все это под громоподобный хохот толпы любопытных, собравшихся на берегу.

Черт! Атласов краснеет, вспоминая, что Якутск хохотал потом еще добрых полгода. Нечего сказать, герои! А особенно он сам!

Что ж, может быть, Шипицын и прав, вина во всем его одного. Ведь он был начальником отряда, в его власти было пресечь разгул. Так нет же! Он и сам очухался только в тюрьме и сообразил, что к чему, лишь на следующий день. Потом спохватился, писал покаянные письма в Сибирский приказ, обещая отслужить вину приисканием новых земель, — поздно! Тюремные запоры захлопнулись крепко, и вот уже пять лет протирает он здесь бока на деревянных нарах. Здесь, в тюрьме, узнал он и о гибели Потапа Серюкова. Потап действительно построил в верховьях Камчатки острог, благополучно перезимовал в нем и собрал богатейший ясак. Но на пути в Анадырское казаки подверглись нападению коряков и все погибли.

Отец... Стеша... Потап... Три тяжкие для него утраты. Зачем он сам жив? Гнить заживо в тюрьме — это страшнее даже смерти. Он готов пойти на любые муки и страдания — только бы не сидеть вот так в бездействии.

Лязг дверного замка прерывает его размышления.

— Наконец-то! — довольно потирает руки Шипицын. — То сторож! В торговых рядах нынчелюдно — дело к зиме. Навезли, должно, якуты из подгородных волостей и рыбки, и сметанки, и маслица. Разживемся у них, народ они не жадный. А хлебца либо лепешечку аржаную подаст какая-нибудь из казацких женок. Они жалеют нас, тюремных сидельцев.

Шипицын сразу заметно подобрел, глаза его оживились, заблестели.

— Пойдем, а? Не пожалеешь! — еще раз предлагает он Атласову. — Гордыней сыт не будешь. От гордыни в тюрьме только десны пухнут да зубы вываливаются.

— Черт с тобой! Пойдем! — неожиданно для самого себя соглашается Атласов. Лежать все время на жестких нарах, точить сердце горькими воспоминаниями у него больше нет сил.

Однако вместо сторожа в тюремную келью протискивается подьячий воеводской канцелярии, одетый в теплый малинового сукна кафтан и островерхую шапку с

лисьим околышем. Лицо у подъячего маленькое и сморщенное, словно у новорожденного, он близоруко щурится и спрашивает:

— Который тут разбойник Володька Атласов?

Едва Владимир поднимается с нар, подъячий объявляет:

— Стольник и воевода Дорофей Афанасьевич Траурнихт велит доставить тебя, Володька, в канцелярию.

Атласов тяжело вздыхает. Он не спрашивает, зачем понадобился в канцелярии. Траурнихт — фамилия для него новая. Значит, в Якутске опять сменился воевода. Всякий новый воевода из любопытства вызывает Атласова, чтобы своими глазами взглянуть на казака, который проведаль знаменитую сободем Камчатку и за то был жалован государем, но потом оказался разбойником.

Заметив краем глаза, как разочарованно вытянулось лицо у Щипицына, Атласов накинул на плечи потертый кафтан и вышел вслед за подъячим.

Славен город Якутск!

По высоте стен и башен нет в Сибири городов, равных ему.

В городские стены врезаны восемь башен; одна из них, увенчанная часовенкой во имя Спаса, вознесла маковицу на четырнадцать с половиной сажений. В городе разместились обширные воеводские хоромы, Приказная изба, или воеводская канцелярия, ясачные амбары, караульня, оружейный двор, пороховые погреба; особой стеной огорожены строения, где содержатся тюремные сидельцы. К тюремному острогу привалилась обширная пыточная изба, наводящая ужас на все воеводство.

Отступив от главных городских стен, сложенных из мощной лиственницы в двадцать восемь сдвоенных венцов до облама *, да пять венцов облам, высится вторая линия укреплений — стоялый бревенчатый палисад, над которым парят островерхие шатры еще восьми мощных башен, сквозь узкие прорезы которых смотрят пушечные жерла.

Все это вместе — новый город. Он отнесен от берега Лены на четыреста сажений.

* О б л а м — выступ стены для удобства отражения неприятеля.

А на самом берегу Лены, подтачиваемые паводками, но все еще величественные, висят над водой башни и стены старого города. В старом городе выделяются резные маковицы обширного собора во имя Николая Чудотворца, размещены там также несколько тюрем, в одной из которых и содержались Атласов со Щипицыным, — тюрьмы эти не успели еще перевести в новый город.

Следуя за подьячим, Атласов, опустив голову, брел кривыми слободами посада, который занимал обширное пространство от стен старого города до палисада нового.

За те пять лет, что Атласов провел в тюрьме, посад разросся настолько, что Владимир едва узнает иные слободы.

В южной части посада, за логом, строится высшая служилая знать — дети боярские, казачьи головы, сотники, пятидесятники, подьячие Приказной избы и избы Таможенной, а также и рядовые казаки.

На другой стороне лога, северной, берет начало длинная слобода торговых, промышленных и ремесленных людей — эта слобода упирается в торговую площадь, на которой размещены лавки гостинного ряда, числом более двадцати, базар, а также око всякой торговли — Таможенная изба. Это самое оживленное место в Якутске. Здесь, поближе к торговой площади, стоят крепкие избы, иные в два жилья (этажа), приказчиков именитых торговых людей.

На отшибе от этого суетного места, ближе к реке, возвели свои дома с глухими заборами ссыльные старообрядцы, а в северо-западной части посада селятся прочие ссыльные, среди которых много грамотеев, в основном из поляков. Эти неплохо кормятся из одной писчей деньги, составляя на торговой площади всякому люду челобитные — кому какие надобны. Берут они и казачьих детей в обучение грамоте. Атласова и самого учил грамоте старый поляк Федор Козыревский, взятый в давние времена в плен под Смоленском. Поляк этот давно уж в могиле, а сын его и внуки, как Атласов слышал, отправлены на Камчатку. Из ссыльных поляков служили многие и подьячими в Приказной избе, ведая столами. Крайние избы слободы ссыльных примыкают к стенам Спасского монастыря — там церковь, часовни и кельи братии.

Таков Якутск в целом. Множество башен, церковных

куполов, видных издали, обширность и добротность построек, многолюдство, пестрота одежд, языков и говоров, крупный размах торговли — все это и создает Якутску славу первого в Сибири города.

Дух наживы, дух погони за соболем определяет здесь кипение страстей человеческих. Даже на воеводской печати, которая хранится в Приказной избе, вырезан орел, когтящий соболя, — герб города Якутска, истинная печать его физиономии.

Последние дни уходящего лета выдались в Якутске на редкость холодные. Ночами мороз уже больно покусывает лицо, а днем лужи не успевают оттаять. Под ногами у Атласова похрустывает ледок, от свежести и чистоты, какая разлита в остывшем воздухе, у него кружится голова.

Он знает, что Якутск, как и всегда в это время, трясется в ознобе, и весь люд проклинает воеводу. Для убеждения города от пожара летом запрещено топить печи в домах. На кострах, на сложенных кое-как по огородам печах-временках варят себе пищу горожане, а ночами, дабы не окоченеть от холода, зарываются в меха, в перины, в дерюги и солому — всяк по своему достатку. Огня держать в домах тоже нельзя, поэтому летом Якутск ложится спать с заходом солнца и встает с восходом.

Солнце давно уже взошло, якутские женки успели обрядить скотину и напоить парным молоком озябших за ночь ребятишек. На городских стенах сменились караулы.

Торговая площадь перед Таможенной избой запружена людьми в разноцветных кафтанах — меховых, суконных, атласных. А кое у кого уже и шубы на плечах. Приезжие якуты, тунгусы и юкагиры осаждают купеческие лавки, покупая топоры, усольские ножи, цветные сукна и шелка, позумент, бисер.

Посадские толпятся возле базарных столов, на которых якуты из ближних волостей выставили для обозрения и соблазна бычьи туши, круги мороженого молока, масла, бурдюки с кумысом, копченую, свежемороженую рыбу, а также сушеные грибы, мороженую бруснику, битых зайцев, гусей, уток... Иные из якутов торгуют барахлом, какое для зимы надобно: меховыми кафтанами, сапогами из собачины, шапками и рукавицами.

Торговля идет бойко. Те, кто уже отторговался, спе-

шат в кабак — обмыть барыш. Там, в духоте и чаду, не протолкнуться; кроме торговцев, пьют казаки, вернувшиеся со службы в дальних зимовьях и острогах; пьют промышленные перед выходом в тайгу на охоту; пьют таежные князцы и тойоны, приехавшие просить у воеводы отсрочки ясачных платежей и искать защиты от самоуправства воеводских приказчиков; а более всего пьют те, кто обитает в кабаках почти постоянно, — лихой гулящий люд, запойные пьяницы не разбери-пойми каких сословий.

Атласов, проталкиваясь сквозь базарную толпу, старается избегать взглядов встречающих казаков. Он знает, что среди казаков ходит о нем присловье: «Один из наших тоже взлетел высоко, да как упал — больно расшибся».

На этот раз ему повезло: никого из знакомых в толпе не встретил. Впрочем, горько усмехается он, ему везет все чаще и чаще.

Он так долго сидит в тюрьме, что знакомых у него скоро не останется вовсе.

Миновав торговую площадь, Атласов с подьячим через въезжую башню вошли в новый город.

Приказная изба, или, по-новому, воеводская канцелярия, рублена в два жилья, нижние окна забраны железными прутьями, верхние поблескивают слюдой. Крыльцо канцелярии резано деревянных дел мастерами, точеные балясины украшены кружевом и петухами.

В канцелярии четыре стола: денежный, ясачный, хлебный и разрядный, делами которых ведают назначенные воеводой подьячие числом до восьми. Для сношений с инородцами в штат канцелярии зачислены два толмача. Здесь же служат и выборные от мирских людей целовальники, которые целовали крест, обещая пуще собственных глаз беречь государеву денежную казну, честно собирать доходы с царевых кабаков и хранить всякие государевы запасы.

Самая обширная и светлая комната в канцелярии отведена воеводе. Здесь он принимает челобитчиков, вершит суд на свое усмотрение, тягает за бороды нерадивых подьячих и целовальников.

Сюда, в эту комнату, и ввел подьячий Атласова.

Стольник и воевода Дорофей Афанасьевич Траурнихт восседает в широчайшем кресле, которое, однако, кажется для него тесным, столь он тучен и громоздок.

У него слоновьи ноги, мясистое равнодушное лицо перевидавшего все на свете человека и невыразительные, цвета холодной свинчатки глаза, опущенные белесыми ресницами.

— Очень нехорошо быть разбойник! — оттопырив толстую нижнюю губу, обиженно говорит он Атласову, словно тот его только что ограбил.

«Немчин поганый, русского языка не успел выучить, а туда же — читать наставления!» — тоскливо думает Атласов.

— Вишь, воевода, пошалили мы немножко с казаками. Было дело, не отпираюсь, — вежливо соглашается Атласов, чтобы хоть как-то поддержать беседу, которая заранее обещает быть скучной.

— Что есть — пошалили? — поднимает кверху белесые брови воевода. — Шалость есть невинный детский развлечений. А ви хватай делай грабить торговый государев человек. За такой поступок всякий разбойник имеет быть караться веревкой вокруг шеи, покуда приходит смерть... Государь много обижен тобой есть. Надо хорошо делать служба. Теперь государь велит делать приказ посылать тебя и твои люди обратно Камчатка. Тюрьма нихт. Ти есть свободен.

Атласов стоит совершенно огушенный. Как! Вот этот огромный каменный болван с холодной немецкой начинкой привез ему весть о свободе!.. Пол начинает уходить у него из-под ног.

— Ну, ну! Полно, голубушек! — вставая во весь свой огромный рост, успевает поддержать Атласова воевода. — Тюрьма нихт! Это есть святой правда! Мы больше не будем разбойник, мы будем служить честно, черт нас похвати!

Траурнихт улыбается каменными губами, Траурнихт даже пытается неуклюже шутить. Но едва он убеждает, что Атласов пришел в себя, как тут же объясняет: государь приказал освободить Атласова, дав Траурнихту право вздернуть казачьего голову при первой же серьезной провинности на любом подходящем суку, не отписываясь в Москву. Поэтому, вдалбливает Траурнихт, Атласов должен служить, не щадя ни своего живота, ни живота казаков. Таковы условия его освобождения.

Военное счастье по-прежнему не сопутствует государю в его войне со шведами, казна государева пуста —

поэтому Атласову надлежит всеми мерами гнать с Камчатки поток пушнины. Если же казачий голова не оправдает возлагаемых на него надежд — пусть пекется на себя самого.

Вместе с Атласовым воевода обещает выпустить из тюрьмы и всех других казаков, виновных в разбое на Тунгуске.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Чёрное утро

Странное утро выдалось 6 июня 1707 года в казачьем остроге на Большой реке.

В это утро Иван Козыревский проснулся как обычно: не рано и не поздно. Откинув низ полога, подвешенного к потолку над широким супружеским ложем для защиты от комаров, он увидел, что за лахтачьим пузырем, затягивающим окно, как раз начинается угадываться рассвет.

Колеблемое сквозняком пламя лампадки освещало бревенчатые стены, ржавый болотный мох, которым были выложены пазы между бревнами, нестроганные плахи потолочного настила. Грубо сколоченный стол, два габурета, ларь да лавки у стены составляли всю обстановку избы — вернее, той ее половины, которую занимали Иван с Завиной. Вторая половина избы была отдана служанкам.

Несмотря на скудность обстановки, Козыревский гордился своим домом. Он сам возвел стропила и покрыл крышу речным камышом, сам сложил печь, сколотил стол и лавки.

Теперь Иван обзаводился лодкой. Всю последнюю неделю он долбил бат и почти закончил работу. Лодка должна была получиться на славу — узка и быстходна, а главное — легка, как перо, даже Завина могла бы ее самостоятельно вытаскивать на берег и сталкивать в воду, не лодка — просто загляденье. Да, в последнее время он немало поработал и уже привык просыпаться с ломотой во всем теле. Сегодня ломота, ка-

жется, пропала. Должно быть, он уже втянулся в работу, окреп. Ему ведь только двадцать пятый год, и тело его налилось упругой силой.

Радуюсь тишине, разлитой в его доме и в нем самом, Козыревский решил поспать еще немного. За окном почему-то перестало развидняться и даже, наоборот, как будто потемнело. Незачем вставать сегодня ни свет ни заря. Бат он успеет доделать за утро, и они с Завиной еще до полудня попробуют, какова лодка на воде.

Завина безмятежно спит, свернувшись калачиком. Дыхание у нее ровное и, как всегда, такое тихое, что, бывает, проснувшись среди ночи, он пугается, здесь ли она.

Завина — создание удивительное. Она не похожа ни на одну из здешних женщин. Лицо у нее более узкое и светлое, чем у всех камчадалок, глаза не черные, а карие, и большие, с прямым разрезом, в них нет ничего азиатского. Козыревский мог найти этому лишь одно объяснение. По слухам, лет пятьдесят назад на Камчатке зимовали люди кочевщика Федота Попова, сплывшие вместе с казаками Семена Дежнева из Нижнеколымского зимовья в чукотскую землю. На Камчатку суденышко Попова занесло бурей. Куда делись потом его люди, никому не известно. Должно быть, погибли в стычках с коряками, пробираясь на север к Чукотке за моржовым зубом. Вероятно, кто-нибудь из этих людей остался жив и коротал свой век вместе с камчадалами. Он-то и оставил светлолицее потомство.

В стойбище, откуда Козыревский увез Завину, о ее родителях ничего узнать не удалось. Она досталась тойону Большой реки, воинственному князю Карымче, как военная добыча лет десять назад, еще до покорения Атласовым Камчатки. В стойбище, на которое напали воины Карымчи, по здешнему обыкновению было перебито все мужское население. Среди пленниц не оказалось и матери Завины. Черты, отличавшие Завину от местных женщин, считались среди камчадалов за уродство, и никто из воинов не польстился на девочку, даже когда она подросла. Карымча использовал ее на самых неприятных работах. Ей было поручено ухаживать за собаками тойона, которых тот держал три упряжки. Каждую зиму ей приходилось доставать собакам из мерзлых зловонных ям тухлую рыбу и кормить все три

злющие и вечно голодные своры. К несчастью Завины, собаки никак не хотели привыкать к ней, словно чуяли в ней чужую.

Тойон был изумлен до крайности, когда услышал, что самая захудалая из его пленниц понравилась Козыревскому, представителю могучего племени пришельцев, способных поразить огненным дыханием все живое окрест. Он с радостью отдал девчонку Козыревскому. При этом, опасаясь, не хитрит ли огненный человек, довольствуясь столь ничтожным подарком, Карымча предложил пришельцу еще двух пленниц, самых красивых и расторопных. Зная, что его отказ смертельно обидел бы и даже испугал князца, Иван принял подарок. Ему пришла в голову блажь жениться на несчастной девочке-сиротке, чтобы она, как бывает в сказках, превратилась вдруг в царицу и стала счастливее всех. Он был, конечно, не царь, решил обзавестись хотя бы собственным домом и взять несколько слуг, чтобы было кому ухаживать за его женой. Две здоровые, крепкие служанки — этого для начала его царской жизни было вполне достаточно.

Рыжебородый, краснолицый архимандрит Мартиан, единственный на всю Камчатку священник, случившийся в эту пору в Большерецке, недолго выслушивал сбивчивые объяснения Козыревского, пытавшегося получить совет, стоит ли ему жениться так поспешно, и отмахнулся от его речей, словно от комариного писка. Прогрохотав, как камнепад в ущелье: «Не дай одолеть себя бесу сомнения, раб божий! Стерпится — слюбится!» — он тут же приступил к службе. Вначале он окрестил Завину, оставив ей по просьбе Козыревского прежнее имя, затем, заглянув в святцы, нарек в крещении служанок именами святых великомучениц и, не дав себе передышки, обвинил Козыревского с молодой камчадалкой. Так в мгновение ока Иван стал законным венчанным супругом крещеной камчадалки Завины, которая ровным счетом ничего не поняла в значении совершенного обряда. Она сразу привязалась к своему новому хозяину, который увез ее от рычащих собак, зловонных ям и побоев.

Вспомнив, что он хотел поспать еще немного, Козыревский натягивает одеяло. Однако сон не идет к нему. Взглянув еще раз в сторону окна, он в удивлении садится на постели. За окном совершенно темно, слов-

но к лахтачьему пузырю прислонился кто-то черной спиной, заслонив свет встающего утра. Неужели рас-свет ему только померещился?.. Чертовщина какая-то...

Но тут мысли его приняли другое направление. За-свевтив от лампадки фитиль стоящего на столе камен-ного жирника, он достал из небольшого деревянного сундучка, засунутого под лавку, круглую костяную чер-нильницу и уселся на лавку.

Семь лет назад якутский воевода перехватил чело-битную казаков. Казаки жаловались государю на само-управство воеводы. Выяснилось, что челобитная писана рукой Петра Козыревского. Казаков, поставивших свои подписи, воевода бил плетью, а Козыревского с тремя сыновьями отправил служить на дальнюю Камчатку, предписав отныне и навеки не давать им бумаги и чернил.

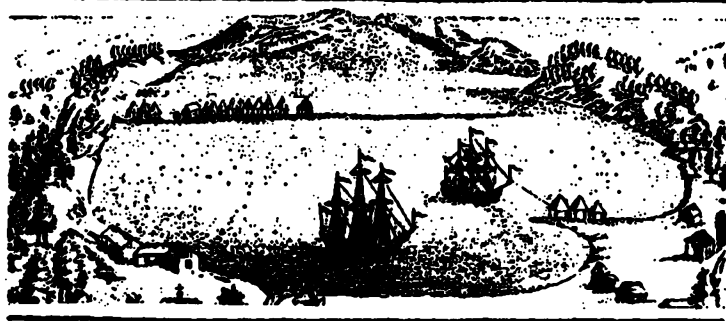
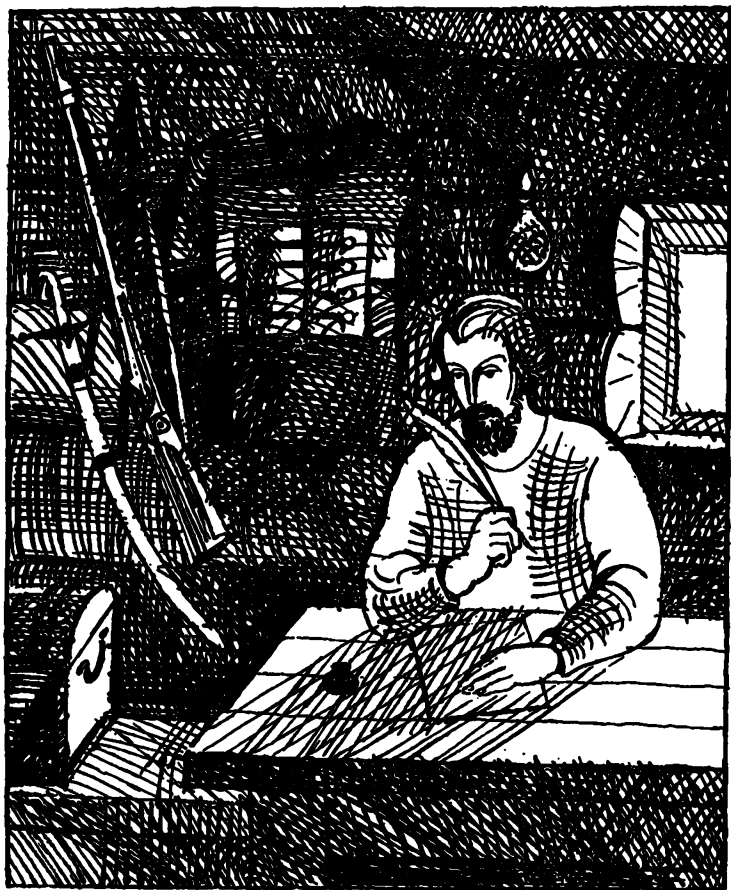
Вот момент, о котором он давно мечтал. Семь лет Иван не держал в руках гусиного пера и, должно быть, разучился писать. Теперь он в своем доме, где, кроме преданной ему Завины, никто не увидит его. Чернильни-ца полна, гусиных перьев припасено достаточно, есть и заветная десть бумаги. Очинивая перо, он поймал себя на том, что осторожно озирается по сторонам. Тьфу ты, напасть какая!

Ему давно хотелось сделать чертеж Камчатской земли. Не первый год он служит здесь, и ему хорошо известно, что никто из казаков не знает, сколько на Камчатке рек, озер, огнедышащих вершин и горных пе-ревалов. Без помощи проводников казаки заблудились бы в этой стране, где по рекам раскиданы сотни кам-чадальских и корякских стойбищ — названия их и упомнить-то невозможно! — а на всю Камчатку только три небольших казачьих укрепления: одно в низовьях, другое в верховьях пятисотверстной реки Камчатки, а третье здесь, на Большой реке. Чертеж, составленный по расспросам казаков и местных жителей, мог бы об-легчить казакам их нелегкую службу на этих огромных пространствах.

Занятия письмом были прерваны движением в поло-ге. Завина, должно быть, проснулась. Козыревский от-ложил перо и спрятал бумагу и чернила обратно в сундучок.

— Вчера приходил Канач, — сказала Завина.

Голос у нее низкий, грудной и мягкий, как мех со-



боля. Сейчас в ее голосе отчетливо прозвучали тревога и раздражение. Посещения Канача, сына инородческого князца Карымчи, всегда раздражают ее напоминанием о годах жизни в плену.

Вчерашним вечером Козыревский поздно вернулся домой, и Завина уснула, не успев поделиться с ним этой новостью. И вот, едва проснувшись, она спешит сообщить ему об этом неприятном для нее посещении. По местным обычаям, бывшая пленница Завина по-прежнему как бы принадлежит к роду Карымчи, поэтому инородческий князец, равно как и его сын Канач, навещая время от времени казачий острог, останавливаются у своих «родичей». Завина, соблюдая обычай, даже прислуживает за обедом Карымче и Каначу. Если перед старшим из них она держит себя почтительно, то перед младшим держится гордо и независимо. Канач, не по годам рослый и крепкотелый мальчишка лет пятнадцати, с серьезным лицом и пытливыми глазами, светящимися умом, делает вид, что не замечает ее раздражения. Он относится к Завине надменно и равнодушно, как и полагается относиться подрастающему деспоту к бывшей своей рабыне.

— Он не обидел тебя? — спросил Иван, имея в виду Канача.

Вместо ответа Завина только возмущенно фыркнула, желая показать, что в обиду она себя никому не даст.

— Ты накормила его?

— Накормила, — вздохнула она. — Он мой родственник.

— Ну и правильно, — поспешил одобрить ее Козыревский. — Гостя надо всегда хорошо накормить. У нас, казаков, тоже такой обычай. О чем вы с ним разговаривали?

— Он спрашивал, правда ли, что огненные люди вовсе не боги, что они не спустились с неба, что они смертны, как и все камчадалы.

— И что ты ответила?

— Я сказала, что неправда. Я сказала, что ты бог.

— Завина! Сколько раз я тебе объяснял, что я такой же, как и ты, человек, что просто мы пришли из далекой земли, где совсем другие обычаи.

Завина вдруг уткнулась носом в набитую гагарым

пухом подушку, и Козыревский услышал, как она всхлипывает.

— Ну зачем ты плачешь, глупышка? — склонился Иван над ней, не зная, как ее утешить.

— Я люблю тебя, — продолжая всхлипать, сказала она. — Я боюсь, что тебя убьют.

— Ну кто меня убьет? Что ты выдумываешь?

— Камчадалы ездят в гости! — сказала она таким голосом, словно извещала о гибели мира.

— Ну и что? Пусть себе ездят на здоровье.

— Камчадалы никогда не ездят в гости летом! Летом они ловят рыбу и быют на берегу морских зверей, а в гости ездят зимой.

— Да что ж в том плохого, если им вздумалось ездить в гости летом?

— Если камчадалы ездят в гости летом, значит, они готовятся к войне! Как ты не понимаешь?

Завина плакала теперь у него на груди, обвив его шею руками. Она плакала так горько, словно он был уже покойником. Тронутый ее любовью и слезами, он гладил ее волосы, обдумывая то, что она сказала. Непокорства со стороны камчадалов Большой реки казаки еще не встречали. Но все-таки в ее словах что-то есть. Пожалуй, стоит поговорить об этом с начальником острога Дмитрием Ярыгиным. Казаки в остроге слишком беспечно настроены. Караульные чаще всего спят по ночам на сторожевой вышке. Мало ли что могут измыслить камчадалы?

— Ну не плачь, — стал он успокаивать Завину. — Хотел бы я посмотреть на того камчадала, который надумает кинуться на меня. Камчадальские копья и стрелы казакам не страшны. Разве пробьет стрела мою железную одежду? — указал он на висящую на стене кольчугу. — Ты не приглашала Канача заночевать у нас?

— Приглашала, но он не захотел. Сказал, что ему уже предлагал ночлег Семейка Ярыгин, но он спешит домой.

Иван знал, что сынишка начальника острога, Семейка Ярыгин, шустрый четырнадцатилетний мальчуган, скучавший в крепости без сверстников, сдружился еще зимой с Каначом, и мальчишки часто лазили вместе по сопкам, гоняя куропаток. Однако в последнее время Канач редко появляется в крепости, и Семейка

изводит Козыревского вопросами, когда «родственник» Завины навестит острог. Постепенно мальчишка так привязался к Ивану, что повсюду таскался за ним по пятам, готовый по одному его слову мчаться куда угодно, выполнить любое поручение.

За окном по-прежнему было темно. Что за дьявольщина? Поднялись, видно, они с Завиной посреди ночи.

Громкий стук во входную дверь прервал их разговор. Козыревский натянул кафтан и пошел отчинять засов. На пороге — легок на помине! — стоял Семейка Ярыгин. Выгоревший белый чуб, кафтан нараспашку и весь в саже, темные глаза горят от возбуждения.

— Дядя Иван! — зачастил он прямо с порога. — Вы тут спите и ничего не знаете! На острог черный снег падает! Утро-то давно уж настало, да черный снег свет застил.

— Какой еще черный снег? Может, сажа и пепел?

— Сажа, она самая и есть, — подтвердил Семейка.

— Так зачем же ты меня путаешь? То снег ему, то сажа... Ветер откуда, с моря или с гор?

— Да вроде с гор тянет.

С минуту подумав, Иван заключил:

— Не иначе как Авачинская огнедышащая гора сажу и пепел исторгла. А ветер к нам и пригнал целую тучу этого добра. То-то я вроде утром свет за окном разглядел, а потом опять тьма настала.

Подождав, пока Завина оделась за пологом, они втроем вышли из дому.

Над острогом висело низкое черное небо, в котором лишь кое-где угадывались светлые размывы. На крепостные стены, на крыши построек сыпались сажа и пепел.

Перед приказчиьей избой в сумраке возбужденно переговаривались крепостные казаки:

— Дожили до тьмы кромешной!

— Уж не знамение ли какое?

— Что-то будет, казаки, что-то будет...

— К большой крови это...

— Тю, кровь ему мерещится! Да на Камчатке кругом горы пепел кидают. Поди, Авача разбушевалась. Других огненных гор ближе к нам нет.

— Раньше-то в остроге нашем никогда сажа не выпадала. Не к добру это. Стеречься надо.

— Братцы, гляди, у Харитона Березина рожа черней, чем у черта запечного!

— Сам ты шишóк запечный! — обиделся Березин, не сообразив, что в темноте его лица не видно, что казак шутит.

— Тише вы, воронье немытое! — прозвучал роко-чущий голос Данилы Анцыферова. — У нас с архимандритом Мартианом горе горькое, а они тут раскаркались.

— Что ж за горе у вас, Данила?

— А такое горе, что, как пала тьма, бочонок с хмелем мы потеряли. Плачьте с нами, братья-казаки!

В толпе послышался хохот.

— Данила, друг ты мне или не друг?

— А ты кто такой есть? В темноте и волка можно принять за друга.

— Гришка Шибанов я.

— Ну, ежели не врешь, что Шибанов, тогда друг.

— Так вот, Данила, ради дружбы нашей помогу я вам с Мартианом тог бочонок искать!

— И я помогу, Данила! — поддержал Шибанова голос Березина.

— И я!..

— И мы!..

Охотников поискать заманчивый бочонок нашлось немало, и казаки, гогоча, повалили за Анцыферовым.

Почувствовав, как в его руке дрожит рука Завины, Козыревский обнял ее за плечи.

— Ты что? Иль у вас здесь сажа с неба никогда не падала?

— Не помню... — Голос у Завины жалобный и перепуганный.

— И даже не слышала про небесную сажу?

— Слышала... Камчадалы всегда уходят с того места, куда упадет сажа. Иначе их ждет гибель... Нам тоже надо уходить на новое место.

— Ну вот! Опять ты за старое!.. На Нижнекамчатский казачий острог каждый год летит пепел с Ключевской горы, однако ж с тамошними казаками никакой беды не случилось.

Завина, увидев, что небо проясняется и тьма сменяется солнечным светом, немного успокоилась и даже повеселела.

— Ну, пойдём со мной бат доделывать?

— Пойдем! — обрадованно откликнулась она.

Иван, опасаясь, как бы его не засмеяли крепостные казаки, не часто брал ее на свои работы.

Растолкав все еще спавших служанок, которые ничего не знали о туче пепла, выпавшей над острогом, Козыревский наказал им побыстрее готовить завтрак и, выдернув из стоявшего в коридоре чурбака топор, вышел, сопровождаемый Завиной, на совсем посветлевший двор.

Между тем казаки разыскивали тот самый бочонок с вином, который Анцыферов с Мартианом потеряли в темноте, и прикатали его на площадь перед приказчиц-ей избой. Все они по очереди старались вышибить из него пробку.

— Изыди, треклятая, аки младенец из чрева матери, либо провались вовнутрь, демонова затычка! — прогудел Мартиан.

Над всеми возвышался на целую голову Данила Анцыферов, казак матерый, каких земля не часто родит, горбоносый, с ястребиными очами и могучей бородащей, которая распласталась от плеча до плеча по всей его обширной груди, — казаки иногда шутили, что его бороды хватило бы на три пары валяных сапог.

Заметив Козыревского с топором, Мартиан гаркнул:

— Гляньте, угоднички! Господь услышал наши муки, послал нам святое орудие для сокрушения затычки дьявольской.

Затычка была вышиблена, и, учуяв винный дух, сразу прынувший из бочонка, Мартиан возвел очи горе:

— Она! Благодать господня! Налетай, кто в бога верует!

Воспользовавшись суетой вокруг бочонка, Козыревский с Завиной незамеченными выскользнули из толпы, не забыв прихватить свой топор.

Козыревский так и не вспомнил, что собирался поговорить об утренних подозрениях Завины с Ярыгиным. Всю его зародившуюся было тревогу, казалось, унесло вместе с тучей сажки.

Работу они закончили даже раньше, чем рассчитывал Иван. Когда служанка пришла звать их завтракать, бат уже был готов.

После завтрака они решили попробовать лодку на воде.

Прощание

Острог располагался на северном берегу реки Большой, верстах в тридцати от устья. Крепость стояла на отвесном мысу и со стороны реки была недоступна неприятелю. Палисад из заостренных попереху бревен защищал ее со стороны тундры.

Всего в остроге не насчитывалось и десятка строений. Лишь несколько казаков, подобно Козыревскому, срубили себе избы и решились добровольно осесть на Большой реке. Большинство же постоянно жили в Верхнекамчатском остроге и ожидали подмены. Там, в Верхнекамчатске, лето было намного теплее здешнего, а зима суше, и казаки неохотно отправлялись на годичную службу в Большерецк, где даже и леса-то, годного на постройки, поблизости не было.

Толкая бат шестом вверх по течению реки, Козыревский думает о том, как он удачно купил недостроенную избу у казака, который не вынес сырости западного побережья и переселился в Верхнекамчатск. Козыревскому пришлось сплавлять лес только на стропила да пристройки.

Завина сидит на носу бата и блаженствует. Вон как порозовели у нее щеки от речной свежести, как блестят глаза! На Завине легкая летняя дейша с капюшоном, опущенная мехом морского бобра, и мягкие кожаные штаны, заправленные в красные сапожки, сшитые чулком из лахтачьей шкуры. Она не любит юбок, в которых ноги путаются во время ходьбы, и предпочитает по обычаю камчадалских женщин носить штаны, не стесняющие движений. На шее у нее ожерелье из красных утиных клювов. Выходя из дому, она всегда надевает его. Утиные клювы, по убеждениям камчадалов, приносят счастье.

Козыревский, войдя в азарт движения, все сильнее толкается шестом о дно протоки, и бат, выдолбленный из ствола тополя, легко разрезая встречную воду, несется вперед, узкий, как игла. Благодаря нашитым на борта доскам лодка устойчива на воде. Козыревский

специально нашил эти доски: Завина, как и все камчадалы, не умеет плавать.

Поднявшись вверх по реке версты на четыре от острога, Козыревский разворачивает бат и садится на его дно, вытянув ноги. Теперь они плывут вниз по течению. За все время его пребывания на Камчатке ему, кажется, никогда еще не было так хорошо. Завина жмурит глаза от солнца и улыбается. Словно преисподняя, лежит перед ними окружающий мир, седой и черный от сажи и пепла. Черны деревья и кусты, черны берега. Однако не злые духи обитают здесь. Миром этим правит молоденькая светлолицая женщина с большим веселым ртом и хрупкой фигурой подростка. Подумав так о Завине, Козыревский смеется, и смех Завины перекликается с его смехом. Они хохочут как сумасшедшие.

— Выйдем на берег! — предлагает Завина, и Козыревский причаливает к песчаной косе.

Взявшись за руки, они пробираются сквозь кусты и не спеша выходят на речной косогор, с которого им открывается широкая каменистая тундра, огороженная грядами сопок и пересеченная заросшим ивняком и тальниками ручьем.

Смех замирает у них на губах. Вдали, прижимаясь к гряде сопок, движется в сторону верховий Большой реки длинная цепочка людей. Судя по копьям, которые имеются у всех, это камчадалские воины. Почему они идут словно крадучись, почему обходят казачий острог далеко стороной?

Припав к земле, Козыревский с Завиной долго наблюдают их шествие, в котором чувствуется что-то грозное.

— Ты побудь здесь, а я пройду кустами вдоль ручья поближе к ним, — внезапно принимает решение Иван. — Погляжу, что за воины, чьи они, Карымчины или Кушугины.

Скользнув, словно ящерица, Иван быстро достиг зарослей. Ручей мелок, всего по щиколотку. Козыревский приблизился к воинам на такое расстояние, когда хорошо можно было разглядеть их лица. Затаившись в кустарнике, он следил за ними, пока все они не перешли ручей вброд и не скрылись вдали. Ни одного знакомого лица среди воинов он не разглядел, хотя знал почти всех людей князца низовой реки Большой, толстого, добродушного, плутоглазого Кушуги, а равно и воинов Ка-

рымчи, чьи стойбища раскинулись в верховьях реки. У идущих впереди воинов он хорошо разглядел болтавшиеся на копьях пучки перьев ворона и куропатки, тогда как отличительными знаками родов Кушуги и Карымчи были перья ястреба и кедровки. Чьи же это тогда воины? В окрестностях острога ни один род не носил ни перьев куропатки, ни перьев ворона. Надо спросить у Завины.

Дождавшись, пока последний воин скрылся за сопками, Иван заспешил обратно.

Завина объяснила Козыревскому, что вороново перо — отличительный знак родов, обитающих на реке Кихчик, а перья куропатки носят, вступая на военную тропу, воины с реки Нымты.

Козыревский задумался. Названные Завиной реки текли в Пенжинское (Охотское) море верстах в сорокапятидесяти севернее Большой.

Должно быть, утренняя тревога Завины, вызванная известием, что камчадалы зачастили друг к другу в гости, была далеко не напрасной. В тундре явно что-то замышляется. Вероятно, камчадалы с северных рек решили напасть на камчадалов реки Большой — вражда в этих местах была до прихода казаков постоянной и, видимо, по какой-то причине вспыхнула вновь. Карымча, должно быть, узнал уже, что на него готовится нападение, и предпринимает ответные меры, раз Завина утверждает, что камчадалы Карымчиных и Кушугиных родов наезжают друг к другу в гости.

Козыревский встревожился теперь не на шутку. Если вокруг казачьего укрепления вспыхнет междоусобная война, казакам, дабы прекратить ее, придется волей-неволей принять чью-либо сторону — и тогда прощай мирная жизнь.

Если бы Козыревский мог сейчас, подобно ястребу, парящему над поймой, окинуть взглядом землю с высоты верст на тридцать вокруг, тревога его возросла бы во сто крат. Кроме отряда, случайно замеченного ими невдалеке от острога и державшего путь к стойбищу Карымчи, он увидел бы еще несколько отрядов камчадалских воинов, стягивавшихся к стойбищам выше и ниже острога. Одни из этих отрядов держали путь с севера, другие с юга. По побережью Пенжинского моря шел от курильской Лопатки к Большой реке отряд курильцев, одетых в птичьи кафтаны и рыбы штаны.

По направлению движения этих отрядов можно было бы заключить, что центром, к которому они притягивались словно магнитом, был казачий острог.

Столкнув бат на воду, Иван с Завиной понеслись к крепости, держась на самом стрежне, чтобы течение помогало им в их бешеной гонке по реке.

На берегу возле крепости двое казаков и Семейка Ярыгин стаскивали на воду лодки.

— Куда собрались? — спросил Иван.

— На устье, собирать птичьи яйца! — весело откликнулся Семейка.

— Осторожней держитесь! — предупредил Козыревский. — В тундре вооруженные камчадалы бродят. Как бы не наскочили на вас!

Казаки с полнейшим равнодушием приняли его слова: пусть, дескать, бродят, их дело. А что касается наскока на них, так это и вовсе дело немыслимое. Слыхом не слыхивали, чтоб кто-нибудь из здешних камчадалов захотел пожить за счет казаков.

Зато начальник острога отнесся к словам Козыревского гораздо серьезнее. Иван посвятил его и в содержание утреннего своего разговора с Завиной. Для Дмитрия Ярыгина объяснение Завины, знавшей все здешние обычаи, почему камчадалы разъезжают по гостям, невзирая на то, что начиналось страдное время — уже в реках рунный ход рыбы был на носу, — показалось убедительным. Он обещал удвоить в крепости ночные караулы, а к Карымче тотчас же был отправлен гонец.

— Совсем некстати тундра зашевелилась, — озабоченно попенял Ярыгин Козыревскому, морща сухое, кирпичного цвета лицо. — Годишний ясачный сбор не успел я в Верхнекамчатск отправить. В случае какой заварушки в тундре не успеем доставить ясак к сроку. Хотел нынче же Анцыферова с ясаком из крепости проводить, да, вишь, Иван, беда какая, кроме всего прочего, вышла — эти жеребцы устроили вокруг бочки с вином такую возню, что мой писчик упал и сломал ногу. Кого теперь посылать с Данилой Анцыферовым в Верхнекамчатск — ума не приложу! Тамошний начальник острога, Костыка Киргизов, облапошит моих казаков. Знаю я этого хромоногого беса: увидит, что из моих казаков никто не умеет читать записи в ясачной

книге, и сразу пойдет крутить — не так-де записано, там лисы-де не хватает, а тут — двух соболей.

Искося глянув на Ивана, Ярыгин поерошил квадратную, словно обрубленную бороду, спросил с сомнением в голосе:

— А что, правду говорил Анцыферов или брехал, будто ты грамоте знаешь?

— Грамоте я обучен с малых еще лет, — отозвался Козыревский, стараясь не выдать сразу ударившего в голову волнения. — Да запрещено нас, Козыревских, допускать к бумаге и чернилам.

— А ты из каких же Козыревских будешь, уже не корня ли Федора Козыревского, сына боярского?

— Корня, верно, того самого. Дед мой, Федор, был взят в плен под Смоленском, отправлен на службу на новые Ленские земли и, как шляхтич, пожалован в дети боярские по городу Якутску. Ну мы, понятно, хоть и грамоте обучены, а из-за той отцовской челобитной припуждены теперь в простых казаках служить. Отец, правда, был одно время десятником, здесь уже, на Камчатке, да вскоре погиб от камчадальской стрелы.

Ярыгин озабоченно посопел, пожевал губами и вдруг улыбнулся.

— Слышь-ка, Иван, а может, в воеводской канцелярии уже давно затерялась та бумага с запрещением допускать вас к перу и чернильнице? А не затерялась, так все едино: семь бед — один ответ. Назначаю я тебя своим писчиком на полное жалованье.

Выдав Ивану бумагу на это, заверенную своей подписью, начальник острога предупредил:

— Смотрите там, не торчите в Верхнекамчатске без дела. Я уже наказывал Анцыферову, чтоб вернулись раньше, чем рунный ход рыбы кончится, — не то голодать нам в крепости зимой. Киргизов пусть заменит мне казаков, которым срок службы в Большерецке вышел. Иди собирайся в дорогу да с молоденькой женой своей прощайся. И не забудь прихватить кольчугу, раз в тундре беспокойно. Вот тебе ясачная книга за всеми печатями.

Приняв ясачную книгу, Козыревский удивленно переспросил:

— Прямо сейчас, что ли, отправляться?

— «Что ли, что ли!» — сердито передразнил его начальник острога. — Ему, можно сказать, удача прива-

лила, а он тут рассусоливает. У казаков все к выступлению давно готово. Для писчика тюк с припасами уже упакован. Теперь этот тюк будет твой. Понял?

Кивнув, Козыревский шагнул за порог. Вот тебе и на! В мгновение ока судьба подняла его за шиворот выше кресла крепостной часовни. Ну и Ярыгин! Крут, что кипятик, и решителен до отчаянности. Предписания воеводской канцелярии не убоится!

Как-то воспримет Завина известие о том, что он надолго уходит из крепости?

Завина, едва он переступил порог, кинулась к нему на грудь, прижалась щекой к его кафтану, упрекая его за то, что он так долго засиделся у Ярыгина — обед давно остыл.

Обняв ее за плечи, Козыревский думал о том, что у него не хватит духу сказать ей о предстоящей разлуке. Она всегда впадала в тоску, даже если они расставались на неделю-другую, когда он уходил с казаками на сбор ясака в какое-нибудь из камчадальских стойбищ, и встречала его такой бурной радостью, перемешанной с мольбами не оставлять ее больше одну, что у него при любом расставании сердце разрывалось от любви и горя. Теперь же им предстояла разлука на целых два месяца. Как она тут будет без него с вечными ее страхами, что придет Карымча, заберет ее и снова заставит ухаживать за сворами своих ездовых собак?

Как ни оттягивал Козыревский время перед объяснениями, медленно, слишком медленно хлебая уху из миски, которую поставила перед ним Завина (вкуса ухи он совсем не чувствовал), надо было сказать ей, что пора прощаться. Однако язык не повиновался ему.

Пряча глаза, он встал из-за стола, снял со стены кольцо и, надев ее поверх нижней рубахи, повернулся к столу, за которым, уронив руки на колени, сидела Завина, следя полными отчаяния глазами за его действиями.

— Нет! — жалобно сказала она.

— Да! — подтвердил он. — Ярыгин посылает меня в Верхнекамчатск. Придется тебе побыть это время со служанками.

Он подошел, чтобы обнять ее на дорогу, намереваясь тут же выйти из дому, пока она не опомнилась. Однако она отстранилась и стала настойчиво умолять, чтобы он взял ее с собой.

— Завина! Ну зачем тебе тащиться в такую даль? Казаки засмеют меня, что держусь за бабью юбку.

— Не бросай меня здесь! Я боюсь! — настаивала она. — Если ты меня оставишь одну, мы больше никогда не встретимся. Слышишь?

— Что за чушь? Почему это мы не встретимся?

— Сюда ты больше не вернешься. А если и вернешься — меня не найдешь, — с мрачной уверенностью сказала она.

— Да почему же? Почему?.. — чувствуя, как у него мурашки начинают ползти по спине от этих ее пророчеств, спросил он.

— Камчадалы разорят вашу крепость, перебыют казачков, раз вы не боги, не огненные люди.

— Ну, опять ты за свое!

— Возьми меня с собой! Я соберусь быстро! — Теперь в глазах ее уже стояли слезы.

Она заметалась по избе, пихая в кожаную суму дорожные вещи. Натыкаясь на стол, на стены, точно слепая, она была вся словно в лихорадке.

— Ну, будет! — решительно сказал Козыревский. — Что за глупости!

Поняв, что все напрасно, она выронила суму, без сил опустилась на лавку, словно неживая. Козыревский быстро подошел к ней, поцеловал в волосы, сжал ободряюще ее хрупкие плечи и поспешил выскочить из дому.

Кроме Анцыферова и Козыревского, для сопровождения ясачной соболиной казны были назначены Григорий Шибанов, Харитон Березин и Дюков с Торским. Вместе с ними покидал крепость и архимандрит Мартин. За носильщиков шли двенадцать камчадалов. Все казаки и носильщики были уже в сборе и готовы тронуться в путь.

Козыревского казаки встретили градом насмешек:

— Ба! Иван! Что копался так долго? Иль не мог дверь в собственном доме найти? Так вылезал бы в окно!

— Он, поди, обцеловал там все половички, прощаючись с домишком своим!

— И бревнышки тоже!

— И окошечки!

— А в подпол ты, Иван, не успел, случаем, заглянуть? Гляди, братцы! Краснеет! Стало быть, и в подпол успел заглянуть, стервец!

Казаки захохотали, увидев, что Иван совсем смутился. В ответ Козыревский весело заорал:

— Вы, чучелы! Был ли хмель в той бочке? Иль то сороке приснилось?

— То есть как это не было хмелю? — притворно обиделся Анцыферов, ловя приманку. — Братцы, был хмель?

— Был хмель! — дружно гаркнули казаки.

— Может, и был, да росточком не больше лягушонка! — подлил масла в огонь Козыревский.

— С лягушонка?! — взвился Анцыферов. — Да из того бочонка такой молодец выскочил — десятерым не удержать. Писчику вон ногу сломал, архимандриту Мартиану и Шибанову по синяку под глазом поставил. Еле скрутили того молодца хмеля. Верно я говорю?

— Верно! — подтвердили казаки. — Гудит башка от схватки с тем хмелем. Жаль, тебя, Иван, с нами не было.

— Ну что вы, братцы! Ему ж недосуг с хмелем воевать. Он новую лодочку по реке сегодня прогуливал, уму-разуму ее наставлял. Чать, и к бережку подгонял, и на бережке с ней разговоры разговаривал. Глянь, братцы, снова краснеет, стервец этакий!

Преследователи опять нащупали тропку. Зная, сколь дружно, душа в душу, живут Иван с Завиной, они искренне рады были за товарища. Но таков уж обычай: над молодоженами всегда подшучивают.

Выручил Козыревского Ярыгин. Растирая по привычке застуженную поясницу, он вышел на крыльцо приказчицей избы, и разговор сразу стих.

— Ну, с богом! — сказал начальник острога, махнув носильщикам рукой. — Пора выметаться. В дороге языки почесать успеете.

Носильщики вскинули на спины тюки с пушниной и припасами, казаки подняли на плечи каждый свою кладь и, прощально махая руками остающимся в крепости, потянулись из острога.

Завина бледная вышла на крыльцо своего дома и проводила Козыревского взглядом до крепостных ворот.

На выходе он обернулся и махнул ей рукой. Она заставила себя улыбнуться ему на прощанье, но улыбка получилась вымученная и неживая. Она была все еще во власти дурных предчувствий.

Отряд цепочкой вытянулся из острога, и казакам открылась черная, сплошь покрытая сажей тундра.

Когда отряд отошел уже на версту от крепости, Козыревский оглянулся назад еще раз.

Черные строения на черной тундре показались ему зловещими. Черным был даже крест часовни. Казалось, крепость возведена бесовскими силами из саж и пепла. Стоит подуть ветру — и все постройки развеются прахом, и там, на речном мысу, останется голое место, куча саж.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Манадение

Стойбище Карымчи превратилось в военный лагерь. Десятки костров освещали пойму на левом берегу Большой реки, верстах в двадцати выше казачьего острога. Когда тревожили какой-нибудь костер, подбрасывая в него сушняк, пламя взметывалось искрами, которые уносились в черное, усеянное большими мохнатыми звездами небо. Багряным светом обливались высоко поднятые на столбах балаганы, поставленные так тесно друг к другу, что из одного жилища можно было переходить в другое. Воины сидели на корточках, окружив костры, — каждый род у своего огня. Над их головами торчала щетина копий. На многих воинах были кожаные куяки*, сшитые из толстых лахтачьих ремней. Меж кострами бродили полчища грызущихся длинношерстных собак, на которых воины не обращали внимания. На берегу, под тополями, обсыхали десятки долбленых лодок, пригнанных по приказу Карымчи с верховой и со всех ближайших притоков Большой реки.

Карымча назначил срок сбора в первый день новолуния. Последние отряды с дальних рек подтянулись к стойбищу вождя под вечер этого дня.

В полночь весь лагерь пришел в движение. Воины поднялись и образовали плотный круг возле самого

* Куяк — латы.

большого костра, костра Карымчи, и теперь при свете можно было хорошо разглядеть их лица с узким разрезом глаз и толстыми губами. Волосы мужчин — черные, блестящие — были заплетены в две косицы. В центр круга, к самому костру, шагнул обнаженный до пояса рослый, мускулистый воин. На конце его копья болтался пучок сухой болотной травы.

— Талвал! Талвал! — пронеслось над лагерем.

Имя прославленного воина-силача заставило зрителей затаить дыхание.

Трое воинов, сгибаясь от тяжести, вынесли на круг большой камень в виде двух ядрищ, соединенных перемычкой. Талвал шагнул к камню и, напрягаясь всем телом, вырвал его на уровень груди. Затем последовал толчок, и груз взлетел над головой Талвала, застыл на его вытянутых руках.

Гул одобрения пронесся над лагерем.

Камень увидели кольцом из сухой травы, затем поймали собаку, и Талвал пронзил ее копьем. Кровь жертвенной собаки собрали в деревянную чашу и выплеснули на камень. Вспоенная этой кровью, должна была буйно взойти сила камчадалов, равная тяжести камня.

Потом воины показывали свое искусство — крутили копьё над головой так быстро, что оно как бы исчезало, метали дротики в цель, стреляли из лука. С Талвалом, разумеется, никто не мог сравниться. Однако, к удивлению зрителей и воинов, сын Карымчи, пятнадцатилетний Канач, в стрельбе из лука показал необыкновенную меткость. В тополевый столб, вкопанный в землю довольно далеко от костра и слабо различимый во мраке, вонзилось восемь из десяти посланных подростком стрел, тогда как были воины, чьи стрелы поразили цель не более двух раз. Талвал, не промахнувшийся ни разу, подошел к Каначу, высоко подбросил подростка и, поймав, поставил рядом с собой, обнимая за плечи.

— Ительмены! — громко выкрикнул он. — Вот будет воин, которому я передам свою силу и ловкость!

— Канач! Канач! — словно клич, разнеслось над тундрой.

Успех сына наполнил гордостью и ликованием сердце Карымчи, однако он оставался невозмутимо-спокоен, только в черных щелках глаз вспыхнула острая веселая искра. Несмотря на то что голова вождя уже начала белеть, цвет лица у него был свежий, фигура

крепкая, приземистая и плотная, налитая силой. Любуясь воинскими потехами, он думал о прежней жизни, когда меткое копье и крепкая рука славилась в тундре превыше всего. Если ительменам его рода не хватало женщин либо пленников для тяжелых работ, воины отправлялись на дальние реки и брали их в схватке с чужими родами. Так было всегда, так должно быть и впредь. Огненные пришельцы, нарушившие вековое течение жизни, должны исчезнуть. Пусть радуются миру те, кто слаб. А его воины по-прежнему крепко держат копье и метко бьют из лука. Тундра выставила более четырех сотен копий. Теперь стало точно известно, что пришельцы явились не с верхней земли, что они смертны, что пламя и гром вылетают у них не изо рта, а из железных палок, которые они повсюду таскают за собой и, даже ложась спать, укладывают сбоку на постель, словно своих жен. Только узнав это достоверно, он, Карымча, и решил напасть на них. Сегодня ночью они будут преданы огню и уничтожению вместе со своими железными палками.

Увидев, что с военными играми покончено и воины снова собрались к большому костру, Карымча понял, что настала его минута.

— Ительмены! — Тойон вытолкнул на середину круга, к самому костру, двух камчадалов. — Пусть эти люди расскажут, зачем их послал к нам начальник огненных пришельцев.

Сразу наступила тишина. Притихли воины, прекратились разговоры среди зрителей, даже ребятишки, сидевшие на деревьях и перекликавшиеся себе на потеху разными звериными и птичьими голосами, и те затаили дыхание.

Рассказ начал камчадал постарше — жидкая выщипанная борода, ноги колесом, голова ниже плеч, словно растет из груди. Звали камчадала Кулеча. Этого своего пленника Карымча специально подарил начальнику казачьего острога, чтобы знать обо всем, что происходит в казачьей крепости. Именно Кулече принадлежали самые важные открытия — то, что огненные пришельцы смертны, что дыхание у них обычное, а гром и смерть вылетают из железной палки. И как раз Кулечу еще с одним камчадалом Ярыгин имел несчастье отправить к Карымче с предупреждением о том, что на стойбище князца готовится нападение.

И вот Кулеча начал свой рассказ, в котором, как и всегда у ительменов, жесты дорисовывали так ярко подробности сообщения, что это был и не рассказ вовсе, а живое изображение всех событий.

Вначале Кулеча рубил дрова. Гора поленьев росла так быстро, что все поняли: дрова он рубил железным топором. Чтобы в этом не было сомнений, рассказчик передал голосом звон и свист топора. Рубил он долго, по лицу его струился пот. Зрители тоже успели вспотеть, переживая рубку дров вместе с ним. Потом Кулечу позвали. Он побежал на зов. Кто позвал его, сразу стало ясно. Скользящим движением обеих рук Кулеча изобразил, что человек, к которому его позвали, был одет в кафтан. Круговое движение руки вокруг головы — и зрители увидели папаху на голове этого человека. Затем пальцы рассказчика вылепили квадратную, словно обрубленную бороду Ярыгина, которая была знакома всем камчадалам. Рассказчик схватился рукой за поясницу, прошелся, волоча ноги, по кругу, и зрители, словно живого, увидели начальника казачьего острога, страдавшего болями в пояснице. Перевоплотившись в того, кого он изображал, Кулеча, шлепая толстыми губами, начал сыпать тарабарщину, которая должна была передать речь начальника крепости. Тарабарщина эта так рассмешила зрителей, что от смеха и возни обломилась лестница, ведущая в один из балаганов, и десятка два женщин с детьми, сидевших на ней, рухнули на землю. Падение это было сопровождено хохотом всего лагеря.

Лестницу заменили новой, и Кулеча мог продолжать свой рассказ. То, о чем говорил ему начальник острога, Кулеча также передал действиями с помощью второго камчадала, приземистого круглолицего крепыша. Вдвоем они изобразили воинов, идущих по тундре и озирающих окрестность. По словам начальника острога, воины шли к стойбищу Карымчи с намерением напасть на него. Начальник велел Кулече отправиться на бату вверх по реке, чтобы предупредить Карымчу. Глупость огненного человека, вообразившего, что ительмены собираются воевать друг с другом, снова рассмешила слушателей. Затем Кулеча вместе со вторым камчадалом показали, как они плыли на бату. Они так быстро толкались шестом, что бат несясь против течения словно птица. Это явное преувеличение было встречено востор-

гом зрителей, и Кулеча остался доволен тем, как приняли его рассказ.

— Ительмены! — снова шагнул в круг Карымча. — Вы теперь знаете, что огненные люди не подозревают о нашем нападении. Смерть им!

— Смерть! — откликнулся весь лагерь.

— Подземный властитель Гаеч тоже гневался на огненных людей. Сегодня утром он засыпал их стойбище тучей пепла и сажн, — продолжал Карымча. — Смерть им!

— Смерть! — опять пронеслось над лагерьем.

И в этот момент глухой гул прошел под ногами толпы, тупой толчок сотряс землю. Стойбище сковал ужас. Плач детей и визг женщин, посыпавшихся с лестниц, последовали за секундой молчания. Однако Карымча не дал безумию охватить лагерь.

— Ительмены! — прокричал он, перекрывая вой толпы. — Это Гаеч подает нам знак. Он с нами. Смерть огненным людям!

Испуг на лицах камчадалов сменился ликованием. Новых подземных толчков не последовало.

А Карымча с Талвалом, пользуясь ликованием толпы, уже отдавали приказания воинам загружать баты. Выполняя это приказание, воины стали сносить к реке вязанки сучьев и сухой травы.

Освещая черную реку зажженными факелами, флотилия батов заскользила вниз по течению в полном молчании. На одном из батов по чьей-то неосторожности запылала солома, огонь перекинулся на вязанки сучьев, и бат с людьми превратился в пылающий костер. Воины попытались пристать к берегу, но пламя разгорелось так быстро, что они не успели дотянуть до берега и побросались в воду. Плавать камчадалы не умели, и река стала их могилой. Однако это несчастье не расстроило движения батов. Флотилия с воинами продолжала скользить вниз в полной тишине, раздвигая светом факелов ночную темень.

Карымча, Талвал и Канач находились на переднем бату. Канач держал в вытянутой руке факел, гордясь тем, что весь караван следует за светом его факела. Двое воинов, стоя на носу и корме, с помощью шестов правили лодкой. По правую сторону виднелся обрывистый берег, над которым темными громадами возвышались сопки, по левую сторону поднимались купы дере-

вьев и кустарников, растущих на низких песчаных островах, там и сям разбросанных по реке и деливших ее на множество проток и русел. Вспугнутые светом и плеском воды, с тихих проток, шумно хлопая крыльями, поднимались стаи уток и улетали прочь.

Около двух часов спускалась флотилия без всяких происшествий. Наконец сопки справа отошли прочь от реки, впереди лежала открытая тундра, и последовала команда погасить факелы. Карымча опасался, как бы свет их не разглядели со сторожевой вышки казачьего острога. Теперь камчадалское войско плыло при свете звезд, которые уже начали бледнеть, потому что наступил предутренний час. Именно на этот час было назначено нападение на острог. Прижимаясь к коренному правому берегу, чтобы не налететь в темноте на предательский островок, баты приближались к крепости, хоронясь в береговой тени. К отвесному мысу, на котором стоял острог, флотилия подошла бесшумно.

Талвал, Карымча, Канач, а за ними воины с других батов стали подниматься на берег. Темной лавиной выплеснулись они в тундру и стали ползком окружать крепость, волоча за собой вязанки травы и сучьев, прикрывая рукавами кухлянок горшки с горящими углями. На сторожевой вышке разглядели часового, и самые меткие стрелки натянули луки. Два десятка смазанных лютиковым ядом стрел ушли со свистом и гудом в ночную тьму. Было слышно, как часовой с грохотом выронил пищаль и рухнул на деревянный настил вышки.

Камчадалы обкладывали вязанками хвороста палисад и стены отгораживающих крепость от тундры построек. Когда последняя вязанка была уложена, на солону одновременно со всех сторон крепости стали сыпать горящие угли из горшков. Крепость окуталась густым дымом, затем сквозь дым прорезались огненные языки. Чтобы не попасть под прицел казацких пищалей, камчадалы отбежали в тундру и залегли саженях в ста от острога, прячась за кочками и кустами.

Пламя быстро охватывало стены крепости, перебарывалось на постройке внутри острога. Ярko и как-то сразу вспыхнула соломенная крыша казармы — словно взорвалась, рассыпая снопы искр.

Только теперь в крепости послышались отчаянные крики, и за стены палисада начали выскакивать люди в одном нижнем белье. Кое-кто из них успел все-таки за-

хватить пищали и сабли, хотя о злом умысле никто не думал, решив, что пожар — результат чьего-то неосторожного обращения с огнем. Только тогда, когда на растерянных людей посыпались тучи стрел, стало ясно, что острог подвергся нападению; и казаки стали падать на землю, ища спасения от стрел в рытвинах и за кочками. Большинство осажденных погибло сразу же, едва оказавшись за стенами острога. Камчадалы били без промаха, щадя одних только женщин.

Однако когда Карымча решил, что все уже кончено, и густые толпы камчадалов поднялись из-за кустов, спеша добить раненых, грохнуло несколько казацких пищалей, заряженных крупной свинцовой сечкой, и около десятка воинов забили на земле, а остальные с воем откатились в спасительные кусты.

Воспользовавшись временным замешательством в рядах противника, Ярыгин прокричал всем, кто остался жив, отступать в горящую крепость. За ним успело проскочить в ворота палисада трое казаков. Прикрывая руками трещащие от жара волосы, они вбежали в приказчию избу, стоявшую в центре крепости и не успевшую еще вспыхнуть, и натянули прямо на нижнее белье боевые доспехи. Затем намочили в кадке с водой кафтаны и прикрылись ими. Торопливо разобрали оружие — сабли, несколько пистолей, еще две заряженные пищали, намотали на запястья ремни тяжелых шестоперов — дубинок с ядром на конце, усаженным шипами.

— Затинная пищаль! — прокричал вдруг Ярыгин и ринулся вон из избы.

Теперь их спасение, казалось, зависело от того, удастся ли им проникнуть в казарму, где на козлах была установлена тяжелая пищаль, только вчера заряженная полупудом свинца. Ствол ее смотрел сквозь узкую бойницу в тундру.

На казарме уже с треском рушилась кровля. Однако один из казаков махнул рукой: «Эх, была не была!..» — и кинулся в пламя.

Прошло несколько томительных мгновений, и громовой удар сотряс горящую крепость. Сразу вслед за выстрелом рухнул потолок. «Прощай, товарищ», — подумал Ярыгин и ринулся к выходу из охваченного пламенем острога, увлекая за собой двух других казаков. К удивлению Ярыгина, вокруг острога густыми толпами теснились камчадалы. Выстрел затинной пищали не

произвел на них желаемого впечатления. Вероятно, пищаль взорвалась от жары раньше, чем казак успел направить ее ствол в бойницу, и свинец ушел в потолок казармы.

— К лодкам! — выкрикнул Ярыгин, и казаки, выпалив из ручных пищалей и отбросив их за ненадобностью, стали пробиваться к реке. Вначале, отпугнутые выстрелами, сразившими нескольких воинов, камчадалы отпрянули, но затем с криками дружно навалились на казаков. Увидев, что стрелы отскакивают теперь от казаков, воины пустили в ход копья и чекуши*, метали в грудь огненным прищельцам дротики. Но дротики тоже отскакивали от железных кольчуг, а копья легко перерубались саблями. Стоя спиной к спине, трое последних защитников крепости отступали к берегу, успешно отбиваясь саблями и тяжелыми шестоперами от преследователей. Но на смену погибшим воинам подоспевали новые десятки камчадалов. Талвал с такой силой ударил копьем в грудь одному из казаков, что тот не устоял на ногах. Он не был даже ранен, но подняться не успел: его затоптали, задушили тяжестью тел — живых и мертвых, и двое его товарищей, оттесненные толпой к обрыву, не успели прийти к нему на помощь. Сменив сломавшееся копьё, Талвал намеревался ударить в грудь второго казака. Но в этот момент Ярыгин и его товарищ использовали свой последний шанс — вырвали из-за кушаков пистолы и выстрелили в упор по нападавшей толпе. Свинцовый кругляк вошел Талвалу в переносицу и раздробил на вылете затылок. Великий воин рухнул к ногам Ярыгина.

Воины в ужасе отпрянули прочь. Только сейчас они увидели, сколько камчадалов полегло в схватке с тремя огненными людьми, тогда как им удалось свалить только одного из троих. Может быть, оставшиеся два вообще не знают смерти, и они, ительмены, только зря кладут свои жизни?

Увидев страх на лицах ближних камчадалов, Ярыгин понял, что медлить нельзя. Они сбежали по кромке обрыва к самой воде, столкнули в воду бат и, схватив шесты, оттолкнулись от берега. Крик гнева и бессильной ярости потряс берег. Казалось, они теперь спасены.

Но в этот миг стрела вошла в глаз последнего из

* Чекуша — копьё с костяным вильчатым наконечником.



казаков Ярыгина. Падая, казак опрокинул бат, и Ярыгин полетел в воду вслед за убитым. Он изо всех сил старался выплыть, ухватиться за днище бата, но тяжелые доспехи тянули его вниз, грудь наполнилась ледяной водой, и сознание его стало меркнуть.

По красной воде, освещенной заревом пожара, вслед за батом плыла только малиновая шапка начальника острога.

Канач, сидя над телом убитого Талвала, глядел невидящими глазами на бившееся над крепостью пламя. Грудь его сотрясали слезы гнева и боли. Гибель великого вонна замутила его разум. Ему хотелось кинуться в огонь, чтобы разделить участь погибшего.

Выждав, когда крепость догорела совсем, камчадалы, уже при дневном свете, приступили к раскопкам пожарища. Сабли и ружейные стволы, обгорелые шлемы и кольчуги, котлы, топоры, ножи — вот что было для них бесценной добычей. Железный нож легко можно было обменять, например, на хороший бат, который каменным топориком приходилось долбить по году и больше. Многие из воинов Карымчи стали в этот день обладателями несметных сокровищ.

Обшарили воины и тела убитых казаков. Карымче больше всего хотелось найти в гряде тел Козыревского, которому он вынужден был подарить двух своих самых любимых пленниц, но поиски его были напрасны. Обе служанки Козыревского, которых Карымча снова надеялся привести в свое стойбище, оказались мертвы. Во время боя их достали смазанные лютиковым ядом стрелы, и молодые женщины в мучениях скончались от ран. Зато Завина была жива. Бледная как снег, глядела она округлившимися от страха глазами на приближающегося к ней Карымчу.

— Завина, — сказал он весело. — Мои собачки совсем соскучились без тебя. Бедные песики так похудели, что на них жалко смотреть.

И он засмеялся, сообразив, что придумал совсем неплохую месть для Козыревского. Он снова приставит Завину к собакам.

Завину отвели к реке и посадили в бат Карымчи. «Зачем они были не боги? — в отчаянии думала она о казаках. — Зачем они дали себя убить?»

Когда все воины уселись в лодки, оказалось, что пропал Канач. Его нашли наверху. Он по-прежнему си-

дел над телом Талвала, глядя сумрачными холодными глазами на лицо убитого. Воины хотели увести подростка силой, но Карымча махнул им, чтобы оставили его сына в покое. Для Канача вытащили на берег бат, чтобы он мог вернуться в стойбище, когда захочет. Столь сильная любовь к Талвалу, думал Карымча, должна будет обернуться еще более сильной ненавистью к пришельцам. Пусть в душе его сына прорастут семена гнева. Пусть он побыстрее станет настоящим воином.

Едва баты отошли от острога, как на место битвы слетелось воронье. И там, среди воронья, остался сын Карымчи, его любимый вороненок.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

На пепелище

Семейка Ярыгин гнал бат к устью вслед за батами двух других казаков, Никодима да Кузьмы, мужиков вертких и ершистых, сноровистых в любой работе. Держась все время на стремительном стрежне, который петлял туда-сюда по речным рукавам между островами, лодки выносились то к правому, то к левому берегу, словно ткацкие челноки, снующие по основе. Полоса черного пепла, выпавшего над рекой, вскоре ушла в сторону, и сочная зелень поймы весело играла в солнечном свете. Билась на ветру густая листва ветляников, ивняков и стоящих редкими рощицами на островах топей, каждый лист которых мерцал серебристой изнанкой. На холмах коренного берега шелестели светло-зеленые кроны берез, дальше по всем склонам пологих сопок лежали темные заплаты ползучих кедрачей, над которыми висело легкое голубое небо с редкими цепочками белых облаков.

Как только отошли от крепости, плавание сразу превратилось в сумасшедшую гонку. Бат у Семейки был легче и уже, чем оба идущих впереди, и ему пока удавалось не отставать от взрослых. Промелькнуло в стороне стойбище, где, как успел заметить Семейка, ца-

рило большое оживление — должно быть, камчадалы готовились к каким-то играм.

Острова пошли реже, речные русла слились в одно, широкое и спокойное, и ход батов замедлился. Семейка поравнялся с казаками.

— А ты ловок, хлопчик, — сказал ему Никодим. — Не отстал от нас. Подрастешь — настоящим казаком станешь.

— То батькина хватка у него, — вступил в разговор Кузьма. — У Дмитрия рука что кремень. Не глядит, что простуда его скрючила, целый день на ногах. От цепкого дерева и семя упорное.

— Я, — сказал Семейка, — еще на руках умею ходить. Саженой двадцать пройду — и хоть бы хны! А папаня на руках ходить не умеет.

Казаки рассмеялись.

— Сыны всегда должны батьков переплюнуть, — хитро заметил Никодим. — На том и жизнь стоит. Однако же на руках по малолетству и я хаживал.

— Ладно, — согласился Семейка, — раз так, тогда скажите, какая это птица вон в том кусту голос подает?

Казаки повернули головы в сторону ивового куста, росшего на песчаной косе возле берега, откуда доносилось отчетливое «ку-ку».

— Аль мы кукушку не слыхивали? — снисходительно усмехнулся Кузьма.

— А вот и не кукушка вовсе! — уверенно сказал Семейка. — У кукушки голос глухой и ровный, а у этой птицы — слышите? — в горле будто дребезжит что-то.

Казаки прислушались.

— Верно, — согласился Кузьма, — вроде охрипла кукушка. Простудилась, должно.

— Да не кукушка это, а сорока! — выпалил Семейка.

— Ну, это ты брось! — отмахнулся Никодим, глядя темными недоверчивыми глазами на подростка. — Разыграть нас надумал, а? Признавайся.

— Давайте пристанем и посмотрим, — предложил Семейка, разворачивая бат поперек течения.

— Что ж, посмотрим, — согласились казаки.

Баты ткнулись с шорохом в песчаную отмель, и они выбрались на берег, окружая куст. Когда до куста оста-

валось шагов десять, из него с шумом вылетела сорока и, застрекотав уже на своем заполошном языке, переметнулась в кусты подальше.

— Видели? — спросил Семейка.

— Видели, — озадаченно согласились казаки.

Кузьма поскреб свою сивую бороду и добавил:

— Хлопчик-то прав оказался. Я вроде слышал и раньше от кого-то, будто сорока пересмешничать умеет, да самому подглядеть того не доводилось. Ишь ты, хлопчик-то, оказывается, глазаст да остроух.

Они снова столкнули в воду баты. Семейка, довольный победой в споре, то и дело выносился вперед.

До устья они доплыли часа за два. Почти в самом устье Большая река принимает в себя речушку Озерную, текущую с юга и отделенную от Пенжинского моря только высокой песчаной кошкой. Морские воды, просачиваясь сквозь песок, смешиваются с водами Озерной, и вода в ней солоновата на вкус. Сюда, в эту речушку, и свернули казаки. Правый берег ее был сухой и песчаный, густо заросший высокой беловатой травой, жесткие рубчатые стебли которой и колосья напоминали пшеницу. Из травы этой камчадалки плетут рогожи, употребляемые в зимних юртах и балаганах вместо ковров и занавесей. По левому берегу лежала топкая тундра, полная вымочек и маленьких озер. Там на кочках гнездились утки, чайки, гагары, густо кружившиеся над побережьем. Но настоящее птичье царство открылось казакам, когда они поднялись по реке до ее истока, широкого тихого озера. На озере возвышались два заросшие осокой и кочкарником острова. Когда баты приблизились к первому из них, из травы поднялась такая туча птиц, что потемнело небо над головой.

— Ну, будем с добычей! — весело заметил Кузьма.

— Да, птиц тут нынче вроде еще больше, чем в прошлом году, — согласился Никодим. — Запасемся яйцами на целый год.

Баты шли вдоль низкого, с подтеками ила, берега. Наконец нашли местечко посуше и причалили к острову. Быстро вытащили из батов легкую поклажу и оружие, вытянули лодки на песок. Чайки и утки с сердитыми криками кружились над самой головой. Птичьи гнезда были повсюду. Они располагались так близко друг от друга, что оставалось удивляться, как пернатые отли-

чают свои гнезда от гнезд соседей. В соломе, свитой наподобие опрокинутой папахи, в застеленных пухом углублениях и даже просто на земле, выкатившись из гнезд, лежали тысячи яиц, поблескивая жемчужными скорлупками.

Казаки собирали их в полы кафтанов и сносили к батам. Семейка рвал траву и застилал ею дно бата. Затем он укладывал яйца в ряд от носа почти до самой кормы, оставляя только место для гребца. Поверх первого ряда снова стелил траву, а на нее опять укладывал яйца.

Семейка работал быстро, не разгибая спины, но осторожно, чтобы не побить яйца.

Смахнув со лба пот, застилавший глаза, он кинул взгляд на низкое большое солнце, скатывавшееся за песчаную кошку, отделявшую озеро от моря. И вдруг удивленно выпрямился. Кошка была полна людей в птичьих одеждах. Они поднимались со стороны моря на песчаный гребень и разглядывали их островок. Разглядев в руках у них копыя и чекуши, Семейка крикнул Никодиму с Кузьмой, чтобы обернулись в сторону моря. Оба казака подошли к костру, придерживая груженные полы кафтанов. Посмотрев, куда указывал Семейка, они выронили поклажу и юркнули в траву.

— Хоронись, балда! — прошипел Кузьма, погрозив Семейке кулаком из травы. — Курильские воины.

Поняв, что случилось что-то из ряда вон выходящее, подросток скрылся в траве и пополз к казакам.

— Дурень! — сказал ему Кузьма, когда Семейка устроился рядом. — Не видишь разве, что у этих молодцов на горбу никакой клади нет, кроме оружия? Нетрудно смекнуть, что курильские мужики вышли на лихой промысел. Только б не заметили нас.

— Да разве они осмелятся напасть на нас?

— Когда такая куча мужиков шляется с оружием без дела по тундре, тут не то что нам, казакам, тут самому господу богу надо ховаться поукромней, покуда ему красную юшку из носу не пустили.

— Пальнуть в них из пищали... — начал было Семейка, но Кузьма так свирепо глянул на него, что он прикусил язык.

— «Пальнуть»! — уничтожающе передразнил Семейку казак. — Они тебе так пальнут — кишки потом полверсты собирать будешь. Будь нас человек десять

да кольчуги на плечах — тут мы разговор другой повели бы... Ну пальнем мы раза три, а они тем временем изрешетят нас стрелами.

— Да хватит тебе, Кузьма! — урезонил разошедшегося казака Никодим. — Насел на мальчика ни за что ни про что. Поживет с наше, тогда и спрос с него другой будет. Кажись, не заметили нас, а?

— Дал бы бог, — перекрестился Кузьма. — Может, отсидимся... И куда это они собрались? Уж не к острогу ли нашему дорожку торят?

— Ну, крепость им не по зубам, — уверенно сказал Никодим. — Ярыгин так пуганет их из затинной пищали, что у них мозги быстро на место станут. Они голосок этой боярыни еще не слыхивали.

— А все же надо как-то извернуться, предупредить наших. Бог с ними, с яйцами! Как стемнеет, вытряхнем баты и пойдем налегке в крепость.

— Пожалуй, что так лучше, — согласился Никодим.

Высунувшись из травы, он тут же упал обратно, потерянно выдохнул:

— Ну вот, только этого и не хватало.

— Что там? — вскинулся Кузьма.

— Углядели нас, окаянные. Озеро окружают.

Кузьма, а за ним и Семейка тоже высунулись из травы, да так и замерли. Курильцы впробешку рассыпались вокруг озера. Часть их заняла исток реки, и теперь из озера на батах нельзя было выбраться. Если со стороны кошки до островка, на котором они отсиживались, было по прямой саженой двести и оттуда им не грозила опасность, то со стороны тундры до островка не насчитывалось и ста саженой, и стрела из хорошо натянутого лука вполне могла достать их стоянку. Казаки могли бы еще успеть прыгнуть в бат, достичь берега и метнуться в тундру, пока кольцо окружения не замкнулось вокруг озера. Однако в тундре им пришлось бы еще хуже. Местные жители такие хорошие ходоки и бегуны, что уйти казакам от них не удалось бы, и они сразу отбросили эту возможность, решив отсиживаться на островке, благо у курильцев, кажется, не было лодок, и они не могли пойти на приступ по воде.

— Что же это такое? Война, что ли? Тьфу, тьфу! — крестил сивую бороду Кузьма. — Их тут сотни с полторы, не меньше. Вот ведь напасть какая!

На островок со стороны тундры посыпались стрелы,

и казаки вынуждены были искать укромное место. Небольшой холмик, под защиту которого они переползли, надежно отгородил их от стрел. Для верности они вытряхнули яйца из недогруженного бата, перетащили его к холму и прятались под ним, когда стрелы падали особенно густо. За ружья казаки даже не брались, берегли заряды. Они надеялись, что, поистратив стрелы, курильцы уйдут.

Уже наплывали сумерки, когда казаки разглядели, что к озеру по реке приближается кожаная байдара, полная вооруженных курильцев.

— Ну вот, думали, им к острову не подобраться, — встревожился Никодим, берясь за ружье.

— Подпустим поближе, чтобы бить наверняка, — сказал Кузьма. — Не то, пока перезаряжаем, они успеют на островок выскочить.

Когда байдара была саженьях в двадцати от островка, курильцы прекратили обстрел казаков, опасаясь задеть своих. Казаки воспользовались этим и переползли по траве к тому концу острова, куда правили гребцы. Семейке дали саблю и тяжелый пистоль с длинным стволом. Положив ствол пистоля на кочку, на обеими руками вцепился в его рукоять, чувствуя, как от напряжения немеют пальцы. Стрелять Семейка умел — научил отец, — однако ни в одной стычке с неприятелем он еще не побывал, и от возбуждения его была мелкая дрожь. По рукам и лицу его ползали муравьи — кочка, на которую он положил ствол пистоля, оказалась муравейником, но Семейка стойчески переносил их укусы, боясь неосторожным движением выдать засаду.

На воинах и гребцах были распашные кафтаны, сшитые из гагарьих шкурок, снятых вместе с перьями. Теплая, легкая и прочная, эта одежда славилась у жителей курильской Лопатки. Штаны из рыбьих кож и нерпичьи шапки дополняли их наряд. У воинов были большие окладистые бороды, которые так отличают курильцев от жидкобородых камчадалов. Именно за обильную волосатость казаки прозвали жителей Лопатки «мохнатыми курильцами». В ушах воинов поблескивали серебряные кольца, губы их посередине были выкрашены черной краской. Несколько курильцев оказались без шапок, и казакам были видны их обритые спереди головы. На затылке же волосы, наоборот, были длинны и спадали на плечи. Держа копьё напере-

вес, курильцы готовились выскочить на берег. Семейка насчитал в байдаре двадцать семь человек.

Казаки подпустили байдару сажень на десять, как раз на такое расстояние, когда свинцовая сечка бьет наверняка и хорошо рассеивается.

— Пора! — тихо прошептал Кузьма, и пищали разом грохнули, разорвав мертвую тишину над озером.

Курильцев, сидящих в байдаре, размело словно бурей. Те, кто не был убит сразу, оказались в воде и пошли ко дну. Пробитая свинцом байдара затонула вместе с ранеными и мертвыми, затем всплыла кверху дном.

Стрелы снова густо посыпались на остров.

Казаки, приминая телами осоку, торопливо переползали под защиту бугра. Никодим вскрикнул и перевернулся на бок. Семейка увидел, что в спине его торчит стрела.

— Вот, — удивленно сказал Никодим. — Кажись, убили меня.

Кузьма с Семейкой торопливо подхватили его под мышки и потащили к бугру. Из горла казака хлынула кровь.

— Все, — хрипел он, — кончаюсь.

Казак, захлебываясь, зашелся в кашле и стал синеть. Когда дотащили его до бугра, он уже не дышал.

— Никодим, Никодим! Да что же это такое! — в отчаянии тряс Кузьма друга за плечи. — Ну очнись, очнись, Никодимушка!.. Господи! Как же это так?

Солнце скатилось за песчаную кошку, и землю окутали сумерки. Тихо, на одной ноте, выл Кузьма над телом Никодима. Семейка перезарядил обе пищали и свой пистоль и потерянно мотался с одного конца островка к другому, высматривая, не подплывают ли еще с какой-нибудь стороны курильцы. От Кузьмы не было никакого толку. Горе заслонило для него все остальное.

С наступлением тьмы вокруг всего озера вспыхнули десятки костров. Курильцы не сняли осады, видимо, надеясь взять казаков измором. Семейке было видно, как воины садятся возле костров ужинать. Время от времени кто-нибудь из них вставал и кричал что-то угрожающее в сторону острова. Крик этот подхватывался вокруг всего озера, и у Семейки от страха начинали трястись руки, сжимавшие пищаль.

Медленно тянулось время. От ночного холода каме-

нело лицо и зубы выбивали мелкую дробь. Но разжечь костер было нельзя — их забросали бы стрелами.

Кузьма поднялся на ноги и стал рыть саблей могилу. Семейка принялся помогать ему. За этой работой он согрелся, но зубы его по-прежнему выбивали дробь. Положение их оставалось безвыходным, тьма и страх давили его душу.

Никодима опустили в могилу и долго засыпали влажной землей, стараясь оттянуть время, когда надо будет на что-то решаться.

— Может, попробовать спустить бат? — предложил Семейка. — Прорвемся в тундру.

— Не прорваться, — вяло отозвался Кузьма. — Вон костров сколько запалили. В лодке нас сразу углядят.

— Тогда, может, вплавь?

— Пождем еще.

— Надо выбирать, пока темно, — настаивал Семейка.

— Ясно, что днем не выбраться. Пушай спать улягутся. Устанут стеречь — тогда и попробуем. Все едино другого выхода у нас нет. Приведут завтра еще байдары — тогда конец нам.

Усталость, вызванная перевозбуждением, постепенно давала себя знать. Страх притупился, и как-то сразу Семейке стало все безразлично.

— Лезь под бат. Подремли маленько. Разбужу, как придет время, — предложил Кузьма.

Забравшись под перевернутый бат, Семейка подстелил приготовленной еще днем сухой травы и улегся, падув кожаный мех вместо подушки. Лямки меха он пропустил под мышцы, решив, что с помощью этого меха ему будет легче переплывать озеро. Под батом было теплее, здесь его согревало собственное дыхание, и вскоре он уснул тяжелым, каменным сном.

Сколько длился его сон, он не знал. Ему чудились какие-то толчки, будто под ним ходила и гудела земля, но проснуться не было сил. Только когда Кузьма перевернул над ним бат и с силой стал трясти его за плечи, Семейка открыл глаза.

— Да очнись ты, малец! — причитал над ним какзак. — Вся земля трясется, на море бог знает что творится. Курильцы бегут с кошки. Должно, вода сейчас хлынет на берег.

Вскочив на ноги, Семейка помог стащить бат на во-

ду. Покидав оружие в лодку, они оттолкнулись от берега и, налегая на шесты, поплыли прочь от острова к тундре. Кожаный мех, болтавшийся у Семейки за спиной, мешал ему грести, но он не снял его, словно предчувствуя беду.

Низкий, сотрясающий сушу рев неся с моря, нарастая с каждой минутой. Курильские воины в панике метались по кошке, с криками налетали друг на друга, падали, ничего не соображая. Сторожевых у костров словно ветром сдуло — они бежали прочь от берега, ища спасения в сопках.

Вал морской воды, поднявшись сажень на двадцать, обрушился на кошку, погасил костры, смыв тех, кто не успел убежать, и, перелившись в озеро, затопил островок, на котором еще минуту назад сидели казаки. Вода настигла бат, когда Кузьма с Семейкой готовились выпрыгнуть из него на казавшийся им спасительным тундровый берег. И хотя волна, разбившись о кошку, потеряла половину силы, все-таки она еще достигала сажень восьми. Черная стена воды обрушилась на лодку, вышвырнув из нее людей, и понеслась дальше на сушу, затопляя низкую тундру. Семейку подняло на гребень волны и потащило в клокочущей круговерти в ночную темень. Он наглотался воды и думал только об одном, как бы не соскочили лямки меха, державшего его на поверхности. Волна выбросила Семейку у подножия пологой сопки, в версте от берега, и, шумя, унеслась обратно в море. Дрожа от холода и выплевывая воду, он побрел на негнущихся ногах вверх по склону сопки, опасаясь, что новая волна настигнет его внизу. Однако волны не вторгались уже так далеко на сушу. Семейка снял одежду и отжал воду. Одевшись, он стал бегать по сопке, чтобы согреться.

Когда наступил рассвет, глазам его открылась полузатопленная тундра, где под илом покоились тела курильских воинов. Никто из них не успел добежать до сопки. Где-то там, внизу, остался лежать и Кузьма. Семейка спустился с сопки и долго бродил по тундре, отыскивая тело казака. Но поиски были напрасны.

В этих поисках Семейка неожиданно наткнулся на свой бат и решил стащить его к реке. Надо было возвращаться в крепость. Он долго выгребал из бата ил. Над ним с жалобными криками носились чайки, потерявшие в эту ночь свои гнезда. Семейка долго тащил

свою лодку к воде. По дороге он разыскал бамбуковый шест, принесенный морем неведомо из какой дали, и кинул его в бат. Он уже дотащил лодку до берега Большой реки и готовился спустить ее на воду, когда простая мысль остановила его. Если не только курильцы, но и камчадалы решили бунтовать против казаков, тогда Семейку перехватят возле первого же камчадалского стойбища. Идти пешком в острог тоже было нельзя по той простой причине, что ему не удалось бы переправиться через притоки Большой реки, которые чем ближе к горам, тем бешеней становились. Только теперь до Семейки дошла вся отчаянность его положения.

Глядя на мутные, несущиеся мимо воды реки, он долго сидел на берегу, не зная, на что решиться. Он вспоминал, как плыл вчера утром вслед за Никодимом и Кузьмой на своем бату и как ему тогда было весело и просто. Добравшись в своих воспоминаниях до сороки, которая кричала кукушечьим голосом, но все-таки оставалась сорокой, потому что перьев ей не сменить, Семейка взволнованно вскочил на ноги. Сороке перьев не сменить, но ведь он-то может сменить одежду. Вернувшись в тундру, он снял птичий кафтан с одного из курильских воинов, настигнутых вчера морским валом. Затем отыскал и лахтачью шапку. Липкую от ила чужую одежду он прополоскал в воде и повесил на куст сушиться, благо солнце уже начинало пригревать.

Затем Семейка решил поискать оружие и погнал бат к озеру. Обогнув островок, на котором они вчера собирали яйца и который теперь был на несколько вершков покрыт грязью, Семейка причалил к низкому берегу озера в том месте, где на них с Кузьмой вчера обрушилась стена воды и перевернула бат. Он почти сразу наткнулся на торчащую из ила ложу пищали. Заряд в ней, разумеется, подмок, но зато к ее ремню были привязаны мешочек со свинцом и костяной рог с порохом, рог был хорошо заткнут пробкой. Ни пистоля, ни другой пищали найти не удалось. Где-то под слоем ила остались лежать и казацкие сабли. Но Семейка был доволен и единственной находкой. Тут же перезарядив пищаль, он почувствовал себя сильным и уверенным.

Семейка оттолкнулся шестом от берега и поплыл прочь от злополучного озера. Добравшись до куста, на котором сушилась курильская одежда, он вытащил бат на песок.

Переодевшись, он решил здесь больше не задерживаться. Солнце и так стояло уже высоко, и если он хотел добраться до крепости засветло, то ему следовало поспешить. Пусть он голоден и совершенно измучен, но помощи ему ждать неоткуда.

Толкаясь шестом о берег, он ходко погнал бат, стоя на его корме. Время от времени ему все же приходилось высаживаться на берег — руки отказывались держать шест. Отдохнув, он снова становился на корму бата. Когда впереди показывались островерхие балаганы какого-либо камчадальского стойбища, он отгонял лодку к противоположному берегу и быстро проносился мимо. Однажды его окликнули с берега, но он не отозвался и продолжал гнать бат, словно не слышал чужого голоса.

Когда позади осталось уже больше половины пути, он неожиданно разглядел целую флотилию камчадалских батов. Юркнув в протоку, Семейка вытащил бат на остров, заросший ветлой и тальником.

Мимо островка прошло до полусотни лодок, полных камчадалскими воинами. Семейку сразу насторожили ряды поднятых частоколом чекуш и копий, свидетельствовавших о том, что воины возвращались из набега.

Разглядев кое у кого из них пищали и сабли, которые камчадалы показывали друг другу, Семейка обмер. Неужели камчадалам удалось разорить казачий острог?

Выждав, пока лодки проплыли мимо и скрылись вдаль, Семейка столкнул бат в воду и что было сил заработал шестом. Шест теперь доставал дно, надобность держаться все время возле берега отпала. Выбирая тихие протоки, где течение не сбивало скорости, он плыл теперь безостановочно. Страх за отца, за всех казаков, оставшихся в крепости, словно толкал его в спину.

К мысу, на котором стоял острог, он доплыл уже в сумерках. Берег был пуст. Ни стен, ни креста часовни, ни сторожевой вышки — ничего не осталось на мысу, словно укрепление слизнул ураган. Над берегом кружилось воронье.

У Семейки упало сердце. Пристав к берегу, он выскочил на мыс, и его глазам открылась картина, от которой у него подкосились ноги. Груды черных головешек и тела убитых казаков — вот все, что осталось от крепости.

— Папаня! Папаня!.. — звал Семейка в ужасе.

Ответом ему было только скрежещущее карканье ворон, безбоязненно и остервенело рвущих добычу. Семейка завыл в голос, разыскивая среди убитых отца, кидая в ворон головнями.

Резкий толчок в спину свалил его на землю. Над ним стоял Канач.

— Ты чего дерешься! — озлобленно закричал Семейка. — Не видишь, у меня папаню убили!

Лишь мгновением позже он сообразил, что бывший его товарищ по играм, вместе с которым они излазили все окрестности, теперь ему враг и что он не просто дерется, но хочет убить его, как камчадалы убили казаков. Сообразив это, он не дал Каначу подмять себя и, вскочив на ноги, приготовился к обороне.

Они сцепились над телами убитых, падая и снова поднимаясь. Ярость и горе вначале помогали Семейке отражать наскоки врага. Но постепенно он стал сдавать. Канач был на год старше и сильнее его. Сбив еще раз Семейку с ног, он придавил ему грудь коленом и вцепился руками в горло. От удушья у Семейки перед глазами завертелись огненные круги. Увидев, что враг перестал сопротивляться, Канач разжал пальцы. Видимо, старая дружба пересилила в нем ненависть.

— Будешь моим пленником! — зло сказал он подростку.

Семейке ничего не оставалось, как согласиться.

Канач выпустил его и, отойдя к телу Талвала, думал: «Куда переселяются души великих воинов?» Одни говорят, что на верхнюю землю к Дустехтичу, другие утверждают, будто в подземный мир, которым правит Гаеч. Талвал был его другом. Теперь душа его следит за поступками Канача. Не слишком ли великий грех он совершил, оставив жизнь врагу? Видимо, он не стал еще настоящим воином, чье сердце не знает жалости.

Заметив, что Семейка все ходит среди убитых, разглядывая их лица, Канач понял, кого тот ищет.

— Не ищи, — сказал он, — твой отец убил моего друга великого воина Талвала. А потом утонул. Его тело на дне реки.

Узнав, что Семейка был на устье во время нападения камчадалов на крепость и что приплыл он на бату, Канач велел ему спуститься к реке и ждать. Скоро они отплывут. Теперь ему придется жить в роду Карымчи.

— А меня не убьют ваши воины? — спросил Семей-

ка, вспомнив вдруг, что на дне его бата лежит заряженная пищаль.

— Ты мой пленник. Кроме меня, никто не посмеет коснуться тебя.

В самом деле, решил Семейка, если Канач не убил его сразу, то потом и подавно не захочет лишать жизни. Канач все-таки сын князца, слово его много значит. Если Семейка доберется до пищали и разрядит ее в Канача, то куда ему потом идти? До Верхнекамчатска он не помнит дороги.

Спустившись к реке, он вытащил из бата пищаль с боеприпасами к ней и, завернув в птичий кафтан, спрятал в кустах.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ



Дорога от Большерецка до Верхнекамчатска так вымотала Козыревского и всех остальных казаков, что к концу пути, как утверждал Анцыферов, на костях у них не осталось и по фунту паршивого мяса. Беды их начались с того, что на третий день сбежали носильщики. Казаки перетаскивали часть клади версты на две, оставляли сторожить кого-нибудь и возвращались за остальным грузом. Путь, который даже в худшем случае не занял бы и трех недель, растянулся вдвое. Когда достигли истока Быстрой, текущей из болот, Анцыферов вынужден был дать казакам трехдневный отдых. Затем около недели тащились по болотам и наконец достигли истока реки Камчатки. Здесь Анцыферов решился на отчаянный шаг. Казаки связали из захудалого сушняка плоты и вдвое суток плыли водой, бешено выгребая прочь от водоворотов и опасных коряг. Когда на левом берегу показалась деревянная четырехугольная крепость и два десятка домов посада — Верхнекамчатск! — казаков покинули последние силы. Причаливать плоты помогали вышедшие навстречу на лодках верхнекамчатские служилые.

Козыревский был удивлен, что ни один из братьев, ни Михаил, ни Петр, не вышли встречать его. Однако у него не было даже сил спросить, в крепости ли они.

Добравшись до избы братьев, он махнул рукой взбужденным его появлением служанкам, чтобы оставили его в покое, рухнул в горнице, не раздеваясь, на топчан и проспал больше суток.

Когда он открыл глаза, стоял солнечный, веселый день. Возле топчана на табурете сидел, дожидаясь его пробуждения, брат Петр, такой же, как и сам Иван, широколобый, тонконосый, с длинными льняными волосами, спадающими на плечи и перехваченными на лбу ремешком. В отличие от жилистого, худого Ивана, Петр был плечист, приземист, борода росла у него пышнее и лежала на груди ворохом кудели. Глаза, светло-карие и небольшие — отцовские, — сидели глубоко по сторонам переносья, тогда как Иван унаследовал голубые материнские глаза, прикрытые тяжелыми, широкими веками.

Увидев, что Иван проснулся, Петр сдержанно прогудел:

— Ну, здрав будь, брат, обнимемся.

Иван поднялся с топчана, и братья обнялись, хлопывая друг друга по спине. Заметив, что Петр держится словно деревянный, Иван отступил на шаг, удивленно спросил:

— Да что с тобой, брат, иль не рад ты мне?

— Рад, Иван, рад, что хоть тебя вижу в добром здоровье, — невесело улыбнулся Петр.

— Почему «хоть тебя»? Что, разве Михаил заболел?

— Эх, если бы заболел!.. — тяжело, словно кузнечный мех, вздохнул Петр. — Горе у нас. Одни мы с тобой остались...

— Как одни?..

— Убили Михаила.

— Где? Когда? — похолодел Иван.

— На реке Аваче... С месяц еще тому назад двое сборщиков ясака в крепость прибежали... С ними Михаил ходил, да не вернулся... Пятерых казаков тамошние камчадалы да коряки побили.

— Как же так? — потерянно спрашивал Иван. — Ведь тихо же было на всех реках Камчатского носа.

— Да какое там тихо! Может, это у вас на Большой реке тихо, а авачинские коряки и камчадалы уже с год как от дачи ясака и аманатов уклонялись. А на них гля-

дючи, и все камчадалы побережья Бобрового моря начали непокорство чинить.

Иван, бессильно опустившись на топчан, тихо, беззвучно плакал. Михаила, после отца, он любил как никого другого.

— Пойдем-ка за стол, помянем брата, — тихо сказал Петр. — С дороги ты, как я погляжу, оголодал — кожа да кости на тебе остались.

Стол оказался далеко не скуден для голодного времени. Клубни сараны, ягоды, пучки черемши — дикого чеснока, житные лепешки и отваренный целиком гусь — вот что мог Петр предложить Ивану. Посредине стола возвышался маленький пузатый бочонок с вином, которое казаки камчатских острогов научились сидеть из сладкой травы и ягод года три назад. К обеденному столу вышла крепкотелая, пригожая камчадалка, медлительная в движениях. На руках она держала годовалого ребенка. Одета женщина была в полотняную чистую малицу.

— Вот, — кивнул Петр в ее сторону, — пока тебя не было, успел я женой и дитятей обзавестись. Женку зову Марией, а мальчика решил наречь Иваном, в твою честь. Да вот беда, не венчаны мы еще с ней, ни она, ни дитя не крещены, живем вроде с ней по-басурмански — Мартиан-то у вас в Большерецке больше года проторчал, вот и некому было свершить христианские обряды.

Мария сидела тихо за столом, в разговор мужчин не вмешивалась. Петр не предложил ей вина, и, пообедав, она ушла внутрь дома кормить ребенка.

Оставшись одни, братья продолжали разговор, делаясь накопившимися новостями. Узнав, что Иван тоже взял жену и обзавелся домом в Большерецке, Петр оживился и принялся расспрашивать о Завине.

Причину его оживления нетрудно было понять. Изба Козыревских теперь целиком оставалась за старшим братом.

Выпытав, что Иван с Завиной живут дружно и любят друг друга, Петр, не петляя, сразу поставил все на свои места:

— Стало быть, так, Иван. Теперь ты живешь своим домом. И делить нам нечего. Что в Большерецке, то твое, а что тут — все мое.

Ивана покорило, что брат завел разговор о дележе в тот же день, как сообщил ему о смерти брата. При

этом Петр не предложил ему хотя бы для видимости часть имущества.

— Как же так, брат, — удивленно спросил он, — иль не вместе мы добро наживали с тех пор, как еще отец был жив? У нас в кладовых сороков двадцать одних соболей. Да лисы, да бобры морские. Это ж общее теперь наше с тобой богатство. Ужель всю мягкую рухлядь себе одному оставишь?

— Как хочешь, Иван, — поджал губы Петр, — а только все себе оставлю. У меня годовалый парень, да Марья вторым ходит. Слуг в доме пятеро, всех кормить надо. У вас же с Завиной детишек нет. Река Большая сободем богата. Молодые вы оба, наживете добра, не обессудь.

Поняв, что Петр намерен крепко стоять на своем, Иван решил махнуть рукой на весь этот спор о дележе. Выпитое вино размягчило его. Они с Завиной и так счастливы, стоит ли ему ссориться с Петром из-за какой-то рухляди? Петр, сколько он помнил, всегда был жадноват.

Некоторое время братья просидели за столом молча, кидая друг на друга взгляды исподлобья. Увидев, что Петр начинает смущенно багроветь от этого затягивающегося молчания, Иван усмехнулся.

— Ладно, — сказал он, — пусть все твое будет. Может, тебе и вправду наше барахло нужнее. Выпьем-ка еще по одной.

Братья выпили еще раз. Теперь Петр чувствовал себя свободнее, стал сыпать весело прибаутками, припомнил общие их с Иваном детские шалости, и это совсем примирило Ивана с Петром.

Братья выпили по третьей. Потом Иван выбежал в сени, куда еще с вечера были доставлены две его пузатые сумы с имуществом, и вернулся со связкой соболей.

— На! — кинул он соболей на колени Петру. — Брат к брату без подарков не ездит.

Великодушие Ивана совсем смутило Петра. Поняв этот подарок как невысказанный упрек за обиду брату, он снова начал багроветь.

— Не возьму, — трудно, со свистом выдохнул он. — Эх, будь она неладна, жадность человеческая!.. Выделю... Выделю я тебе...

— Да будет тебе, будет! — оборвал его Иван. — С имуществом уже решено. Тебе оно и в самом деле

нужнее. А подарок прими, не то и в самом деле обижусь... Я теперь при Анцыферове не в простых казаках, а писчиком. Будет у меня в самом деле прибыль.

— Как? — опешил Петр. — А предписание воеводской канцелярии, чтоб письма нам, Козыревским, не казаться?

— Я говорил об этом Ярыгину. Да тут как раз большецкий писчик ногу сломал, и деваться приказчику было некуда.

— Ну, если и впрямь так, тогда повезло тебе крепко. Будь здоров, писчик! — поднял Петр деревянную чару с вином.

— Эх, дослужиться бы хоть до десятника, — размечтался Иван, — да получить под свое начало отряд казаков.

— Знамо дело, не худо бы так-то было, — поддержал Петр. — Быть начальником отряда сборщиков ясака куда как прибыльно!

— Да я совсем не об этом думаю. Был бы я десятником — подал бы якутскому воеводе челобитную, чтоб отпустил он меня новые земли искать на море. Слышал ли ты, будто на полдень от Камчатского носа в море земля как будто есть, и земля эта будто бы так далеко на юг и на восток в море подалась, что там совсем благодатные теплые края?

— Может, и вправду есть в море земля обширная, — согласился Петр. — Сколь на восток казаки ни идут, все новые земли открываются. От одного казака достоверно слышал я, что против устья реки Караги земля виднеется, горы великие. А далеко ль та земля в море простирается — никому не ведомо. Атласов тоже на полдень от земли мохнатых курильцев как бы остров в море видел. Чую, что полно еще земель в море-океане, только некому те земли искать было. На Камчатке службу нести — и то казаков не хватает. А слухи про новые земли везде ходят.

— Слухи! — торжествующе сказал вдруг Иван. — А я доподлинно знаю, что в море земля есть. Говорил я прошлым летом, — понизил вдруг Иван голос до шепота, — с одним стариком из мохнатых курильцев. Он точно показывал мне на полдень и на восход и говорил, что земля там большая есть, восточная либо северная. Этанни каменных городов, ни огненного боя не имеет. Ту землю легко будет привести под государеву руку.

— Может, оно и так, только за малым дело стало, — усмехнулся наивности брата Петр. — Уж кого-кого, а тебя-то воевода посылать на проводывание той земли не захочет, стань ты хоть и впрямь казацким десятником.

— Это почему же?

— Да хотя бы потому, что дать в лапу воеводе у тебя пока что нечего. Кого начальниками острогов воевода назначает? Тех, кто может отвалить ему рублей триста, а то и все шестьсот. Да и чин десятника ты мог бы купить за такие деньги.

— И Атласов не был из богатеев, а его воевода и в пятидесятники назначил, и Камчатку проводывать отпустил.

— Ну, с Атласовым тебе тягаться не по силам. Он и до Камчатки дошел с казаками по особенной своей отчаянности, потому как шел так: либо голова на плаху, либо новую соболиную реку откроет. Такое везенье казакам бывает одному из тысячи... Атласов — он еще и до твоей северной земли доберется, пока ты будешь только вздыхать о ней.

— Как так доберется? За тот разбой на Тунгуске сидеть ему, бедняге, в тюрьме теперь до скончания века.

— Господи! — рассмеялся вдруг Петр. — Ты же ведь и впрямь еще не знаешь... Атласов второй уж месяц как на Камчатке. С целой сотней казаков он заявился. Назначен начальником всех здешних острогов.

— Вот это хорошо! — обрадовался Иван. — Раз целую сотню казаков он с собой привел, — значит, собирается новые земли искать. Не со своим отрядом, так хоть с ним пойду!

— Боюсь, не очень-то ты запросишься в его команду, — с сомнением покачал головой Петр. — Не тот он теперь человек. Занесся — не подступись! Казаки, с которыми он из Якутска шел, уж кровавыми слезами от него наплакались.

— Да что ты городишь, Петр! Атласов не какой-нибудь спесивый дворянин, свой брат казак.

— Был свой, да весь вышел. Как что не по нему — сразу плеть в ход пускает. Должно, тюрьма так озлобила его. Не только своих казаков, с которыми пришел на Камчатку, но и всех здешних служилых успел восстановить против себя. Привез он казакам камчатских остро-

гов жалованье за много лет, да не отдает. И так, говорит, живете на Камчатке богато. Не то что жалованье отдать, грозится амбары у здешних казаков поглядеть. — При последних словах Петр заметно скис и задумался.

Ивану было понятно, о чем он думает. При сдаче упромышленных или полученных от камчадалов соборей государева казна выплачивала казакам денег в два-три раза меньше, чем торговые люди. У многих камчатских служилых скопилось порядочно пушнины, которую они не спешили сдать приказчикам, надеясь вывезти ее тем или иным способом в Якутск, где немало было торговых людей, шнырявших в поисках как раз такой утаенной пушнины. В случае удачи можно было сразу разбогатеть, на что, как было известно Ивану, и рассчитывал Петр.

Дальнейший разговор братьев тек вяло. Петр то и дело поглядывал на дверь, словно ожидал кого-то. Оказалось, он ждет появления Мартиана, у которого успел побывать еще утром с просьбой, чтоб тот пришел окрестить Марию с ребенком, обвенчать Петра с Марией и заодно прочесть молитву по погибшему Михаилу.

— Черт! — не выдержал наконец Петр. — И где этот долгополый запропастился? Поди, уж и на ногах не стоит — все стараются зазвать его в первый же день. Крестин да свадеб в Верхнекамчатске на месяц хватит. Сунул я ему целых два рубля и обещал угостить хорошенько. Да, видно, продешевил я. Другие больше дали.

Однако Петр ругал архимандрита зря. Мартиан вскоре явился. Был он уже изрядно пьян, мрачен и взволнован. На лбу его вздулся синяк. Сердито кинув на стол кадило, он сразу потянулся к чарке. Поднимая чару, облил вином бороду и рясу на груди — у него дрожали руки.

— Что стряслось, отец? — спросил Петр.

— Гордыня обуяла человека! Дьяволу душа его отверзлась! — яростно заорал Мартиан, грохнув по столу кулаком. Брови его сошлись к переносью, стальные глаза налились тьмой. — Не голова он казакам, а волк, пес смердящий!

Выяснилось, что Мартиан побывал у Атласова. Поздравил с благополучным прибытием на Камчатку, дал свое благословение. Голова угостил его чаркой вина, потом они разговорились даже как будто по душам и вы-

пили еще несколько чарок. Увидев, что Атласов с ним ласков, Мартиан попенял ему за то, что ведет он себя с казаками не по-божески; Атласов посоветовал ему не совать нос не в свои дела, но Мартиан уже разошелся и посоветовал выплатить казакам жалованье. Расстались они, по словам Мартиана, более чем холодно. Выходя от Атласова, архимандрит споткнулся и набил себе на лбу шишку. По тому, как Мартиан покраснел, давая это объяснение, можно было догадаться, что шишку на лбу он набил не сам себе.

Закусив гусиным крылышком, архимандрит раздул кадило и прочитал молитву об отпущении грехов убитому. Вслед за тем позвали Марию с ребенком, и Мартиан приступил к обряду крещения. Зачерпнув корцом воды из кадки и перекрестив корец, он побрызгал этой водой на лоб женщины и на младенца. Имена новокрещеных он записал в книгу, которую всегда носил при себе — в особом кожаном чехле на поясе.

Обряд венчания был так же краток. Мартиану предстояло побывать сегодня еще в нескольких домах. Выпив с Козыревскими последнюю чару сразу за всех — за поминовение усопшего, за новокрещеных и за новобрачных, — он тут же ушел.

Петра такая поспешность нисколько не обидела. Пусть краток обряд, зато все у него теперь справлено по закону, по христианскому обычаю.

Едва за Мартианом захлопнулась дверь, как в избу ввалились пятеро казаков во главе с Анцыферовым — все попутчики Ивана по походу.

Нетрудно было заметить, что они успели изрядно уже угоститься хмелем. Однако, войдя в горницу, казаки повели себя смирно, памятуя о том, что в избе Козыревских горе.

— Отлежался? — спросил Анцыферов Ивана.

— Да вот, почитаю, сутки проспал.

— Я и сам недавно встал... Прослышали мы, что брата вашего, Михаила, камчадалы убили. Вот и решили зайти, помянуть покойника. Казак был добрый.

— Проходите, проходите, гости дорогие, — стал приглашать Петр казаков к столу. — У нас тут не только поминки, но и крестины, и свадьба — все скопом.

Казаки сразу загалдели, дружно рассаживаясь за столом. Иван спустился с Петром в подпол, и они подняли в горницу трехведерный бочонок с вином. Появле-

ние бочонка было встречено общим одобрительным гулом.

Деревянные чары дружно взлетели над столом. Постепенно разговор перешел на общие казацкие дела. Казаки уже слышали, что Атласов привез из Якутска их жалованье, но запамятовал выдать его служилым, и теперь возмущение выплеснулось наружу.

Анцыферов понизил голос:

— Тут вроде все свои?

— Все свои! — поспешно отозвался Петр, поняв, что Анцыферов сомневается в нем.

— Что ж, раз тут все свои, так давайте думу думать, как быть.

— Осторожных казаков надо пощупать, чем дышат, — предложил Шибанов. — А потом уж и решать.

— Да кто же из осторожных казаков не хочет получить свое законное жалованье? — поспешил вставить Петр, которого невысказанное недоверие Анцыферова, должно быть, сильно задело.

— Атласов собирается днями отправлять большую партию служилых на Бобровое море, на реку Авачу, чтоб тамошних камчадалов и коряков привести в покорство, — проговорил Матвей Дюков, прижмуривая правый глаз, словно целясь из пистоля. — Думаю я, что с партией этой многие из ближнего окружения головы уйдут. Нам лучше всего потребовать отчета у Атласова, когда партия выступит из крепости.

— На том и порешим, — подытожил Анцыферов. — Соберемся у тебя, Петр, еще раз, как только партия выступит из острога. Ты как, Петр, не против, что мы соберемся у тебя в доме?

Иван опять почувствовал, что Анцыферов спрашивает брата с некоторым сомнением в голосе, словно ожидая отказа.

— Я что ж... Мне не жалко, — отозвался Петр, но тут же хитро заметил: — Это ведь не только моя изба. Тут и Иван хозяин.

— Ну, Иван, я думаю, не будет против? — подмигнул Анцыферов Козыревскому.

— Я что, раз брат дозволяет — то и мне придется согласиться, — разгадав маневр Данилы, свалил Иван ответственность на Петра.

Петр поежился и стал молча наливать вино в чарки.

После пира

Партия служилых ушла на реку Авачу, однако Анцыферов, познакомившись с Атласовым поближе, решил пока ничего не предпринимать против него. Казалось, Атласов разгадал все их замыслы, словно сам присутствовал на пиру. Ни один из верных ему казаков и казачьих десятников не выступил из острога.

На следующий день после этого Атласов потребовал большеецких казаков для сдачи ясака. Сумы с пушной были доставлены к приказчицкой избе.

Голова, нахохлившись, сидел на высоком крыльце в окружении нескольких вооруженных казаков. У Атласова было сухое цыганское лицо крупной лепки, с густой светло-русой бородой и ястребиными, словно дремлющими глазами, в которых тлела искра настороженности. Задубелые, жилистые кулаки он держал на коленях, словно старик крестьянин, отходивший свое за плугом. Хотя от роду ему было немногим за сорок, однако тюрьма заметно состарила его лицо. И все-таки от его костлявой широкогрудой фигуры веяло крепостью дуба, устоявшего против всех бурь. Плечи его обтягивал алый кафтан тонкого сукна, за голубым шелковым кушаком торчала пара пистолей с серебряной насечкой по рукояти.

Вопреки опасениям Ивана отчитались они с Анцыферовым удачно. Атласов равнодушно скользил взглядом по мерцающему меху соболей, по лоснящемуся ворсу лисиц — крестовок и огневок — казалось, он не ясак принимал, а вышел подремать на крыльце.

Махнув рукой, чтобы ясачную казну унесли в амбар, он устремил на Анцыферова свои сонные глаза и спросил скучным голосом:

— А что это Ярыгин сам с казной не явился? Почему это он тебя, десятник, прислал?

— У Ярыгина поясница простужена, — объяснил спокойно Анцыферов. — Ноги у него с той хвори отнимаются.

— Ноги — это худо. Если ноги отнимаются, то какой

с человека ходок, — согласился Атласов. — Слава богу, казак, успокоил ты меня. А то ведь я что подумал? Я ведь подумал, что Ярыгин острог в мое подчинение приводить не хочет и вместо себя прислал лазутчиков.

— Да какие же мы лазутчики? — развел Анцыферов руками. — Шутки ты, Владимир, шутишь. Велено нам сдать казну и смену для казаков просить, у которых семьи тут, в Верхнекамчатске.

— А чего ж это Ярыгин не отпустил с вами тех, кому срок службы вышел?

— Да в остроге всего двадцать казаков осталось. Вдруг камчадалы зашевелиятся? И опять же рыбу на зиму готовить надо. Как приведем мы смену, тех казаков Ярыгин отпустит.

— Ну, положим, рыбу вам и камчадалы наготовят, — возразил Атласов. — Иль они откажутся?

— Может, и не откажутся, да им ведь и себе юколу запастись надо. Оторвем мы их от дела — они обиду затаят, острог подпалят.

— То верно, — снова согласился Атласов, и по губам его скользнула усмешка. — Значит, бережете крепость, государеву пользу блюдете. За то вам спасибо от меня и от государя. Царь-то, принимаячи меня, о службе тутошней справлялся, величал казаков своей надежей в Сибири. Обещался жаловать вас и впредь за верную службу.

— На том государю спасибо, — земно поклонился Анцыферов, а за ним и Козыревский, и другие казаки.

Как видно, Атласов решил сам подбить казаков на разговор о жалованье. Однако все сделали вид, будто не поняли намека.

— Ну что же, казаки, товарищи мои верные, — опять непонятно чему усмехнулся Атласов, и от этой его усмешки у Ивана заледенело под ложечкой, — казну вы сдали. Путь, знаю, был нелегкий. Теперь отдохните в крепости, сил наберитесь.

И он махнул им рукой, давая понять, что разговор окончен.

— А когда же нам в Большерецк возвращаться? — спросил Анцыферов. — Ведь Ярыгин ждаты нас будет.

— Идите, идите. Отдыхайте себе.

Дав такой ответ казакам, Атласов остался сидеть на крыльце, словно нахохлившийся в дремоте беркут. Иван испытал облегчение, когда голова отпустил их. Он чув-

ствовал, что с человеком этим шутки плохи. Создавалось впечатление, что Атласов с умыслом задерживает их в Верхнекамчатске, решив присмотреться к ним повнимательнее.

Между тем Атласов, глядя в спину удаляющимся казакам, старался унять гнев, кипевший в нем во время разговора с Анцыферовым и его людьми. И эти против него. На их лицах он успел прочесть плохо скрытую неприязнь. Хвосты они поджали, когда он дал им понять, кто тут хозяин положения, но видно, что это люди из тех, кто готов в любой миг рвануть из ножен саблю и рубиться, даже если против них встанет вдсятеро большая сила. Что ж, то добрые казаки, когда они в крепких руках. И он будет держать их крепко в узде. То, что было с ним на Тунгуске, не повторится никогда. Ту сотню казаков, которую он привел из Якутска на Камчатку, удалось вышколить еще во время дороги. Правда, иногда он хватал через край, пуская в ход кнут и батоги за малейшую провинность. Одного из служилых он затоптал сапогами чуть не до смерти и едва опомнился — в нем легко стала вспыхивать дикая ярость: тюремная озлобленность еще не выветрилась в нем. Даже милого друга Щипицына, который был теперь в его отряде простым казаком, он ударил однажды рукоятью сабли так, что тот лишился трех зубов, — Щипицын распускал язык, болтая много лишнего про их совместное тюремное сидение.

Теперь очередь за гарнизонами здешних острогов. Приструнил своих — приструнит и этих! Уж ему-то хорошо известно, что чем дальше зимовье или острог от Якутска, тем больше там своевольтва. Поэтому, отправляясь на Камчатку, он добился, чтобы Траурнихт вписал в данную ему перед отправкой наказную память право подвергать казаков любому наказанию, вплоть до смертной казни.

Здешние казаки недовольны тем, что он задерживает им выплату жалованья, но пусть они и не рассчитывают получить его до тех пор, пока он не увидит, что служба их приносит толк. Седьмой год уж сидят казаки на камчадалской земле, а до сих пор больше половины иноземческих стойбищ не объясачено. На некоторых реках Камчатского носа казаки вообще не бывали ни разу, торчат больше по острогам.

В тот день, когда Траурнихт сообщил Атласову, что

государь велел выпустить его из тюрьмы, он сумел вытянуть из воеводы кое-что и о причинах этой милости.

Война со шведами по-прежнему развивалась для государевых войск малоуспешно. На формирование все новых и новых полков, на создание мощной артиллерии и грозного флота Петру требовалось все больше денег. Государь создал целое ведомство, которое занималось измышлением все новых и новых налогов. Однако по-прежнему одной из главнейших статей дохода оставался пушной ясак, собираемый с лесных племен необозримой Сибири. Узнав, что поступление пушнины в Сибирский приказ продолжает падать, Петр освирепел, наговорил судье приказа Виниусу немало грозных слов и, будучи цепок памятью, вспомнил о Камчатке, о казаке, который привез весть о приведении под государеву руку богатой соболем новой земли. «Где тот казак? Где те соболи? С кого спустить шкуру?» — вопрошал Петр старого верного служаку Виниуса, занося над ним тяжелую трость. Виниус порядком струхнул и стал объяснять, что казак учинил разбой и потому сидит теперь в тюрьме. Узнав, в чем заключался разбой, государь решил, что купец, у которого казаки разбили дощаник, с того убытку не разорится, тогда как его, государя, казне от суда над тем казаком чистый урон, а посему надлежит Атласова выпустить, дабы вину свою избывал не бесполезным для государя сидением в тюрьме, но высылкой с Камчатки такого числа соболей, какое добыть великим радением можно. А если число соболей с Камчатки не станет расти, тогда велеть того Атласова повесить за старый разбой.

Бунт коряков и камчадалов на Аваче помешал Атласову сразу разослать отряды сборщиков ясака по многим рекам. Но после подавления этого бунта — на Авачу отправлено семьдесят человек, и они управятся с бунтовщиками быстро — он заставит казаков как следует размять обленившиеся ноги. По всем рекам двинутся отряды, в ясачные книги будут занесены сотни и сотни плательщиков, и соболиные сборы увеличатся вдвое, втрое.

Камчатка — это его земля! Он пролил здесь свою кровь, она, эта земля, отобрала у него друга Потапа Серюкова. Он заставит эту землю покориться ему до конца. А там — очередь за другими землями, за теми, которые лежат в море неподалеку от Камчатского носа. Он

пройдет теми землями до границ Узакинского — или, иначе, Японского — царства, ибо он чувствует, что начинает новую жизнь и в новой этой жизни добудет еще себе почестей и славы.

Солнечный, благодатный июль наливал грузным соком растительность в окрестностях Верхнекамчатска, листва на тополях, черемухе и старых ивах словно заплывала зеленым жиром, травы клонились от собственной тяжести, а царь камчатских трав, медвежий корень, поднялся к этой поре так высоко, что до макушки его в пору было дотянуться только копьем.

Пользуясь выпавшим на его долю по прихоти Атласова бездельем, Иван Козыревский целыми днями бродил в окрестностях острога, среди зарослей шиповника и шеломайника, жимолости и голубики. Он лакомился медовыми ягодами княженики, которая была по величине и цвету похожа на морошку, а по вкусу не уступала землянике, голова его кружилась от терпких запахов земли, зелени и зреющих ягод, все тело его, казалось, было налито солнцем и светом — и он был бы вполне счастлив, если бы не смутная тревога, точившая, словно дурной червь, его душу.

Откуда шла эта тревога, он не понимал и сам. Предчувствие неведомой беды сгущалось над его головой; и когда однажды во сне увидел он Завину, тянущую к нему из пламени руки и исходящую криком, поверилось ему на миг, что с Завиной что-то произошло. И хотя разум подсказывал ему, что ничего плохого произойти с нею не могло — стены Большерецка надежно укрывали ее от всех опасностей, и Ярыгин вступится за нее, если ее кто-то попытается обидеть, — однако после этого сна тревога совсем измучила его.

Петр, заметив беспокойство брата, однажды позвал его поохотиться на гусей.

Отправляясь на промысел, Петр не взял с собой ничего, кроме неизвестно чем набитой котомки да суммы с едой.

— А ружье? — напомнил Иван. — Хоть здешняя дичь и непугана, однако палкой ее с берега не убьешь. Или мы будем гоняться за гусями на лодке?

— Обойдемся и без ружей, и без лодки, — загадочно ответил Петр, чему-то улыбаясь.

Выйдя на заросший корявыми, развесистыми ивами берег Камчатки, они столкнули на воду бат Петра, пересекли стремительный стрежень и направили лодку в устье речушки Кали, впадающей в Камчатку напротив острога. По берегам речушки теснились могучие тополя — из их необхватных стволов были возведены все постройки в Верхнекамчатске. Кроны тополей почти смыкались над водой. В подлеске между колоннами стволов уживались рябина и жимолость, на песчаных наносах росли кусты смородины, спелые гроздья которой свисали прямо над водой.

Петр, толкаясь шестом, быстро гнал бат вверх по течению, а Иван, сидя на носу, старался поймать смородиновые гроздья и кидал ягоды в рот.

Поднявшись по реке на версту от устья, Петр причалил к берегу у подножья подступивших к долине справа и слева сопок. Здесь братья поднялись на берег, и Петр повел Ивана прочь от реки. Вскоре на южном склоне сопки Иван разглядел отгороженный плетнем от леса лоскут земли и сразу вспомнил:

— Наше жито!

— Нынче мы с братом опять засеяли наш клинышек, — сказал Петр. — Взошло густо, сейчас увидишь. Без хлебушка-то больно тоскливо.

Облокотясь на плетень, они долго любовались своим полем. Жито уже наливалось, густо выставив копыща колосьев. То, что здесь, на далекой окраине ледяных сибирских просторов, созревал хлеб, казалось Ивану чудом. Уж на что цепкое существо человек, да только и он с трудом приживался на этой земле. Не дивно разве, что слабое зерно, уцепившись корешками за дикую землю, погнало вверх, к солнцу, трубчатый стебель и вот грозит уже копыщем колоса стеснившейся вокруг поля тайге, и покоренная земля поит всеми своими соками новое дитя, не считая его чуждым подкидышем. У Ивана вдруг сразу стало спокойнее на душе. Казалось, от созревающего поля исходила целительная сила. Два мира сошлись здесь, переплетаясь корнями, и зашумели рядом, объединенные общей для всего живого жаждой жизни и плодоношения.

Иван был благодарен Петру, что тот привел его сюда. Он вспоминал, как они с отцом и братьями раскорчевывали тайгу, боясь, что в открытой ветрам долине зерно не приметя, а здесь, под защитой леса, на солнцепе-

ке, хлеб, может быть, и созреет, как очищали клин от камней, вспахивали и рыхлили землю, разбрасывали из торбы с трудом сбереженные семена, упрямо надеясь, что они взойдут, как спустя некоторое время ходили сюда да любоваться зелеными, — и горло у него перехватило от волнения.

— Другие как? — спросил он. — Не сеют?

— Да роздал я весной фунтов десять зерна, — отозвался Петр, не отрывая жадных глаз от поля. — Кое-кто не поленился землю копнуть. Казаков не больно-то к хлебопашеству тянет, не за тем шли сюда. Каждый набивает сумы мягкой рухлядью да норовит поскорее с Камчатки выбраться. Ну что? Поглядели — дальше пойдем?

Они вернулись к реке, и Петр опять погнал бат вверх по течению. Плыли долго, поочередно меняясь у шеста, пока речушка не превратилась в совсем крошечный ручей. Здесь сопки раздвинулись, и они оказались в широкой котловине, по дну которой были раскиданы блюдца озер, заросших по берегам камышом и осокой. Озера кишели дичью.

Петр вытирал бат на берег и вытер тыльной стороной ладони обильный пот на лбу.

— Пошли! — коротко скомандовал он.

Иван тронулся за ним, полной грудью вдыхая вечернюю прохладу, налитую запахами цветущих трав и земляной сыростью. Если бы не комары, тучей висевшие над головой, нещадно жалившие лицо и руки, вечер был бы совсем хорош.

Уже в сумерках достигли они берега нужного озера, и Иван слышал скрипучие трубы невидимых гусей, галдевших где-то за стеной высокого, в рост человека, камыша и столь же буйной осоки.

Петр привел Ивана к длинному, крытому травой шалашу с навешенными у обоих выходов дверьми, сплетенными из лозняка.

— Твой? — спросил Иван.

— Мой, — подтвердил Петр.

— А двое дверей к чему?

— Там узнаешь. Перекусить пора.

Они сели на сухую колоду, брошенную у шалаша, и развязали суму со снедью, навалились на отварную рыбу с диким чесноком, именуемым по-местному черемшой.

Между тем небо совсем потемнело, и дорожка от ме-

сяца на озере стала ярче, тяжелее. Казалось, там, на ленивых мелких волнах, блещут серебряные слитки, выпавшие в воду из опрокинутой лодки с сокровищами. Голоса гусей на озере зазвучали глуше и ленивее. Чувствовалось, что они готовятся ко сну, отяжелев от усталости и сытости. У гусей настала пора линьки, и можно было не опасаться, что они улетят на ночлег на другое озеро.

Выждав, когда месяц спрятался за тучи и над озером легла сплошная темень, Петр развязал котомку и протянул Ивану что-то белое.

— Надень поверх кафтана.

Иван ощутил в руке суровую ткань.

— Что это?

— Да я стащил у моей жинки пару ночных рубах, — рассмеялся Петр. — Хватится — намылит мне шею.

— Сдурел ты, что ли? Не буду я напяливать бабью одежду.

— Надевай, так надо. И не ори. Гуси уплывут от берега.

Петр почти силой натянул на Ивана рубаху, и они стали спускаться к озеру.

— Сейчас мы гусям покажемся и обратно подниматься наверх будем, — шепотом заговорил Петр. — Ты держись все время за мной и не суетись, не делай резких движений, чтоб гусей не испугать. Они пойдут за нами как миленькие.

Отводя руками мокрый от росы камыш и осоку, Иван пробирался вслед за Петром к воде. Вот под ногами захлюпало, и он разглядел черную гладь озера, а совсем близко от берега белыми пятнами выделялись гуси. Встревоженные шумом в камышах, они загалдели и поплыли прочь. Но едва Петр вышел к самой воде, как гуси снова потянулись к берегу. Подождав, когда они подплыли совсем близко, Петр повернулся спиной к озеру и полез обратно на берег. Шел он медленно, слегка присев и переваливаясь, словно старый гусак. Иван, дыша ему в затылок, старался повторять все движения брата. А сзади за ними покорно тащились гуси.

Петр повернул к шалашу и скрылся в нем, оставив двери открытыми. В шалаше было совсем темно. Иван, следуя за братом, нагнул голову, чтобы не стукнуться о навес. Пройдя шалаш насквозь и выпустив из него Ивана, Петр закрыл дверь на деревянный засов и дождался, пока все гуси не зашли в шалаш. Затем он перебежал ко

входу и закрыл на засов вторую дверь. Гуси встревоженно загалдели, захлопали крыльями в ловушке.

— Чудеса! — развел руками Иван. — Обалдели они, что ли?

— Глупая птица, — согласился Петр. — Они нас за гусаков приняли. Снимай рубаху. Сейчас крутить головы гусям будем.

В шалаше оказалось четырнадцать гусей. Нагрузившись добычей, братья заспешили к оставленному у ручья бату. В темноте сместились все окружающие предметы, и они долго кружили по котловине, проваливаясь в мочажины и спотыкаясь, пока не отыскивали ручей. Лодка была на месте. Бросив тушки гусей на ее дно, поплыли по черной, отблескивавшей в свете месяца воде.

Обратный путь по течению занял немного времени, и они вернулись в острог еще до полуночи. Крепость, к их удивлению, еще не спала. Почти во всех избах горел свет.

Едва переступив порог дома, они услышали в горнице шум мужских голосов. Толкнув туда дверь, Иван увидел за столом всех большерецких казаков. Мрачные, перекошенные от ярости лица их не предвещали ничего хорошего. У Дюкова с Торским глаза были красны, усы промокли от слез. Сердце у Ивана сразу упало.

— Что случилось? — с трудом выдавил он.

Анцыферов бросил на него растерянный взгляд и тут же отвел глаза. За столом сразу наступила тишина. И от этой тишины у Ивана голова пошла кругом. Стены горницы, словно в бреду, уродливо раздулись и стали разбегаться прочь, потом стремительно сошлись, грозя раздавить сидящих за столом.

— Да говорите же! — закричал Иван, уже понимая, что его ждет удар.

— Большерецк спалили! — визгливо, не своим голосом выкрикнул Шибанов, вцепившись пятерней в трясущуюся бороду.

Иван бессильно опустил на лавку.

— Как спалили? — спрашивал Петр. — А казаки куда смотрели?

— Всех побили, — отвечал кто-то. — Никто живым не ушел.

Вопросы и ответы звучали для Ивана из далекого далека, с невысказанной высоты и, падая оттуда камнем, били прямо в сердце.

— А Завина? Где Завина?..

Никто не отвечал ему. Глядя в коптящее пламя площадки, ставшее вдруг ослепительным до рези в глазах, он все не хотел верить своему несчастью и упрямо, тупо повторял:

— А Завина? Где Завина?..

И молчание казаков снова и снова подтверждало, что нет у него Завины, нет у него дома, нет ничего... Есть только это режущее глаза пламя, разраставшееся в огромный пожар. И там, в этом огне, метались люди, там исходила криком, сгорая заживо, его Завина...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Прест

Возвращение партии служилых с Авачи совпало с открытием ярмарки в остроге. Поход на авачинских камчадалов и коряков был удачен, казаки взяли с них ясак и привели много пленников и пленниц из непокорных стойбищ.

У восточной крепостной стены, напротив часовни, на вытоптанной до земли площади, несколько прибывших на Камчатку вместе с Атласовым торговых и промышленных людей разложили свои товары по широким, заранее сколоченным столам. Торговали в основном мелочью: серебряными безделушками, иголками, позументом, цветными лентами, пронизью и бисером. Эти товары пользовались большим спросом у коряков и камчадалов, тогда как сами казаки покупали их мало. Но были здесь и дельные товары: усольские ножи, огнива, топоры, пестрядь, холст, дешевые цветные сукна, листовой табак, бухарские шелковые и бумажные платки, пряжа для сетей, выделанные кожи, жестяная и медная посуда.

Денег почти ни у кого из казаков не было, а у камчадалов и подавно. Торговля шла меновая. Промышленные охотно отдавали свои товары за соболей и лис.

День стоял сухой и жаркий. На ярмарочной площади, поднятая сотнями ног, кружилась пыль, оседая на разноцветных праздничных кафтанах казаков, на расшитых

бисером и цветной шерстью кухлянок камчадалов, на малицах женщин и рубашонках носившихся между столов с товарами ребятишек. От шума голосов, от веселой перебранки, ругани, споров, от топота разлетевшихся в плясе каблуков и песен подгулявших казаков у Ивана кружилась голова.

Петр выкатил на базар восемь бочонков вина и попросил Ивана помочь в торговле. Вино разбирали — успевай наливать! Жена Петра, Мария, уже несколько раз уносила пушнину в амбар, а к бочонкам все тянулись служилые и камчадалы.

— Налетай! Хорошо вино, ядреное суслецо! — весело выкрикивал Петр. — Как ударит хмель — так башка с петель!

Неожиданно возле часовенки, где Мартиан совершал обряд крещения приведенных с Авачи пленников и пленниц, раздался такой шум и вой, что возле столов с товарами покупателей как ветром сдуло. Толпа, толкаясь и вопя, кинулась к часовне поглядеть, что там происходит.

Петр не решился оставить свои бочонки, зато Иван поспешил за всеми. Пришлось крепко поработать локтями, прежде чем ему удалось пробиться в передние ряды, стеснившиеся возле часовни.

В центре образованного толпой круга, возле ступенек паперти, шла потасовка. Десятка два казаков, подбавривая себя криками, сплелись в тесный клубок. Взлетающие кулаки, залитые кровью лица, разодранные кафтаны — все говорило о том, что драка нешуточная.

— Антихристы! Сатанинское семя! — кричал с паперти Мартиан, вращая налитыми кровью глазами. — Прокляну! Всех прокляну!..

Но его мощный бас тонул в реве толпы.

Из разговоров соседей Иван уяснил причину ссоры. Всею виной оказалась окрещенная Степанидой камчадалка редкой красоты, приведенная в острог Данилой Беляевым, саженым, медвежьей хватки казаком. Он сразу после крещения намеревался обвенчаться с ней. Но оказавшийся возле часовни Атласов велел отвести Степаниду в свой дом. Красота камчадалки, должно быть, так поразила его, что он на глазах у всего честного люда совершил святотатство, силой вырвав новокрещенную из-под венца. Беляев, разумеется, решил не уступать свою добычу, и вспыхнула ссора.

Сочувствие толпы было на стороне Беляева, однако ввязываться в потасовку казаки не спешили. Беляев, известно, башка отчаянная. Ясно, что Атласов после драки постарается поумерить его пыл плетью. У многих, как и у Ивана, чесались кулаки, но все чего-то выжидали, стараясь лишь время от времени изловчиться подставить незаметно ногу кому-нибудь из атласовских дружков.

Иван по подсказке соседей вскоре разыскал глазами и камчадалку, из-за которой разгорелась драка. В разодранной малице, с обнаженными смуглыми плечами, упав на колени, она жалась на ступеньках паперти к ногам Мартиана, видя в нем единственного своего защитника. У новокрещенки были удивительно длинные и пышные волосы, иссиня-черные, как у всех камчадалок. Они струились по ее плечам, по гибкой талии и бедрам, окутывали босые поги и стекали дальше вниз по ступенькам. Ивану никогда не приходилось встречать столь длинных волос. Но еще больше его удивило лицо Степаниды. Страстное и дерзкое, несмотря на испуг, с полными яркими губами, оно поражало сочетанием младенческой свежести и зрелой женственности, исходящей от широких коричневых глаз и густых, приподнятых к вискам бровей. Была в этом лице певедомая дикая прелесть, от которой останавливается дыхание. Ивану стало понятно, почему Беляев кинулся на самого Атласова.

Вначале казалось, что верх все-таки возьмет партия Беляева. Слишком много злости накопело у казаков против Атласова, и они бились отчаянно и озверело, подбадриваемые криками толпы. Алый кафтан висел на Атласове клочьями, борода была залита кровью. Жилый и костистый, в драке он был верток и смел, однако, должно быть, сознание собственной неправоты заставляло его дружков отступать, а вместе с ними пятился и сам голова, красный от гнева, от сознания предстоящего позора бегства.

Но тут сквозь толпу пробилось к паперти еще человек восемь казаков из ближайшего окружения головы. Должно быть, кто-то сообщил им, что Атласова бьют возле часовни, и они успели вооружиться кистенями. Врезавшись в свалку, они быстро склонили чашу весов в пользу Атласова.

Возмущенные крики из толпы о том, что бой нечест-

ный, привели и совсем уж к неожиданному результату: Атласов вырвал из-за кушака пистоли и навел на толпу. Его дружки выхватили из ножен сабли. По выражению их обезумевших от ярости лиц было видно, что они не замедлят пустить в ход оружие по первому слову головы, и толпа, затравленно ворча, стала расходиться. Избитого, окровавленного Беляева увели под руки домой.

Атласов шагнул к паперти, оттолкнул плечом трясущегося от ярости Мартиана и рывком поднял на ноги Степаниду. Камчадалка покорно пошла за ним. Ивана поразило, что новокрещенка, едва почувствовав руку головы, как будто сразу успокоилась. Страх сменился на ее лице любопытством, и она безбоязненно озиралась вокруг.

Атласов, подведя ее к столу купца, торговавшего бухарскими шелками, велел ей выбирать все, что она захочет. Степанида выбрала несколько ярких платков и сразу устремилась к столу с бусами и серебряными безделушками. Этого добра она набрала полный подол. Атласов, угрюмо и в то же время удовлетворенно усмехаясь в бороду, уплатил за все, что она пожелала взять.

Едва Атласов, сопровождаемый своей партией, покинул ярмарку, уведя в приказчиью избу Степаниду, как в толпе разгорелись страсти.

— Разбой, настоящий разбой! — согласно гудели со всех сторон голоса. — Средь бела дня увел чужую женку...

— Власть он.

— Власть! Да мы вместе с ним в Якутске без порток ходили. Я не власть, а он — нате! — уже во власти выскочил.

— С чего ж ты потек прочь от часовни, хвост поджавши?

— Да за тобой и потек. Как показал ты спину, так, вижу, лопатки у тебя от страху торчат и трясутся. Тут и меня затрясло.

— Ты мои лопатки не трожь. Не то так свистну в ухо — оглохнешь. За мной не заржавеет.

— Будет, будет, петухи! Не хватает еще, чтоб мы сами между собой передрались.

К столу Козыревских пробились большерецкие казаки. Анцыферов был мрачнее тучи.

— Как сдержался, не влез в драку, сам не знаю, —

прогудел он. — Жалко Беляева... Сегодня опять соберемся у тебя, Петр. Дозволишь?

— Ох, не знаю, Данила... — сокрушенно покачал головой Петр. — Мальчишка у меня заболел. Криком кричит. Лучше собраться у кого другого.

— Ну, коли так, соберемся у Семена Ломаева. Приходите к нему вечером.

Иван согласно кивнул головой, а Петр отошел к бочонку нацедить вина кому-то из питух. Как только казаки скрылись в толпе, Иван спросил:

— Чего это ты наплел на своего мальчишку? Когда он успел заболеть?

— Тише ты, дурень! — зашипел на него Петр. — Никому не известно, как дело повернется. Против Атласова слаба кишка у вас. Можешь идти в сговор к Анцыферову, если башки не жалко. А меня не впутывайте в ваши дела.

— На попятный, стало быть?.. И жалованья своего не жалко?

— А вот мое жалованье, — показал Петр на бочонки. — С одной нынешней распродажи выйдет больше, чем государь на год мне жалует. Против Атласова переть — себе дорожке станет. Пошумел я было вместе с вами сгоряча, да вовремя опомнился.

Мартиан в этот день позора и унижения веры топил горе в вине, к вечеру сделался пьян до посиненья и бродил в толпе с налитыми яростью и безумием глазами, бормоча проклятья, от которых у казаков мурашки ползли по спине.

— Иуда сребролюбия ради к дьяволу попал... Проклят будь, Иуда!.. Адам сластолюбия ради из рая изгнан бысть и пять тыщ пятьсот лет в кипящую смолу погружен... Проклят будь, сластолюбец!.. И сам дьявол на небе был, да свержен высокомерия ради!.. Проклят будь, дьявол! Проклят будь, пес! Изблует тебя господь из уст своих, аки грязь, аки сатану, смердящего серой!..

Рыжая борода архимандрита слиплась от вина и слез, зубы стучали по-волчьи, взгляд его горящих глаз был непереносим, и люди испуганно отшатывались, уступая ему дорогу. Иван отвел его в каморку при часовне и уложил на топчан. Мартиан продолжал всхлипывать и во сне. Потрясенный дух его, казалось, и в забытьи не мог найти успокоения.

После ужина, когда Иван собирался к Семену Ло-

маеву, в дом Козыревских без стука вошли пятеро атласовских казаков и велели сдать оружие.

— С чего такая немилость на нас? — испуганно зашептал Петр, предлагая казакам выпить.

— Не на вас одних, — пояснил старший из казаков, принимая ковш с вином. — По приказу головы забираем оружие у всех служилых. Вернем, когда страсти поостынут.

Петр сразу успокоился. Казалось, такой оборот событий его даже обрадовал. Когда за казаками закрылась дверь, он с ехидцей глянул на Ивана:

— Ну вот и отвоевались. Говорил же я тебе, что Атласова вам не скрутить. Вы еще сговориться между собой не успели, а он уже обезоружил вас.

— Поглядим, что будет завтра, — отозвался Иван, надевая шапку. — Может, Атласов у безоружных служилых начнет амбары чистить. И до твоего амбара доберется.

— Скажешь тоже! — без особой уверенности возразил Петр. — Тюрьмы он, чать, не забыл. В случае чего в Якутск челобитную пошлем...

Конец его речи Иван уже не слышал. Выйдя за дверь, он заспешил к дому Ломаева. Однако спешил он зря. Никого из казаков в избе Ломаева он не застал. Ломаев, казак небольшого роста, вислоусый и сухой, как кузнечик, сделал вид, что и слухом не слыхивал ни о каком уговоре с Анцыферовым. Иван не настаивал на своих словах. Он понял, что Ломаев, как и все в остроге, страшится завтрашнего дня. Что предпримет Атласов, разоружив казаков?

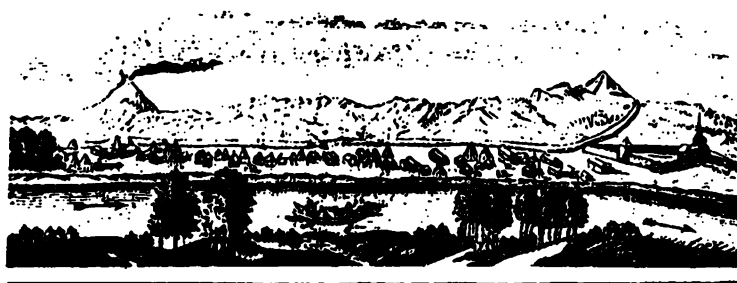
На другой день торговля на ярмарке шла вяло. О вчерашнем происшествии никто и словом не обмолвился — опасались длинных ушей. Около полудня на ярмарке появился Атласов со всем своим окружением. Медленно обходил он столы, изредка покупая что-нибудь. У Петра он выпил ковш вина, вино похвалил.

— Правда ль, хлеб у тебя родится? — неожиданно спросил он.

— Правда, — подтвердил Петр. — Прошлой осенью шесть пудов жита снял! Нынче побольше ожидаю.

— Добро. Я и государю говорил, что на Камчатке хлеб родиться может. Урожай твой в радость мне. Как спиmeshь жито, пудика три на мою долю выделишь.

— Выделю, — вздохнул Петр.



— А вздыхать нечего. Ужель вы все скопом своего голову не прокормите? Небось за вино дюже собольков урвал?

— Да какое там! — заприбеднялся Петр. — Платил кое-кто соболями, да попорченные они.

— Зайду как-нибудь взглянуть, так ли они попорчены, — насмешливо пообещал Атласов, отходя от стола.

Петр с бессильной яростью глядел ему в спину.

— Ну как? — спросил Иван. — Дождался?

— Помолчи-ка лучше, пророк! — озлился Петр. — Спишь, а не торгуешь. Переливаешь всем подряд.

Неожиданно навстречу Атласову вышел Беляев. Все лицо у казака было в кровоподтеках, нос и губы опухли — страшно взглянуть.

— Эй, люди! — закричал он. — Прячь товары! Вор идет!

— Это где ж это вор? — заоглядывался Атласов, недобро усмехаясь. — Покажи ты мне, Беляй, этого вора — я с него семь шкур спущу.

— А прямо передо мной вор и стоит! — сказал Беляев, с ненавистью глядя в глаза своему недругу.

— Да, тут, кроме меня, никого и нет, — продолжал скоморошничать Атласов. — Уж не я ли этот вор? Ну-ка скажи, Беляй, не меня ль ты вором обзываешь? Я прямо весь трясусь от страха.

— Да не трясись, Атлас. Это не про тебя. Это я про того, кто украл казачье жалованье, — сдерживая ярость, столь же насмешливо заговорил служилый. — На тебе вроде и шапка не горит. Аль, может, от подкладки горячо? Волосы-то не трещат? Дай я тебе водички плесну, чтоб мозги не обварились!

Насмешки Атласов не вынес. Услышав, как по ярмарке покатился смех, он побледнел и, выхватив из ножен саблю, обрушил ее сплеча на голову Беляева.

Звонящая, до рези в ушах, тишина сковала толпу. Тело Беляева тяжело рухнуло на землю, и вокруг его головы поплыла лужа крови.

Белыми, слепыми глазами обвел Атласов толпу.

— Ну, кто еще назовет меня вором?

Тишина продолжала давить толпу. Атласов со свистом бросил саблю в ножны и покинул ярмарку.

Когда Беляева унесли, Иван поспешил разыскать Анцыферова. Найти его в толпе было нетрудно, он воз-

вышался над всеми на целую голову. Отведя десятника в сторону, Иван зашептал:

— Все! Теперь от Атласова все его дружки откачнутся. Воевода не простит ему убийства. Однако до Якутска далеко. Когда еще слух об убийстве дойдет туда. Надо Атласова арестовать. Приказчика выбрать из своих — иначе нам жизни не будет.

— Как его арестуешь? — угрюмо буркнул Анцыферов. — Оружия-то у нас нету!

— Ну, это не беда. Атласов сам вернет нам оружие.

— Держи карман шире! Что он, дурак?

— Он, ясно, не дурак. Да и мы не лыком шиты. Не на тех нарвался. — И, совсем понизив голос, Иван стал объяснять Анцыферову, что надо делать.

Вечером острог охватила паника. Стало известно, что к Верхнекамчатску подходят камчадалы с намерением разгромить его. Несколько казаков поплыли после обеда рыбачить вверх по реке и заметили неприятеля. Казаки поднялись на сопку, чтобы лучше разглядеть чужих воинов, и пришли в ужас. На острог двигалось не менее тысячи инородческих ратников. Были там отряды, громившие Большерецк, были курилы с Лопатки, коряки и камчадалы с реки Авачи, которым удалось уйти от карательной партии. Весь юг Камчатки отложился и выставил против казаков войско, какого раньше не видавали.

Посад опустел. Все бежали под защиту крепостных стен. Торговцы с ярмарки бросили свои товары на столах и поспешили вслед за остальными.

Перед приказчиьей избой бушевала толпа. Атласов велел срочно раздать казакам оружие. Служилые уже варили в котлах смолу, заряжали пищали и пистолы. Крепость ошетилилась оружием в ожидании нападения.

Выбрав момент, когда Атласов спешил в одиночестве от приказчиьей избы отдать какое-то распоряжение командовавшим обороной десятником, Анцыферов с казаками окружили его, сорвали саблю и, оглушив прикладом ружья, на глазах у всей крепости отвели к амбару и заперли под замок.

Только тогда стало известно, что слух о нападении на крепость был ложным. Застигнутые врасплох атласовские дружки не посмели и пикнуть. Приказчиком Камчатки вместо Атласова казаки выбрали Семена Ломаева.

Ищерица

Верстах в двенадцати выше Карымчина стойбища в Большую впадает с юга стремительная речка Кадыдак. Она течет узким, сумрачным ущельем, в котором от шума воды стоит рокошущий, низкий гул, словно в печной трубе во время выюги.

Сюда, к самому входу в темное ущелье, и приплыли Семейка с Кулечей под вечер на исходе августа. Камчадалы закончили заготовку юколы, накусили для собак полные ямы рыбы, и обоих пленников, Кулечу и Семейку, Карымча отправил за утками. Семейка был рад вырваться из селения хотя бы на сутки. Несмотря на обещания Канача, камчадалы держались с ним грубо, жизнь для него превратилась в пытку; и он утешался только тем, что каждый день строил планы побега. Возможностей для побега было сколько угодно. Но кто покажет ему путь на реку Камчатку?

Бежать ему мешала и мысль о Завине. Несколько раз он говорил с нею о побеге, и она заклинала взять ее с собой. Оставить ее здесь одну он просто не мог. Как он посмотрит в глаза Козыревскому?

С некоторых пор мысль о побеге Семейка стал связывать с Кулечей. За те сведения о казаках, которые пленник добыл для князца, Карымча обещал дать ему жену и отпустить на волю. Однако князец забыл о своем обещании, как только крепость была сожжена. Однажды, заметив, с какой ненавистью Кулеча смотрит на князца, Семейка предложил ему бежать, суля защиту казаков, если он проведет их с Завиной до Верхнекамчатска. Оказалось, что Кулеча боится встречи с казаками больше жизни в плену, и Семейка вынужден был отступить. К тому же никто не знал, стоят ли еще казахи укрепления на реке Камчатке, не преданы ли они огню, подобно Большерецку.

Захватив сеть для ловли уток, они приплыли на Кадыдак и возле входа в ущелье вытащили баты на сухую разноцветную гальку. Ощущение свободы опьянило подростка, и он заметно повеселел, тогда как Кулеча

стал, наоборот, еще пасмурнее и глядел на горы с такой тоской в глазах, словно для него оставалось одно: вечная жизнь в неволе.

Из ущелья веяло холодом и сыростью, и они развели костер. Собирая сушняк, Семейка заметил, как из-под камня высочила серая с фиолетовым отливом ящерица и, юрко скользя между голышами, побежала прочь.

— Лови, не то убежит лазутчица! — крикнул он Кулеча, указывая на ящерицу.

К удивлению подростка, камчадал проводил ящерицу долгим взглядом, не шелохнувшись, и, потом сразу весь поникнув, отвернулся. Голова его ушла глубоко в плечи.

Семейку потрясло его поведение. Камчадалы считают ящериц соглядатаями Гаеча, вестницами смерти, и, как только замечают этих юрких созданий, тут же стараются поймать и разорвать на мелкие клочки. Тот, кто упустил ящерицу, должен умереть. Кулеча добровольно выпустил вестницу смерти, он больше не хочет жить.

И действительно, с этой минуты Кулеча стал безучастен ко всему. Он сидел у разведенного Семейкой костра, уставив невидящий взгляд в пламя, — должно быть, ожидая того момента, когда ящерица, нырнув в расщелину, достигнет подземной юрты Гаеча и сообщит своему повелителю о смерти еще не умершего камчадала. Как только она закончит свое сообщение, Кулеча упадет мертвым.

То, что камчадалы придают такое значение безобидной ящерке, казалось Семейке непонятным и печальным. Однако ему было известно несколько случаев, когда камчадалы, упустив лазутчицу Гаеча, впадали в безысходную тоску, ожидая неминуемой смерти, и от этой тоски умирали на самом деле. Он заметил, что у Кулечи уже начали синеть веки, и испугался.

— Кулеча! Слышишь, Кулеча! — затормошил Семейка товарища по плену. — Ты надумал умереть, я знаю. Глупость это одна. Жить хорошо. Давай убежим, а?

Камчадал не отвечал. Его словно и не было здесь, у костра сидела одна закутанная в дырявую кухлянку телесная его оболочка, тогда как душа этого человека отлетела в подземный мир, где она получит новую кух-

лянку вместо дырявой, хорошую юрту, упряжку веселых собачек, бат и сети, и, конечно же, сразу двух или даже трех жен, ибо те, кто жил на этом свете плохо, живут хорошо у Гаеча.

Костер совсем начал гаснуть. Поеживаясь от холода, веявшего из ущелья, Семейка недоуменно свел брови и пошел опять за сушиняком.

Давешняя ящерица, выскочив из-под ног, кинулась под обкатанную водой корягу. Семейка отбросил корягу — ящерица была там.

— У, проклятая! — занес он ногу над пыльным фиолетовым тельцем, намереваясь ее раздавить.

Но неожиданная мысль заставила его изменить это намерение. Цепко ухватив ящерицу, он побежал к костру.

— Вот она, твоя смерть! — заорал Семейка, показывая свою добычу камчадалу. — Видишь? Я рву ее! Теперь ты не умрешь, понял? Я возвращаю тебе жизнь. Гаеч ничего не узнает. Ты поведешь нас с Завиной на реку Камчатку, к огненным людям. Понял?

Полными удивления глазами глядел камчадал на подростка, не в силах вымолвить ни слова. Едва он понял, что случилось, как лицо его начало свежеть. Проведя языком по пересохшим губам, он пошевелился, ощупал себя руками и с возгласом радости вскочил на ноги.

— Ну вот видишь? — ликовал Семейка. — Ты не умер. Я вернул тебе жизнь, и теперь ты будешь слушать мне, понял?

Скоро камчадал совсем пришел в себя и согласился следовать за подростком, куда тот захочет.

Семейка тут же начал выпрашивать, хорошо ли он знает дорогу к истокам Камчатки. Оказалось, что Кулеча несколько раз ходил этой тропой. Правда, Кулеча был уверен, что Верхнекамчатск сожжен ительменами, он слышал об этом от кого-то из воинов.

Семейка приуныл, однако слуху этому он не верил и решил не откладывать побега до получения точных известий.

Только теперь оба почувствовали, что животы у них подводит от голода. Столкнув на воду бат, они закинули сеть и с первого замета вытащили десяток кетин. Семейка нарвал листьев кипрея для заправки варева, потом кинул в кипящую уху несколько перьев морков-

ной травы и листьев травы учиху, похожих на конопляные. Когда рыба уже сварилась, он бросил в варево горсть клубней сараны для мучности. Варить настоящую, душистую уху он научился, живя в плену. Камчадалы умели употреблять такое множество трав в пищу, на лекарство и другие нужды, что он просто дивился.

Уха Семейке удалась. Он заметил, что после еды Кулеча совсем повеселел. Семейка теперь верил твердо, что побег увенчается удачей.

Вечером они залили костер, чтобы его пламя не отпугивало дичь, и растянули сеть с прoderнутыми в нее тетивами поперек реки у входа в ущелье. Кулеча перевез Семейку на противоположный берег, а сам вернулся к кострищу.

В сумерках, держась низко над водой, к ущелью пронеслась первая стая каменных уток. Они летели с заводов Большой реки, где весь день промышляли корм, на ночевку в верховья Кадыдака, на тихие воды горного озера.

Напоровшись на сеть, утки запутались в ячеях. Услышав отчаянное хлопанье крыльев и тревожное криканье, охотники, каждый на своем берегу, держась за тетивы, стянули сеть, и утки оказались как бы завернутыми в нее. Кулеча быстро переплыл речку, принял у Семейки конец сети и затем снова уплыл на свой берег. Там он ловко вынул из ячей добычу, свернул уткам шеи, и охотники снова поставили сеть поперек реки.

Чем ближе к ночи, тем чаще налетали небольшие, по пять-шесть уток, стайки. Охотники едва успевали собирать добычу. Кроме уток, попало и несколько гусей. Последними, выставив над черной водой белые царственные крылья, пролетели к ущелью два лебедя. Они тоже не заметили предательской сети и достались охотникам.

Когда Кулеча перевез совсем окоченевшего от холода Семейку на свой берег и они разожгли костер, оказалось, что одних уток они промыслили более полусотни. Семейке смешно было наблюдать, как Кулеча пытался пересчитать добычу. Перебрав все пальцы на руках, он скинул бродни и стал, шевеля губами, перебирать пальцы на ногах. Однако уток было больше, чем

пальцев у него на руках и ногах, и он изумленно спросил: «Мача?» — что означало: «Где взять?»

— Гляди! — сказал Семейка. — Вот я беру палку и ставлю на песке черточку. Это одна утка. А вот вторая черточка. Это другая утка. Понял?

Кулеча обрадованно кивнул и, взяв у Семейки палку, стал городить забор из черточек на песке. Результатом подсчета он остался доволен и тут же, не очищая, принялся потрошить утку вставленным в костяную рукоять кремневым лезвием, острым как бритва. Выпотрошив одну, он принялся за другую, затем за третью. На четвертой Семейка его остановил:

-- Хватит, Кулеча. Больше одной утки я не съем. А тебе и трех достаточно.

Кулеча недовольно насупился, однако спорить не стал и, сдвинув головни, закопал уток под костром прямо в перьях, чтобы не вытек жир. Семейка уже давно заметил, что камчадалы большие любители поесть.

Разведя над закопанной дичью большой огонь, они уселись у костра на перевернутый бат. Кулеча принялся выстругивать своим кремневым ножиком палку, иногда косясь на тушки двух лебедей, которых они, устояв перед соблазном, решили свезти Карымче, а Семейка любовался оперением сваленных в кучу каменных уток. Особенно красивы были селезни. Черная, словно бархат, голова с отливающим синевой носом и резкой белой полосой от носа до затылка, ослепительно белое ожерелье на зобу, переливы темного цвета — от блестяще-синего до угольного на спине и белые полосы на крыльях, — все это создавало впечатление, словно утку слепили из драгоценных горных камней, черных и белых, добавив к черному цвету немного густой синьки.

Полужинав, они настелили под перевернутый бат сухой травы и улеглись спать, согреваясь собственным дыханием.

Кулеча поднял Семейку до зари. Утром они рассчитывали продолжить ловлю. Теперь дичь должна была лететь на кормежку с озера на протоки Большой реки. Кадыдак и ущелье служили для птиц кратчайшей дорогой в этих каждодневных перелетах.

Кулеча видел сразу три страшных сна и был перепуган. По обыкновению всех камчадалов, страдающих чрезмерным любопытством ко всему необъяснимому и убивающих иногда целое утро на разгадку сна, он на-

чал изводить Семейку пересказом своих нелепых сновидений, ибо не мог чувствовать себя спокойно, пока не отгадает, что они предвещают. Вначале Кулечу подмял медведь, потом его засыпало снежной лавиной в горах, и он чуть не задохнулся, в третьем сне мыши прогрызли у него живот и набросились на внутренности. Он еле проснулся, когда они добрались до печени, и только тем спасся, по его словам, от гибели.

— Объялся ты вечером, и больше ничего, — сердито сказал Семейка, раздувая костер. — Сколько раз я тебе говорил, чтоб не перегружал брюхо на ночь.

Объяснение было самое простое, однако оно сразу успокоило Кулечу.

— Наверно, правда, — согласился он, хитро прищурившись, и нацелился взглядом на лебедя. — Утки совсем сухие. Кишки болят. Кишки хотят чего-нибудь помягче.

— Да уж ладно, потроши лебедя, — неожиданно согласился Семейка. — Карымче хватит и одного. Не станем же мы рассказывать князю, что поймали двух лебедей. Может, как пойдет тяга, еще попадутся.

Однако на утренней тяге лебедей в сеть не попалось, тогда как уток налетело еще больше, чем вечером. Когда лов кончился, Кулеча уговорил Семейку зажарить и второго лебедя. Он поглядывал на подростка благодарными глазами и, кажется, совсем забыл о том, что не далее как вчера уже распростился было с жизнью.

Возвращаться в ненавистное им обоим стойбище они не спешили и устроились подремать на солнцепеке, подальше от входа в ледяное ущелье, благо день выдался солнечный и теплый.

Проснувшись, Семейка обнаружил, что Кулеча грызет жирный огузок гуся-гуменника, которого уже успел не только зажарить, но и съесть до половины. Подросток покатился от смеха по траве, которая служила им постелью во время сна.

— На! — невозмутимо кинул ему камчадал гусиное крылышко. — Ты спишь себе, а я для тебя стараюсь.

Физиономия у Кулечи лоснилась от жира и светилась тихим блаженством.

— Вижу, как ты стараешься, только за ушами пищит. Опять ночью сны страшные приснятся.

— Если будешь меня плохо кормить — не пойду тебе служить, — пригрозил весело Кулеча.

— С чего это я буду плохо тебя кормить? — подобрался Семейка. — Будешь есть сколько влезет. Главное, чтоб ты не объелся и не умер.

— Хо! Не объемя! — похлопал Кулеча себя по животу. — Сюда влезет много. От жира сердцу весело, голове приятно, и все на тебя смотрят и говорят, какой хороший ительмен.

— Ладно, сделаю из тебя хорошего ительмена, — улыбаясь до ушей, пообещал Семейка. — Будешь еле двигаться, как жирный лахтак. А теперь пора и в дорогу. Вечером уплывем из стойбища.

Кулеча был вполне удовлетворен обещанием Семейки. Они погрузили в бат добычу и оттолкнулись от берега.

До стойбища они добрались после полудня и причалили бат на излучке возле рощи старых тополей, широкие кроны которых высоко возносились над травяными крышами балаганов.

Привезенной добычей князец остался доволен и тут же приказал потрошить дичь.

— Тут переполох поделался, — зашептала по-русски Завина, ошипывая с Семейкой дичь возле просторного балагана князца. — На Аваче казаки побили войско тамошних ительменов и коряков.

Семейка от радости выронил утку из рук и готов был пуститься в пляс.

Он стал рассказывать Завине, как собирался умереть Кулеча и как его вернула к жизни разорванная на клочки ящерица. Завина вначале не поняла, какое значение имело обещание Кулечи следовать за Семейкой куда угодно, и слушала рассказ подростка, бездумно улыбаясь. Но когда смысл сказанного дошел до нее, она сразу вся напряглась и, побледнев, схватила Семейку за руку:

— Значит, мы... бежим?

— Да ты что, оглохла? — удивился Семейка. — Об этом я тебе и толкую. Как только стемнеет, иди к тополевой роще. Мы с Кулечей будем ждать тебя. Захвати, что тебе нужно в дороге.

Остаток этого дня прошел для Завины словно в густом тумане. Все валилось у нее из рук. Старшая жена Карымчи накричала на нее за то, что она подпалила

у костра ее десятифунтовый парик, который было поручено Завине расчесать и взбить копной. Крик хозяйки прошел мимо ушей Завины. Мысленно она была уже с Иваном и торопила медленно опускавшиеся сумерки.

Вечером к стойбищу подошли семь батов с воинами Кушуги. Вскоре за ними появились лодки охотников, срочно вызванных князем с устья. К этому же времени в селении собрались камчадалы с ближних рыбалок и, сбившись толпой на берегу, встречали гостей и охотников приветственными криками.

На берегу вспыхнули десятки костров. Запахи жаркого и свежесваренной рыбы разбудили аппетит всего этого множества людей. Завина сбилась с ног, подавая вместе с другими женщинами гостям Карымчи все новые и новые блюда.

Улучив минуту, она поднялась по лестнице в балаган и сложила в кожаную суму свои немногочисленные вещи. С бьющимся сердцем спустилась она вниз и побежала к роще.

Кулеча с Семейкой уже давно ждали ее и встретили упреками. Она только тихо рассмеялась и прыгнула в приготовленный ими бат. Семейка с Кулечей, став с шестью на носу и корме, оттолкнулись от берега.

Завина не заметила, что за ней до самой рощи следовал в отдалении Канач. Став за ствол тополя, он слушал, о чем они говорят, и был изумлен до крайности, когда понял, что пленники собираются бежать.

— Стой! Причаливай назад! — прокричал он, едва бат скользнул от берега, подхваченный течением.

Увидев, что лодка продолжает удаляться вниз по темной реке и беглецы не отзываются, он кинулся к балаганам и поднял на ноги воинов.

В погоню с Каначом вызвалось трое ительменов. Взяв копья и луки, а также несколько смоляных факелов, они сбежали к реке и столкнули на воду узкую длинную лодку. Вспенив воду, лодка перерезала стремень и понеслась по течению вслед за батом беглецов.

Заметив погоню, Кулеча вначале растерялся и предложил Семейке остановиться, но подросток прикрикнул на него, пообещав лучше опрокинуть бат, чем снова попасть в руки преследователей, и Кулече, который, как и все камчадалы, не умел плавать, не оставалось ничего другого, как яростно налечь на шест.

Вот когда Семейке пригодилось его умение править

батом! Стараясь не задеть сидящую на дне лодки Завину, он кидал шест далеко от кормы вперед и, вонзив его в речное дно, почти повисал на нем, толкая бат изо всех сил вперед, в темноту. Кулеча, стоя на носу, также не жалел рук, видя, что их спасение теперь — в ловкости, с какой он правит лодкой, вовремя отводя ее от темных островков, то и дело возникавших впереди.

— Скорее! Скорее! — торопила Завина. Сидя лицом к корме, она видела, что преследователи медленно, но неуклонно приближаются к ним.

Когда тьма совсем сгустилась, на носу лодки преследователей вспыхнул факел. Теперь окутавший землю мрак, казавшийся беглецам спасительным, должен был погубить их. У них не было факела, и когда тьма стала непроницаемой для глаз, им каждую минуту грозила опасность налететь на невидимую отмель и застрять на ней либо удариться о берег какого-нибудь островка.

Кулеча неожиданно резко повернул бат влево, и лодка влетела в тихую протоку, застыла под навесом ветвей. Было видно, как преследователи пронеслись мимо. Свет факела, должно быть, ослепил их, и они не заметили маневра беглецов.

— Кулеча, — сказал Семейка, увидев, что опасность миновала. — У тебя будут две самых толстых и красивых жены. Ты самый умный и хитрый ительмен. Понял?

— Кха! Понял! — отозвался польщенный камчадал.

Выведя бат из протоки, они теперь как бы крались по реке вслед за преследователями, держась на свет их факела, готовые в каждую минуту снова нырнуть во тьму и отстояться в какой-нибудь из проток.

Канач скоро понял, что беглецы ускользнули от них, скрывшись за каким-нибудь островком. Теперь искать их в темноте по всей пойме было бесполезно. Позорно, что они упустили такую легкую добычу. Что сказал бы великий воин Талвал, будь он жив?

Некоторое время он безучастно сидел в лодке, следя за тем, как воины напрасно тратят силы, по-прежнему толкая бат вниз по реке. Потом приказал пристать к правому берегу.

Поднявшись на береговую кручу, в сухую каменистую тундру, ительмены развели костер и просидели возле него всю ночь. О возвращении в стойбище без

беглецов не могло быть и речи. Их засмеют воины рода. Они держали совет, где и как перехватить теперь беглецов, которые, конечно, постараются уйти к своим, в Верхнекамчатский острог. Путь туда был один — по реке Конад, именуемой огненными пришельцами Быстрой. Где-то там, на тропе, бегущей по берегу, и следовало устроить засаду.

Семейка с Кулечей между тем хорошо разглядели костер на круче и проплыли мимо него, держась подалеже от правого берега.

К рассвету они достигли мыса, на котором до сожжения высились стены крепости. Здесь Семейка долго разыскивал в кустах спрятанную им пищаль. Он помнил, что завернул ее в птичий кафтан, снятый с погибшего курильца, и сунул в яму под сухую валежину, прикрыв горкой зеленых листьев и ветвей. Он излазил кусты на пятьдесят саженей вдоль берега, а знакомая валежина все не находилась. В этих поисках он неожиданно наткнулся на заржавелую казацкую саблю без ножен. По рисунку на рукояти он узнал саблю отца, и прошлое нахлынуло на него вновь. Должно быть, отец выронил клинок, сбегая к реке, перед тем, как прыгнуть в бат, и не стал возвращаться за ним в спешке. Семейка до ломоты в глазах вглядывался в бегущую стальную воду, словно из ее глубин, рассекая саженками волны, должен был выплыть отец.

Наконец отыскалась и пищаль. Листья, которыми она была прикрыта, ссохлись и сровнялись с землей, а сама валежина исчезла. Должно быть, кто-то из камчадалов успел побывать здесь и унес валежину для костра, не заметив лежащего под листьями кафтана.

Поднявшись наверх, Семейка увидел Завину с Кулечей, бродящих по пепелищу. Трупов там уже не было, только белые кости, черные головни да слой седого пепла покрывали землю.

В глазах Завины стояли слезы. Здесь она была когда-то счастлива и теперь оплакивала минувшее.

Кулеча торопил Семейку покинуть пепелище. Камчадалу было тягостно смотреть на это печальное зрелище, виновником которого отчасти был он сам. Это ему принадлежало открытие, что огненные пришельцы смертны. Когда прошлой осенью утонул в низовьях, упав из опрокинувшегося бата, один из казаков, он поспешил известить об этом Карымчу. Князец вначале не

поверил Кулече. Огненные люди поступили хитро, спрятав утопленника в землю, чего никогда не делают ительмены, оставляя мертвых на съедение зверям. Однако пришельцы поместили место, где они спрятали утопленника, деревянным крестом. Когда по приказу князца могила была разрыта, князец убедился, что в ней лежит мертвый пришелец, и поверил Кулече. Могилу опять закопали, чтобы огненные люди не догадались, что их тайна раскрыта. С той поры и начали ительмены готовить нападение на острог, которое состоялось через год после этого открытия. И вот теперь пришельцы мертвы, а сам он, по странному стечению обстоятельств, служит последнему из них.

Уступив настояниям Кулечи, который страшал их погоней, Семейка с Завиной решились оставить пепелище. Выгрузив из бата сумы с едой и дорожными припасами, они кинули их за плечи и зашагали прочь.

Верст за пять от места впадения Быстрой в Большую тянется по долине топкая тундра. Сухо только на самом берегу, по которому и петляет глубокая, по колено, узкая тропа.

Найдя тропу, они шли по ней, не останавливаясь, до полудня, пока не достигли предгорий. Здесь, у входа в узкое ущелье, из которого с ревом выбегала река, они остановились на привал.

Это и спасло их от гибели. Затаившиеся в ущелье ительмены досадливо переглянулись. Канач долго наблюдал за тем, как беглецы устраивались для обеда на сухом пригорке. Они не побоялись даже запалить костер — видимо, осторожность покинула их. Ветер, дувший в сторону ущелья, нес раздражающий запах вареного мяса. Сглотнув слюну — с самого вечера у них и крошки во рту не было, — Канач прикинул расстояние до пригорка. Если выскочить неожиданно всем сразу, пленники не успеют убежать, кроме, может быть, Семейки, который, как ему хорошо было известно, бегал лучше его самого. Придется догнать его с помощью стрелы.

Наложив стрелу на тетиву лука, он дал знак ительменам, и те без крика выскочили из ущелья. Канач бежал позади всех, решив послать стрелу, как только Семейка покажет спину.

Первым заметил воинов Кулеча. Опрокинув котелок с варевом, он с криком испуга перемахнул через ко-

стер и понесся прочь с холма в речные заросли. Семейка, захваченный неожиданностью, кинулся было вслед за ним, схватив за руку Завину. Но, вспомнив о пищали, он бросился обратно к костру.

Ительмены были уже совсем близко. Семейка насчитал четверых. В бегущем позади он узнал Канача. В руках у Канача был лук с наложенной на тетиву стрелой.

Выждав, когда воины, поднимаясь на холм, сбились в кучу, Семейка выстрелил почти в упор. Пламя и грохот выстрела на секунду ослепили и оглушили его. Когда к нему вернулась способность соображать, он увидел, что двое камчадалов убиты наповал, а третий корчится на земле, скатившись вниз со склона холма. Канач, выронив лук и схватившись рукой за плечо, топтался под холмом. Видимо, он был ранен.

Семейка торопливо перезаряжал пищаль. Завина, успевшая прибежать на вершину холма и заметившая Канача, с ненавистью глядела на него, и на лице ее была жестокая победная улыбка.

— Убей его! — потребовала она.

Семейка, перезарядив пищаль, навел ствол в грудь Канача. И в этот момент Канач, должно быть, опомнился. Обведя взглядом вершину холма и заметив наставленный на него ствол пищали, он крикнул:

— Эй! Я подарил тебе жизнь!

Напоминание было сделано вовремя. Прокричав это, Канач кинулся в сторону зарослей.

— Стреляй! Стреляй же! — требовала Завина.

Но Семейка уже опустил ствол пищали.

— Почему ты не убил его? — повернула к нему разгневанное лицо Завина. — От него идет наше горе... Он еще отомстит нам!

— Ничего, пусть уходит, — равнодушно отозвался Семейка, наблюдая, как плетется от зарослей к холму перетрусивший Кулеча. Остановившись возле затихшего у подножия холма воина, камчадал сердито пнул мертвого носком бродня и полез к костру.

Молча взяв котелок, он сбегал к ручью за водой, промыл недоваренное мясо и снова повесил котелок на рогульку над костром. С этого момента он относился к Семейке с нескрываемым почтением.

Отдохнув и пообедав, они продолжали путь. Кулеча легко и споро шагал впереди, вполголоса напевая что-

то, стараясь всем своим поведением показать, что бегство с холма во время нападения было и не бегством вовсе, а хитрым маневром. В руке он сжимал копье, взятое у одного из убитых воинов.

В ущелье из-под ног Семейки, замыкавшего их маленький отряд, выскочила ящерица и побежала по осыпи. Семейка ловко поймал ее, завернул в тряпку и сунул за пазуху — на счастье...

День за днем следовали они по тропе, проложенной схотниками по берегу Быстрой, обходя далеко стороной камчадалские стойбища, то ночуя на открытом месте, то забившись в пещеру, если шел дождь. Через горные потоки перебирались по стволам деревьев. В горах уже припорошил землю снег, и они страдали от холода. Семейку удивляла выносливость Завины. Ни одной жалобы на тяготы пути не услышали они от нее.

В тот час, когда показался впереди крест часовни и замаячила крыша сторожевой вышки Верхнекамчатской крепости, Семейка словно обезумел от радости. Он побежал вперед, оставив своих спутников, и с криком ворвался в укрепление, переполошив казаков.

Его узнали. Со всех сторон к нему спешили люди, глядя на него как на выходца с того света. Из объятий Анцыферова он попал в объятия Козыревского, который поспешил отвести его домой. Только введя подростка в избу, Иван узнал, что с ним пришла и Завина, и опротясь выскочил из дома.

Подхватив Завину на руки, Иван так и принес ее в дом, крепко прижимая к груди, словно боялся, что их снова разлучат.

В этот день в дом Козыревских набилось столько народу, что было не протолкнуться. Семейка с Завиной охрипли, в сотый раз рассказывая о пережитом.

Петр на радостях снова выставил трехведерный бочонок вина. Стол на этот раз ломился от обилия. Рыба уже давно дошла до верховий Камчатки, и по горнице носился дух копченых балыков, затекающих золотыми капельками жира, отваренной кеты, дичи, медвежатины. В деревянных блюдах масляно поблескивали белые соленые грибы, высились горками румяные рыбные оладьи, краснела брусника.

— Ну, Иван, — поднял чарку Анцыферов, — за радость твою!

— За чудо спасения! — добавил Мартиан.
— Значит, и за Семейку! — обнял подростка Козыревский. — За его счастливую ящеричу!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Степанида

Холодный тусклый луч солнца, пройдя сквозь заиндевелый пузырь, затягивающий крошечное оконце в бревенчатой избе, скользнул по трещинам широкой осадистой печки, сложенной из кирпича-сырца, пробежал по лицу спящего на топчане Атласова и, осветив затянутый паутиной и копотью угол аманатской избы, погас так же неожиданно, как и возник. Утреннее небо над Верхнекамчатском было обложено зимними тучами.

Атласов проснулся и, сбросив тяжелую шубу из собачины, которая служила ему вместо одеяла, босиком пробежал по ледяному полу к печке. Дрова в нее он сложил еще с вечера, и они к утру хорошо высохли. Взяв с шестка несколько лучин, он быстро растопил печь и только тогда обулся в меховые сапоги.

Надев шубу и ушанку, он взял пустое деревянное ведро и застучал в дверь:

— Эй! Отпирай, душегуб!

На карауле в это утро стоял Григорий Шибанов. Выпустив арестанта, он пригрозил, сведя широкие смоляные брови:

— Я из тебя и впрямь когда-нибудь выну душу, вор.

Борода и усы Шибанова были в морозном инее и ледяшках, глаза смотрели тяжело и недобро, и Атласов смолчал. В первое время после ареста он и в самом деле боялся, что казаки потребуют его смерти. Однако выданное Семеном Ломаевым жалованье за два года умерило страсти, и казаки словно забыли про Атласова. На четвертом месяце своего заключения он уже позволял себе переругиваться с караульными.

Сопровождаемый Шибановым, Атласов по глубокой, протоптанной в снегу тропке вышел за стены крепости и спустился к реке. Над прорубью стояло мороз-

ное облако. Зачерпнув воды, Атласов, не глядя на Шибанова, словно его тут и не было, пошел обратно, с досадой думая о том, что, если караульного не сменят до полудня, Степаниду к нему сегодня не пропустят: Шибанов был не из тех, кого можно сломить долгими уговорами.

Аманатская изба с пристроенной к ней каморкой для караульного была рублена на две половины. В одной содержалось человек десять камчадалских князцов-заложников, в другую, меньшую, поместили Атласова.

Сунув в печь чугунок с рыбным варевом, он опустился на лавку возле расштанного, в две доски, стола и стал ждать Степаниду. Вскоре и в самом деле послышался ее голос за дверью. Однако, как он и опасался, Шибанов не пропустил ее в арестантскую, и уха из свежемороженых гольцов показалась Атласову безвкусной. Когда в караульных был кто-нибудь поговорчивее Шибанова, они со Степанидой завтракали вдвоем. Но случалось это не часто.

Закрыв выюшку протопившейся печки, чтобы не упустить тепло, он зашагал из угла в угол арестантской, стараясь не поддаться гневу, ибо только спокойствие и ясная голова были теперь его союзниками.

Итак, он опять заперт в тюрьме. На этот раз, по сути, из-за женщины. Если, сидя в якутской тюрьме, он жалел о том, что поддался разгулу и не помешал казакам совершить разбой, то сейчас, повторись вся история со Степанидой, он не отказался бы от этой женщины.

Когда там, на базарной площади, он впервые увидел ее, ему показалось, что он сходит с ума. Ибо среди пленниц, приведенных казаками с Авачи, он увидел вдруг Стешу Серюкову. То же широковатое светлое лицо, те же темные с таким знакомым большим разрезом глаза, те же полные губы — всем выражением лица, станом, походкой это была его Стеша. Только волосы, еще более длинные, чем у Стеши, были чернее и гуще. И когда Мартиан окрестил камчадалку Степанидой, голова у Атласова совсем пошла кругом.

Второе чудо произошло тогда, когда он властно взял Степаниду за руку, и она, лишь на миг отшатнувшись, вдруг доверчиво пошла за ним, как будто тоже узнала его, едва внимательно взгляделась в лицо Атла-

сова. Когда в торговом ряду он покупал ей подарки, она уже сама крепко держалась за его руку, словно опасалась, что их могут разлучить.

Теперь он знал, что она верна будет ему всегда: Степанида прибежала к арестантской через час после того, как его обезоружили и взяли под караул. Она умоляла караульного до тех пор, пока тот не пропустил ее к арестованному, и приходила потом каждый день, хотя чаще всего ее не пропускали.

Нет, он не жалеет о том, что отбил ее тогда силой у Беляева. Мучает его другое: он зарубил саблей безоружного. Разве это не позорно для казака? И хотя тьма, застилавшая его глаза, рассеялась, поспешный его уход с ярмарки был как бегство от самого себя.

Он еще не успел как следует опомниться, поэтому и поверил слуху, что камчадалские воинские отряды подходят к Верхнекамчатску, приказал вернуть казакам оружие. И оказался обезоружен сам.

Все помыслы его теперь сосредоточены на одном: как вырваться из-под стражи?

Атласова бесит, что все казаки из его ближайшего окружения отвернулись от него, даже Шипицын. Он пытался связаться с ним через Степаниду, но тот не захотел иметь с Атласовым дела, опасаясь, что воевода не простит пятидесятнику убийства Беляева. Что ж, каждому своя шкура дорога. Только рано Шипицын поставил на нем крест. Здешние казаки мало представляют, с кем они имеют дело. Когда нет никакого выхода, он умеет посмотреть на потолок, как учил его когда-то Лука Морозко, и прочитать, в чем его спасение.

День прошел в ожидании встречи с камчадалкой. Вечером Шибанова сменил Харитон Березин, казак веселый и добродушный, с пышным русым чубом и столь же пышной окладистой бородой. Заперев Атласова в ясачной избе, он предупредил:

— Камчадалку твою, коль придет, прочь прогоню.

Однако, поужинав, Атласов не спешил заснуть. Он лежал на топчане при свете плошки, подложив руки под голову, и прислушивался к ночным шорохам, к собачьему лаю, к звуку шагов Березина в караулке, к биению собственного сердца.

Услышав скрип снега за дверью, он сразу понял: Степанида! — и весь превратился в слух. Березин дол-

го препирался с нею в караулке, камчадалка, кажется, даже поплакала. Затем хлопнула дверь, и Атласов услышал лязг замка. Уговорила-таки!

Вскочив с топчана, он ждал, когда она войдет. Наконец Березин перестал возиться с замком, дверь распахнулась, и камчадалка влетела в нее вместе с клубами пара, повисла на груди у Атласова, не стесняясь караульного, который негромко хохотал, глядя на них.

— Ну? — нетерпеливо спросил Атласов, едва караульный захлопнул дверь.

— Вот!

В руку Атласова легла тяжелая холодная рукоять пистоля.

— Как? Неужели сегодня? Сейчас?

Она кивнула.

— А собаки? — не хотел верить Атласов.

— Упряжка готова. И все уложено, — показала она в улыбке чистые, что скатный жемчуг, зубы и тут же стала стаскивать шубейку.

У Атласова голова пошла кругом и потемнело в глазах. Он жадно и благодарно целовал ее лицо, решив, что такого чуда, как эта молодая женщина, судьба не посылала никому на свете. Соболь золотая, что прекрасней лебеди белой, досталась ему.

— Ну как? Намиловались? — весело спросил Березин, возникая на пороге.

Ответа он не дождался. Притаившийся за косяком двери Атласов рванул казака внутрь и обрушил на его лицо страшный удар рукоятью пистоля. Степанида быстро захлопнула дверь.

Оглушенного казака они связали и сунули ему в рот рукавицу.

Прихватив пищаль караульного, пояс с припасами к ней и саблю, они задули плешь и вышли из избы. Покров туч над острогом разошелся, и на небе густо горели колючие ледяные звезды. Замирая от скрипа собственных шагов, они миновали стены крепости. Караульный на сторожевой вышке, к счастью, не обратил на них внимания.

— Иди на дорогу, я догоню, — шепнула Степанида и быстрым легким шагом пошла к посадку.

Атласов, отыскав зимнюю санную дорогу, хорошо укатанную к этой поре, зашагал прочь от крепости



вдоль берега реки, глухо гудевшей подо льдом. Отполированный полозьями нарт снег на дороге отблескивал светом звезд.

Он успел удалиться от острога на добрую версту, прежде чем услышал позади визг полозьев, сливающийся с повизгиванием собак. Скоро нарты поравнялись с ним.

Ловко остановив упряжку, Степанида соскочила с саней, весело спросила:

— Ну, поехали?

— Чья упряжка? — спросил он.

— Ломаева. Он собирался завтра ехать в дальнее стойбище и снарядил нарты с вечера. Есть все: и кукули, и юкола для собак, и мороженая рыба для нас... Не зря я у него в служанках была.

Заставив ее забраться в меховой мешок, чтобы не замерзла в дороге, Атласов взял остол, гикнул на собак и тут же прыгнул в санки.

— Все! Теперь нас не догонишь! — прокричал он, подставляя лицо морозному ветру, сразу ударившему навстречу. — Поехали, соболь ты моя золотая!

...Бегство Атласова переполошило крепость. Едва пришедшего в себя Березина честили на чем свет стоит, и казак не знал, куда деваться от стыда. Просеченная до кости скула не мучила его так, как сознание собственной вины. Проклятущая дикарка обвела его вокруг пальца, будто малолетнего несмышлениша.

Посылать за Атласовым в погоню было бесполезно. У головы считалась в побратимах половина князцов в стойбищах, лежащих до самых низовий, и ему свежие собаки везде были обеспечены.

Если нижнекамчатский приказчик сдаст ему острог — быть беде. Казаков в Нижнем остроге теперь раза в три больше, чем в Верхнем. Там обосновалась почти вся приведенная Атласовым на Камчатку казачья сотня. Больше всего наводили уныние несколько пушек, имевшихся в Нижнекамчатске. Если Атласов подступит к Верхнему острогу с пушками — придется просить пощады. Две старые затинные пищали, имевшиеся в крепости, не могли идти ни в какое сравнение с медными пушками, бившими на целую версту.

День за днем Анцыферов с Козыревским ломали

голову, как избежать опасности, решив в конце концов уйти, в случае подступа Атласова к крепости, на острова к Курилам; может быть, им удастся даже отыскать ту самую благодатную землю, которая лежала на восток в океане.

В феврале в крепость приехал на собаках гонец из Нижнего острога. Гонцом этим был Семейка. Он жил теперь у нижекамчатского приказчика Федора Ярыгина, который приходился ему дядей. Семейка решил воспользоваться удобным случаем, чтобы навестить своих друзей в Верхнекамчатске и заодно заставить порастрясти лишний жир Кулечу, который был у него за каюра. От Семейки узнали, что острог Атласову не сдан и что Атласов живет не у дел в своем новом доме с той самой камчадалкой, промышляя одной торговлей. Ярыгин признавал камчатским приказчиком Семена Ломаева, Атласова просил оставить пока на свободе — пусть-де с ним разберется новый приказчик, который придет из Якутска с командой на следующее лето и успеет получить у воеводы указания относительно Атласова, на которого в Якутск послана челобитная.

Верхнекамчатские казаки успокоились. Жизнь в остроге сразу вошла в спокойные берега.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

День повзлеоний

«Зачем печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня?..» И еще: «О владычица богородица! Отними от сердца моего бедного гордость и дерзость, чтобы не величался я суетою мира сего», ибо «кроткие унаследуют землю».

Минуло три года с тех пор, как Атласов, бежав из-под стражи, добрался до Нижнекамчатска.

В январе 1709 года из Якутска прибыл новый приказчик Петр Чириков с пятьюдесятью казаками, а в августе следующего года на смену Чирикову явился с отрядом служилых Осип Липин. Ни Чириков, ни Липин не привезли никаких распоряжений Атласову от вое-

воды. Липин сообщил только, что о разногласиях Атласова с казаками, которые лишили его командования, воеводская канцелярия отписала в Москву, судье Сибирского приказа.

Поскольку воевода, ожидая решения Сибирского приказа, не присылал указания лишить Атласова прежних полномочий, к началу 1711 года на Камчатке оказалось сразу три приказчика: Чириков, который готовился отбыть в Якутск с собранной им соболиной ясачной казной, Липин, принявший у него командование острогами, и Атласов — приказчик только по названию.

«Помилуй меня, боже, ибо пограл меня человек; всякий день нападая, теснит меня. Попрали меня враги мои, ибо много восстающих на меня свыше...» Псалтырь утешал мало. Атласов зорко следил за событиями в обоих острогах, ожидая, что настанет и его час, — Чириков с Липиным успели столько попортить крови казакам и камчадалам, что на Камчатке остро пахло бунтом. Пользуясь краткостью своего пребывания на Камчатке, чириковские и липинские казаки, поощряемые примером своих начальников, вели себя по присловью: «После нас хоть трава не расти», — и обирали без зазрения совести камчадалские стойбища. Казаки, постоянно служившие на Камчатке, не хотели долее терпеть самоуправство пришлых служилых, ибо понимали, что им безвинно придется пожинать плоды пробудившегося среди камчадалов озлобления.

Ни Чириков, ни Липин не выплачивали камчатским служилым положенного им денежного жалованья. Если Чириков вместо денег хотя бы выдавал товары, заставляя расписываться в получении самих денег, то Липин даже товарами расплачиваться не желал, указывая на то, что камчатские служилые и так живут в довольстве на обильной рыбой и всяким зверьем Камчатке.

В случае казачьего бунта Атласов надеялся снова оказаться в седле — пока в Москве судят да рядят, как с ним быть, он успеет ухватить поводья без помощи Сибирского приказа.

Февраль 1711 года начался в Нижнекамчатске оттепелью. Несколько дней кряду дул сырой юго-восточный ветер, мела пурга, потом установилась мягкая солнечная погода. Днем капало с крыш, оседали глубокие, до

полутора сажень, сугробы, ночью подмораживало, и снег твердел. Едва всходило солнце, чистый снежный наст, покрытый тонкой, как слюда, ледяной корочкой, сиял до рези в глазах. Случалось, в феврале и марте от белизны слепли люди.

Однажды около полудня Атласов, сидя на крыльце своей избы, кроил из бересты для себя и Стеша наглазники с узкими прорезями для зрачков. Берестяной лист, положенный на кроильную доску, которая покоилась у него на коленях, мягко подавался под острым жалом ножа. Рука у него, слава богу, была по-прежнему тверда, глаза остры, и обе берестяные маски получились плавно закругленными, повторяющими по форме восьмерку, словно выписанную грамотеем на бумаге. Теперь Стеша обошьет бересту мехом, приладит завязки, и наглазники будут готовы.

От работы его отвлек собачий лай. Мимо крыльца к въезжей башне острога пронеслись несколько собачьих упряжек. Седоки были в кухлянках, торбасах из собачины и меховых малахаях. Если бы не ружья, стволы которых торчали из санок, седоков можно было бы принять за камчадалов — казаки за последние годы так вжились в местные обычаи, что даже кафтаны и шубы сменили на камчадалскую одежду.

Последняя упряжка круто свернула к избе Атласова. Подлетев к крыльцу, седок затормозил бег санок остолом и соскочил на снег. Едва он снял меховые наглазники, Атласов узнал Щипицына. Узкое, словно вырезанное из дерева, лицо казака совсем потемнело от загара, — должно быть, Щипицын возвращался с казаками из поездки в какое-нибудь из дальних камчадалских стойбищ. Острая, сверкающая сединой, как обоюдоострое лезвие, борода его по-прежнему воинственно торчала вперед.

— Здоров будь, атаман! — весело, словно не было между ними давнего холодка, прокричал Щипицын.

Взбежав на крыльцо, он сел без приглашения на перильца напротив Атласова, дружелюбно оскалив в улыбке мелкие острые зубы, крепкие, как у молодого пса.

— Будь и ты здоров, есаул! — насмешливо отозвался Атласов. — Откуда ты припорхала, перелетная пташка?

— Откуда я, птаха малая, припорхала, про то луч-

ше не спрашивай, — не обиделся на насмешку Шипицын. — Спроси-ка лучше, какие вести на хвосте принесла твоя пташка.

На слове «твоя» бывший есаул сделал ударение, и Атласов удивленно приподнял брови:

— Что-то не замечал, чтоб эта пташка была моей. В последние годы она другим свои песенки пела.

— Пташка — она и есть пташка, — без всякого смущения заявил Шипицын. — Поет там, где теплее.

— Это что ж, значит, возле меня нынче тепло стало?

— Переменился ветер. У твоего крыльца скоро снежок растает, травка-муравка зазеленеет, и всякий цвет зацветет — вот что чуёт твоя пташка.

— А какие же вести у этой пташки на хвосте? — уже всерьёз заинтересовался Атласов.

— Вот тебе весть, от которой, думаю, взиграет в тебе сердечко: было на Камчатке три приказчика, а сейчас полтора осталось. Казаки на пути из Нижнего острога в Верхний Липина зарезали!

— Чьей команды казаки?

— Данилы Анцыферова.

Опять Анцыферов! Серьезный противник. Вначале он подставил ножку ему, Атласову, теперь кинулся на Липина. Что ж, Липину поделом!

— А Чириков где?

— Чирикова казаки тоже хотели порешить, но он упросил их ради Христа дать время на покаяние. Казаки оковали его и повезли в Верхнекамчатск. Тамошние служилые Анцыферова поддержат. Считай, конец Чирикову. Скинем со счетов эту половину приказчика, и, стало быть...

— Стало быть?..

— Один ты целый и настоящий приказчик на Камчатке остался.

— Поэтому ты и припорхал ко мне?

— Поэтому и припорхал, — нахально глядя в глаза Атласову, согласился Шипицын. — Думаю, на этот раз Федор Ярыгин поспешит сам сдать тебе командование острогом. Они ведь с Анцыферовым приятели, и сечь приятелю голову за бунт Ярыгину будет ой как тяжело! Он с удовольствием предоставит эту возможность тебе. Ты эдак через часик-другой наведайся к Ярыгину. Мои ребятки сейчас у него, про бунт докладывают.

— А если нижекамчатские казаки примут сторону Анцыферова? — думая о своем, спросил Атласов. — Они ведь тоже натерпелись от Чирикова с Липиным.

— Ну, тут ты ошибаешься, — усмехнулся Шипицын. — Иль ты здешних служилых не знаешь? Народ они степенный, зажиточный. Против законной власти никогда не пойдут, хоть веревки из них вей. Наоборот, большинство из них станут против бунтовщиков, чтоб перед Якутском выслужиться. Да и сам Ярыгин тоже верный воеводский служака. А вот в Верхнем остроге служилые — те народ беззаботный, по большей части головы отчаянные. Те за Анцыферова станут. Придется тебе подступить к Верхнекамчатску с пушками... Ну, так через часик-другой, атаман! — напомнил он Атласову, прыгая в санки.

Собаки, визжа, сорвались с места, и упряжка, минуя избы посада, унеслась в острог.

Атласов, обхватив голову руками, остался сидеть на крыльце. Что ж, этот пройдоха Шипицын правильно рассчитал. Ярыгин сдаст командование, деваться ему некуда. Он, Атласов, теперь опять на коне. Но как коварно распоряжается его жизнью судьба! Едва вознесет — тут же выкопает яму. Вначале опоила его хмелем — и он полетел в яму, потом околдовала его красотой Степаниды — и опять яма. Теперь возносит еще раз, но впереди уже маячат сабли взбунтовавшихся казаков. Так просто они ему не дадутся, и неизвестно еще, кто кого свалит — он ли Анцыферова или Анцыферов его. Как найти путь — мирно договориться с Анцыферовым? Он мог бы за убийство Липина наказать анцыферовских казаков батогами и отправить отслуживать вину приисканием новых земель на море, а о причинах убийства Липина сообщить в Сибирский приказ правду: убийство совершено доведенными до отчаяния служилыми. Такие случаи уже бывали, и Сибирский приказ не всегда брал сторону приказчиков. Москве важно, чтобы ясак шел исправно.

Но поверит ли Анцыферов ему? Что, если отправить к Анцыферову с этим предложением Семейку Ярыгина? Анцыферов с Козыревским любят паренька и выслушают его внимательнее, чем любого другого посланца от Атласова.

Если же Анцыферов откажется повиниться, тогда...

Атласову кажется, что за спиной у него возникает государь и смотрит на него нестерпимо тяжким взглядом. И взгляд этот повелевает ему: тогда сечь головы!

Ках! Ках! Упряжка несется так, что в ушах свистит ветер. Семейка приказал Кулече не жалеть собак, и тот погоняет их изо всех сил.

Лежа в санках позади Кулечи в меховом мешке, Семейка все время оглядывается назад — нет ли там погони. Но позади нет пока ничего, кроме снежного праха, летящего из-под полозьев, пустынной колеи, накатанной до блеска, и вечеряющих сопков, поросших березой, елью и лиственницей.

Всего лишь час назад узнал Семейка о том, что казаками Анцыферова убит Осип Липин, — узнал из случайно услышанного разговора Атласова с дядей. Притаясь за перегородкой, он скоро понял, о чем договариваются Атласов с дядей: о передаче Атласову командования!

Поняв, какая опасность нависла над его друзьями, Семейка велел Кулече запрягать собак, и они тайком выехали из острога, несмотря на то, что был уже вечер.

На крутом повороте санки занесло, и Семейка едва не вывалился в снег. Огибая сопку, Кулеча гнал так же, словно они ехали по прямой дороге. Молодец, каюр он знатный, собаки слушаются его хорошо.

За поворотом неожиданно врезались в чью-то встречную упряжку, и Семейка оказался в сугробе. Пока он барахтался в снегу, вылезая из мехового мешка, на дороге все смешалось. Десятки собак грызлись и визжали, путаясь в постромах, множество санок окружало Семейку, между санками с криками носились люди, разнимая собак.

— Ба! Да это ж Семейка Ярыгин! — прокричал над ухом оглушенного падением паренька знакомый голос, и Семейка узнал Григория Шибанова. Через минуту его окружили уже Анцыферов, Козыревский, Березин, Дюков с Торским — здесь были все его друзья, а с ними еще три десятка казаков.

Семейку чуть не задушили в объятиях.

— Куда так спешил, что чуть не передавил всю мою команду? — спросил Анцыферов весело.

— Да к вам и спешил. В Нижнем остроге уже

знают, что вы Липина убили, а Чирикова оковали. Дядя мой сдал командование Атласову.

— Черт! — переглянулся Анцыферов со своими казаками. — Не зря мы спешили. Чуяли, что Атласов возьмет командование, да не знали, что весть о бунте так скоро дойдет до Нижнего острога. Как же быть теперь? Оглобли назад поворачивать?

— Надо добраться до Атласова! — упрямо сказал Березин, поглаживая багровый шрам на скуле.

— Теперь его голыми руками не возьмешь. Если б Ярыгин еще не успел сдать ему острог... — осторожно напомнил Торской.

— А ворваться с ходу да и взять его в сабли! — предложил Шибанов.

— А если он против наших сабелек пушки выставит? Он казак не промах. Поди, на въезде в посад и то расставил уже караулы.

— Торской прав, — вмешался в разговор Иван Козыревский. — Налетим кучей — там и оставим головы все до одного. Надо ночью в дом к Атласову пробраться в малом числе, втроем либо вчетвером. Это не привлечет особого внимания крепостных караульных.

— То дело! — поддержал Торской.

— Добро, Иван, — согласился и Анцыферов.

Собачий поезд тронулся к Нижнекамчатску. Ночью остановились в версте от острога.

— Кто пойдет? — спросил Анцыферов.

— Я! — откликнулся сразу Березин.

— И я! — предложил Шибанов. — Мы с Березиным всюду вместе ходим. Где его сабля не достанет, там моя не промахнется.

— И я!.. И мы тоже!

Анцыферов отобрал четверых. Семейке тоже надлежало отправиться с ними, чтобы успокоить караульных, если они выставлены на въезде в посад. Когда с Атласовым будет кончено, Семейка должен был лететь на своих быстрых собаках обратно к отряду. Тогда уж и вступят в крепость все сразу, пока острог спит.

Атласов проснулся от неясной тревоги, щемившей грудь. Вечером, когда он уже вступил в командование острогом, в его доме дым стоял коромыслом — пили

со Щипицыным и его дружками за удачу Атласова, за новый его взлет. Перепились так, что казаки убрались из дома, едва держась на ногах. Атласов же со Стешей долго еще сидели вдвоем — камчадалка уснула прямо за столом, и он на руках перенес ее в горницу. Сам он вернулся к столу и час за часом перекатывал тяжелые мысли, все еще не приняв решения — то ли сразу двинуться силой на бунтовщиков, то ли послать к ним человека на переговоры.

Решив принять решение завтра, на свежую голову, он кинул на лавку шубу и улегся прямо в столовой, чтобы не тревожить Стешин сон.

Проснувшись, он лежал, прислушиваясь к скрипу половиц в коридоре, — не мог понять, кто там ходит. Голова у него была тяжелой от хмеля, как валун, — казалось, никакими силами не поднять ее с лавки. В колеблющемся пламени лампы, освещавшей столовую, прыгали черные пятнышки, более ясные и отчетливые, чем само пламя. По столовой словно дым плавал, мешая видеть стены и потолок. Тревога продолжала давить его грудь. «Берегись! Берегись!..» — шептал ему какой-то голос. Но чего беречься и почему, он не знал. Тревога эта была как печаль, как сожаление о самом себе, словно он только что умер и стоит над собственным телом. «Зачем печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня?» — назойливо повторялось в ушах. Кто это говорит? Или он сам над своим собственным телом, которое стало пустым, неживым? «Приидите ко мне все страждущие и обремененные, и аз упокою вы. Возложите бремя мое на себя и научитесь от меня кротости и смирению, и обретете покой душам вашим». Кто читает ему евангелие? Не Мартиан ли пришел это? Вон он появляется из дверей и подходит к лавке. Явился на поклон, как только узнал, что Атласов снова стал приказчиком! Полно, Мартиан, виниться, я ведь сам простил всем свои обиды, и тебе, и казакам. Завтра я пошлю к Анцыферову племянника Федора Ярыгина на мирные переговоры — я буду уступчив, мне крови не надо. Я не хочу крови, Мартиан. Ты понял?

Поняв, что он и в самом деле принял окончательное решение, что решение это правильное, Атласов испытал облегчение, и тревога и печаль отпустили его. Иди, Мартиан, с миром. Завтра ты обвенчаешь нас со

Стешей, а сейчас я хочу спать... спать... Ну почему ты торчишь надо мной? Мешаешь мне спать? Зачем у тебя такой страшный рубец на скуле? Откуда у тебя этот пышный чуб?.. А! Ты не Мартиан вовсе, ты оборотень! Нет, ты... ты... Березин!.. Березин!!!

И голова его сразу стала легкой от ужаса, и в глазах прояснело — и нож в руке Березина блеснул так ярко, что вспышка отдалась в затылке, и в горле его заклокотало что-то горячее.

«...и обретете покой душам вашим», — прозвучал издалека, из пустоты ничей голос, и Атласов уснул.

Утром слуги, найдя хозяина мертвым на лавке, с воплями побежали будить Степаниду.

Она не вскрикнула, не пролила ни слезы, но словно окостенела, и щеки ее стали белыми, как февральский наст. Казалось, она умерла тоже.

Она села над ним и просидела беззвучно целый день, и сидела над его телом, когда его уже обмыли соседи, всю ночь, не притрагиваясь к пище и воде; затем — еще двое суток, пока тело его не опустили в землю.

Потом, когда все уже ушли прочь от его могилы, она сидела над его холмиком и обнимала мерзлые комья.

На другой день после похорон кто-то из казаков увидел, что она все еще сидит на могиле, удивился, покачал головой и заспешил дальше по своим делам.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ



Утром 22 мая 1711 года к вновь построенному казачьему укреплению на Большой реке приплыло на батах камчадальское и курильское войско. Птичь и рыбы кафтаны соседствовали с кухлянками из оленьих кож и собачины, нерпичьи и бобровые шапки перемешивались с медвежьими и пыжиковыми малахаями. Из батов густо торчали чекуши, копы и дротики с костяными и каменными наконечниками.

Высадившись на берег, ратники обложили кре-

пость подковой, отрезав стоящий на берегу острог от тундры.

Осаждающие насчитывали до пятисот воинов — по полтора десятка на каждого защитника крепости. Весь день камчадалы стояли в тундре, за полверсты от укрепления, не предпринимая никаких военных действий. Ночью огненной дугой запылали в тундре костры.

Минул всего месяц, как после трех с половиной лет жизни в Верхнекамчатске партия Анцыферова снова пришла на Большую реку. Князец Карымча был убит, а Каначу удалось уйти. За месяц казаки не успели еще поставить стены из бревен, и острог был опоясан только земляным валом высотой до сажени. Вал защищали две медные пушечки и три десятка казаков, вооруженных ручными пищалями.

Оставшийся на свободе Канач собрал воинов всех пяти камчадальских родов, обитающих на Большой реке и ее притоках, и привел их к казачьей крепости.

Идти на приступ камчадалы не спешили. Кроме угрожающих криков, доносившихся от костров, неприятельские воины пока ничем себя не проявляли. Должно быть, они решили отсиживаться вне досягаемости ружейного огня, пока голод не заставит казаков выйти за вал.

В землянке у Завины горела плешка. Возле неструганого, сколоченного кое-как стола сидели Семейка с Кулечей. Отдуваясь, пили чай из оловянных кружек. В углу, на лавке, зевая и крестя бороду, полудремал Мартиан.

После полуночи появился и Козыревский, сменивший с караула на валу. Все сразу оживилось, ожидая от него новостей.

— Что там, наверху? — подал голос Мартиан.

— То же самое, — с досадой ответил Иван. — Сидят тихо, нас стерегут.

— Говорила же я, чтоб убил его! — воскликнула Завина, сердито глядя на Семейку. — Вот он теперь пришел!..

Семейка покраснел, обиженно отставил кружку.

— Кто же его знал, что так выйдет? — В его голове с некоторых пор прорезался басок, и, когда Семейка обижался и говорил тихо, голос его казался густым, взрослым.

— Будет, будет, Завина! — вмешался Иван. — Ка-

нач ведь тоже не убил его. Друзья были, надо понимать... А теперь что ж... Не Канач, так другой во-
жак нашелся бы. Липин с Чириковым так озлобили
здесь все стойбища, что о мире все равно не дого-
вориться.

— Истинно так, Иване, — подал голос Мартиан. —
Всякое стадо находит своего пастыря. Рассеем с божь-
ей помощью неприятеля.

Семейке пора было вставать в караул. Поэтому, до-
пив чай, он поднялся из-за стола, солидно пробасив:

— Ну, бывайте!

За ним сразу поспешил Кулеча. Мартиан тоже не
стал задерживаться.

— Всяк, кто веру имеет и крестится, спасен бу-
дет, — сказал он на прощанье. — Не страшись, Ива-
не, завтрашнего дня. Стрелы язычников господня рука
разнесет прочь, как ветер разгоняет тучи. Думаю, крест
сей не одного язычника обратит в бегство.

Увидев в дужей руке Мартиана тяжелый, фунтов на
двадцать, медный крест, Козыревский улыбнулся:

— Серьезное оружие. Не только язычника, но и бы-
ка испугает.

— На сей щит мой и меч все мое упование в завт-
рашнем бою, — подтвердил Мартиан.

Семейка с Кулечей, выйдя из землянки, долго шеп-
тались о чем-то, после чего Кулеча перебрался через
вал и исчез в ночной тундре. Каким чудом было бы,
если бы их с Кулечей план удался, думал Семейка,
заступая на свой пост рядом с Анцыферовым.

Утро не принесло никаких изменений. Камчадалы
по-прежнему стояли в тундре, держась вне досягаемо-
сти для ружейного огня.

Семейка, взобравшись на вал, попытался вызвать
Канача на переговоры, но, когда возле его уха про-
свистела стрела, он соскочил с вала внутрь укрепления.
Наверняка стрелу эту послал Канач. Вряд ли кто дру-
гой мог послать стрелу на такое расстояние. «Кулеча,
ну что же ты, Кулеча?» — тоскливо подумал Семейка.
Видно, их план не удался.

После скудного завтрака — казаки доели остатки
рыбы и выпили последнюю воду — Анцыферов велел
Мартиану служить молебн. Следовало немедленно ид-

ти на вылазку, пока казаки не ослабели от голода, не измучились в ночных караулах.

Молебен отстояли с обнаженными головами. Ветер с гор, несший редкие белые облака и суливший хорошую погоду, развеивал волосы казаков — русые и темные, рыжеватые и совсем белые, как лен, выгоревшие на солнце.

Прочитав краткую молитву о даровании победы, Мартиан закончил так:

— Братья-казаки! Идя в сражение, будьте тверды духом, все грехи ваши отпущены, и не смерть пусть страшит вас, но всякое колебание прийти на выручку попавшему в беду товарищу. Всякая мысль обратиться вспять — гибельна, ибо если нынче дрогнет один — погибнем все. Тот, кто дрогнет, проклят мной заранее! Амины!

Суровая эта речь произвела на казаков впечатление, они почувствовали себя еще крепче связанными друг с другом.

В тот миг, когда Анцыферов уже стал поднимать руку, чтобы подать казакам знак о выступлении, Семейке вдруг почудилось какое-то смутное движение в неприятельском лагере. Солнце било в глаза, мешая рассмотреть получше, что там происходит, но походило это на какую-то военную схватку. «Кулеча!» — радостно подтолкнуло его что-то изнутри, и тогда он вскочил на ноги, вцепился в руку Анцыферова.

— Стойте! Стойте! — звонко и ликующе разнесся его голос над укреплением. — Смотрите туда! Сейчас произойдет что-то.

Анцыферов с Козыревским, как и все казаки, вначале с недоумением уставились на Семейку: уж не спятил ли хлопец, но потом стали всматриваться в сторону неприятельского лагеря.

Там действительно происходило что-то непонятное: в центре подковы словно бы кипел бой. И туда, к этому центру, с левого и правого крыла двигались неприятельские воины. И вот, когда все камчадалы и курилы стянулись к месту схватки, бой постепенно стал затихать.

— В чем дело? — подступили казаки к Семейке. — Что там происходит?

— Там Кулеча! — с горящими глазами ответил он,

словно одно это имя должно было все объяснить сбитым с толку казакам. — Я его послал туда сегодня ночью.

— Зачем? — удивленно спросил Козыревский.

— Там ведь князцы с ближних рек, которые никогда не хотели войны. Войны хочет один Канач и его ближние. Я велел Кулече передать, что мы готовы забыть все обиды, если нам выдадут Канача и согласятся платить ясак, как и прежде.

— Гляди-ка! — весело приподнял брови Анцыферов. — Казак Ярыгин уже решает за меня с Козыревским отрядные вопросы!

Семейка покраснел до ушей.

— Ну будет, будет! — положил ему на плечо руку Анцыферов. — Что краснеть, как девица? Еще неизвестно, что там происходит у них.

В неприятельском стане между тем бой совсем утих. От толпы камчадалов отделилась кучка воинов и двинулась в сторону укрепления. Когда они подошли ближе, удалось разглядеть, что передний воин держал в руке высоко поднятое копье, на древке которого болтался пук белых перьев — знак мира.

Анцыферов стиснул Семейку в объятиях.

— Ну, хлопец, по гроб жизни мы все тебе обязаны!

— Подрастет да заматерееет — быть ему казачьим головой, — убежденно проговорил кто-то из казаков.

В середине шествия несколько камчадалских воинов несли что-то тяжелое, завернутое в шкуру. Семейка разглядел улыбающегося Кулечу и весело помахал ему рукой.

Приблизившись к валу, воины вытряхнули из шкуры связанного Канача.

Переговоры с князцами вели Анцыферов и Козыревский, а Семейка, подойдя к распростертому на земле Каначу, опустился возле него на корточки. Перед ним лежал настоящий богатырь с полуприкрытыми, потухшими глазами. Видно было, что он узнал Семейку, но не выказал ни удивления, ни ненависти.

— Канач, — сказал Семейка, — ты первый предал нашу дружбу, а разве плохо нам с тобой было, когда мы жили мирно?

— У тебя все еще слишком мягкое сердце, как у ребенка, — равнодушно, с оттенком презрения и пренебрежения отозвался Канач. — Мир нужен трусливым

собакам, которые предали меня, а не великим воинам. Если ты настоящий воин, убей меня. Мне теперь все равно.

— Ну уж нет, — поднялся Семейка на ноги. — Поверженных мы не убиваем. Посидишь в аманатах, пока в сердце твоём не растает жестокость. И тогда ты поймешь, что милосердие выше жестокости.

— Этого никогда не будет, иначе я убью себя сам, — зло отозвался Канач.

Несколько казаков унесли Канача в аманатскую землянку.

Переговоры завершились полным успехом. С князцов взяли шерть*, одарили их из государевой подарочной казны и отпустили в стан, с тем чтобы отряды могли сняться еще до полудня. С вала было видно, что благополучное возвращение князцов встречено в камчадалском стане всеобщим ликованием.

Большинство камчадалских и курильских воинов погрузились в баты и отплыли в верховья и низовья Большой реки. Остальные отряды ушли пешими.

— И рассеялась злая туча, аки наваждение, — проговорил Мартиан, оглядывая с вала опустевшую тундру.

Весь остаток дня Кулеча ходил сияющий, ибо теперь он считал свою вину перед казаками полностью искупленной.

Анцыферов с Козыревским, понимая, что теперь мир в здешней тундре установлен надолго, если не навсегда, уже прикидывали сроки выхода на юг, на поиски далекой земли. Путь туда теперь был свободен.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Открытие Курил

«Державный царь, государь милостивейший! В нынешнем 711 году в Верхнем и в Нижнем в Камчадалских острогах прежде бывшие приказчики от нас, рабов твоих, побиты...»

* Шерть — присяга в верности.

На столе горит плошка, освещая стены новой, поставленной летом избы — третьей по счету избы их с Завиной. Первую сожгли камчадалы. Вторую — в Верхнекамчатске — пришлось оставить самим. Эта третья во всем похожа на первую — так они с Завиной хотели, так он ее и срубил. И Завина спит в пологе, и он склонился над бумагой так же, как в то черное утро, когда на прежний Большерецкий острог упали пепел и сажа. Иван чувствует себя, как заблудившийся в лесу путник, который проделал по дебрям полный отчаяния круг и вышел, к счастью, на прежнюю стоянку. Выхода из дебрей ему уже не найти — он чувствует это, — но, слава богу, хоть стоянка отыскалась: здесь есть крыша над головой и пища, и тепло очага. А главное — есть еще и Завина, и верные товарищи.

«...И за такую свою страдничью вину пошли мы, рабы твои, вышеписанного месяца из Камчадалских острогов служить тебе, великому государю, на Большую реку, усмирять изменников, которые в 707 и 710 годах тебе, великому государю, изменили и ясачное зимовье и острог на Большой реке сожгли, а твою, великого государя, сборную ясачную казну, порох, и свинец, и пищали побитых служилых людей отбили ж».

Козыревский обдумывает каждое слово — от этого, и только от этого, зависит теперь жизнь или смерть его самого и всех его товарищей. Бумага должна попасть в Сибирский приказ. Известие о том, что казаки побывали на островах, где ранее не приходилось бывать русским людям, а также о том, что путь в Японское государство лежит через эти острова, может привлечь внимание самого государя. Есть ли надежда на то, что царь простит им самоуправство и убийство приказчиков, особенно Атласова? Никто не может поручиться за это. Однако казаки надеются на него, на отписку, которую он составит. И он пишет обо всем подробно и правдиво, стараясь, однако, чтобы заслуги казаков не потонули в тумане слов, чтобы мужество, проявленное ими, их страдания произвели на царя впечатление.

«И будучи служилые люди в Курильской земле, от Курильского острова видели за переливами землю по Пенжинскому морю, на той земле не были, и какие люди там пребывают, и какую битву имеют, и какими промыслами они промышляют, про то они в достаток, слу-

жилые люди, сказать не знали. А в нынешнем, государь, в 711 году, мы, рабы твои, с Большой реки, августа с 1-го числа, в ту Курильскую землю край Камчадальского носу ходили; а где прежде сего служилые люди у Курильского острову были, а от того их места до самого краю Камчадальского носу 2 дни ходу, и с того носу мы, рабы твои, в мелких судах и байдаром за переливами на море на островах были...»

За окном слышен ровный тихий шорох дождя-мелкося — холодного, осеннего. В тот день, когда Анцыферов и Козыревский с двенадцатью казаками — остальных пришлось оставить для охраны отстроенного Большерецка — добрались до южной оконечности Камчатки, так же, как сейчас, сеялся дождь, и казаки больше суток прождали, пока он кончится. И едва небо очистилось, они увидели в море прямо на полдень, верстах в восьми от берега, гористый остров, а правее высился оснеженный конус еще одного острова, который Кулеча, шедший с казаками за толмача, назвал Алаидом. На Алаиде никто не жил, зато на первом острове, по уверению Кулечи, обитало до сотни курильцев. Что было дальше в море, Кулеча не знал.

Погрузились в захваченные у обитателей курильской Лопатки байдары. Но едва байдары отчалили, вода в проливе хлынула вдруг бешеной рекой, переливаясь из океана в Пенжинское море. Пришлось вернуться. Вскоре по проливу плясали уже целые водяные горы, и казаки радовались, что успели догрести до берега.казалось, остров, к которому они стремились, решил отгородиться от них грозными водоворотами, словно предостерегая их от приближения к нему.

Выждав, когда вода в проливе успокоилась, казаки рискнули еще раз отчалить. На этот раз им повезло. Все три часа, пока перегребали до острова, море оставалось спокойным.

Оставив байдары сохнуть на песке, казаки двинулись западным берегом на полдень. К вечеру в юго-западной изголовии острова разглядели юрты. Семейку с толмачом и двумя казаками отправили вперед, поручив вступить с обитателями стойбища в переговоры. Вместе с Семейкой пойти на переговоры напросился Щипицын. Остальные разожгли на берегу костры и поставили палатки.

В сумерках со стороны стойбища слышался вы-

стрел, и в походном лагере поднялась тревога. Казаки хотели уже выступить на выручку посланцев, когда те прибежали сами.

Переговоры сорвались. Семейка в срыве переговоров обвинял Щипицына, который ни с того ни с сего выпалил по обитателям стойбища из ружья.

— Врет, щенок! — озлобленно закричал Щипицын, видя, сколь угрюмо и недоброжелательно глядят на него казаки. — Мальчишка не заметил, как один иноземец целился в нас из лука! Я упредил его!

— Упредил, говоришь? — выступил вперед Торской. — А кто, как не ты, Щипицын, вел с казаками подстрекательские разговоры, чтобы самим напасть на островитян? От мира-де с островитянами никакого прибытка не дождешься. Не переговоры тебе нужны, а грабеж, чтоб барахлом разжиться!

— Кончить его! — крикнул Шибанов, хватаясь за саблю. — Дурной волк нам не товарищ!

На крайние меры Анцыферов не решился: в отряде было еще четверо щипицынских дружков. Щипицына только обезоружили, чтоб не учинил в отряде междоусобицу, предупредив, что, если повторится подобное, пусть пеняет на себя.

Однако выстрел Щипицына оказался роковым. Островитян на мирные переговоры ни на следующее утро, ни через день не удалось склонить. Около полусотни воинов стояли, изоружась, против казаков, и пришлось дать несколько выстрелов из пищалей, прежде чем они сложили оружие. Смиренные силой, островитяне, которые были из знакомых уже казакам по своему облику мохнатых курильцев, населявших южную оконечность Камчатского носа, согласились принять государеву руку и платить ясак шкурами каланов и других морских зверей — соболи на острове не водились.

За островом, который сами курильцы называли Шумшу, всего верстах в двух мористее, открылись глазу окутанные туманом горы. Там была еще одна земля.

Однако земля эта также оказалась островом, немного более обширным, чем первый из посещенных, но тем не менее всего только островом.

Однако его даже осмотреть как следует не удалось. Несколько курильцев с первого острова успели добраться сюда и предупредить здешних обитателей, что пришли насильники. Когда дорогу казакам преградило

войско копий в полтораста, Анцыферов так глянул на Щипицына, что тот поспешил спрятаться за спины казаков.

Обитатели второго острова обильной волосатостью походили на курильцев, но было в их облике нечто, совершенно поразившее Козыревского, — малая скуластость и прямой разрез глаз. Многим казакам, как и Козыревскому, в первый миг почудилось, что они встретили своих братьев. Островитяне также смотрели на пришельцев с удивлением и даже радостью: казалось, еще мгновение, и они кинутся обнимать казаков. Но наваждение первой минуты прошло, островитяне угрожающе подняли копья.

Двое суток стояли казаки на Ясовилке-реке лицом к лицу с островитянами, склоняя их под государеву руку, но те оставались непреклонны, заявляя, что ясак никому не платили и не собираются делать этого впредь. Однако сходство во внешнем облике сослужило все-таки казакам добрую службу. Вождь островитян не отказывался от бесед с Козыревским, и тому удалось выяснить, что за вторым островом, который курильцы называли Парамушир, простирается в полуденную сторону еще целая цепочка островов, на которых живут братья курильцев по крови, а далее стоит остров Матмай, занятый насильниками, прогнавшими островитян. Матмай, как знал Козыревский, — это уже Япония. Ни о какой другой обширной земле островитяне не знали. Значит, обширная северная или восточная земля оказалась выдуманной, а сами островитяне были почти теми же мохнатыми курильцами, только без примеси камчадальской крови. Язык их тоже отличался от языка жителей первого острова, и Козыревский с трудом вел беседы с их вождем через толмача.

Цепочку островов вождь изобразил с помощью различных по величине галек, и Козыревский записал названия некоторых островов, числом до двадцати двух, а также начертил на память их расположение.

Курильцы не соглашались пропустить их через свою землю на другие острова, и Анцыферов с Козыревским решили возвратиться в Большерецк. Все-таки они оставили вождю и его приближенным несколько фунтов бисеру и десяток ножей в подарок, надеясь, что эти знаки дружбы смягчат островитян и в следующий раз они примут казаков более радушно.

Козыревский вздыхает и продолжает писать. Пусть восточная земля оказалась выдуманной, зато они первыми провели острова за Камчатским носом, и в случае крайней опасности на них можно будет отсидеться. Не так уж все и плохо.

В пологе слышалось движение.

— Иван, почему ты не спишь всю ночь? — слышался удивленный голос Завины. — Что ты там подделываешь?

— Подделываю я, Завина, письмо государю, — улыбнулся Козыревский.

— Большому огненному вождю?

— Я тебе уже объяснял, откуда у нас огненное дыхание вылетает. Царь такой же человек, как и я, только, может, поумнее. Ты спи.

— Ладно, сплю. А ты у меня все равно огненный человек.

— Огненный, если тебе так хочется, — согласился, продолжая улыбаться, Козыревский. — Только ты спи.

— Я уже совсем заснула, — сонным голосом сказала Завина.

И вскоре, прислушавшись к ее дыханию, он понял, что она и в самом деле спит.

Когда Козыревский подписал бумагу: «Вашего величества нижайшие рабы (перечисление имен)... нынешнего 711 году сентября в 26-й день», — за окном уже рассвело.

Задув плошку, Козыревский вышел из избы подышать свежим утренним воздухом. Дождь кончился, но утро стояло туманное и сырое. Поднявшись на берег реки, он услышал внизу, у воды, голоса казаков. Там Семейка Ярыгин с Григорием Шибановым и Кулечей спускали на воду баты.

— Куда собрались? — крикнул Иван.

— На реку Начилову, за жемчугом! — отозвался снизу Семейка.

У Семейки каждый день новые открытия. То траву целебную найдет, то неведомую рыбу выловит и показывает казакам, то привезет с ключей воду, от которой у казаков перестает болеть желудок. Камчадалы всюду принимают его как самого желанного гостя.

Козыревский медленно шагает к своей избе, погружившись в задумчивость. Что сулит ему и его товарищам будущее? Казнь или царскую милость?

Семейка теряет друга

Лето 1713 года выдалось в Якутском воеводстве жаркое и ясное. От самого Якутска до хребтов, ограждающих с запада Ламское (Охотское) море, по всей тайге стояла небывалая сушь. Лесные пожары, вспыхнув в июне, когда сошла весенняя влага, не прекращались все лето. Дымные хвосты висели день за днем в безоблачном небе.

По ночам с горных перевалов открывались глазу зловещие огненные гребни, которые там и сям беспощадно прочесывали смоляную тайгу.

На исходе августа, во второй половине дня, выползла из дымной тайги к Уракскому перевалу цепочка людей и вьючных оленей. Судя по разноцветным кафтанам и обильной растительности на лице, это были сибирские казаки и промышленные. Кое-кто из них вел в поводу верховых лошадей.

Впереди этого каравана шло несколько ламутов, на них были олени кафтаны с коротко — по-летнему — остриженной шерстью, расшитые мелким цветным бисером — одекуем, малахаи надвинуты до бровей, на ногах — короткие сыромятные бродни.

За спинами у ламутов болтались короткие луки в чехлах, на поясах — тяжелые расшитые колчаны, полные стрел с железными наконечниками. Только у самого молодого из них за спиной висел старенький самопал, которым обладатель немало гордился. Это был младший сын ламутского князца Шолгуна Умай. На кафтане Умая, кроме бисера, поблескивало полдюжины крупных медных монет и медных бляшек. Его самопал был знаком особой милости якутского воеводы к старому Шолгуну, унявшему по договоренности с воеводой многолетнюю смуту ламских родов вокруг Охотского острога.

Рядом с Умаем, ведя в поводу пузатую лошаденку, шагал Семейка Ярыгин. На его худом обветренном лице выделялись живые темные глаза и не по годам су-

ровая складка над переносом. Он служил при начальнике отряда Сорокоумове за толмача.

Сибирский губернатор князь Матвей Петрович Гагарин, выполняя волю царя Петра Алексеевича, отдал приказ якутскому воеводе послать казаков для отыскания морского пути из Охотска в Камчатку. Морской путь мог бы разрешить все трудности по доставке в Якутск камчатской пушнины. Немирные оленные коряки часто подстерегали отряды казаков, шедших сухим путем из Камчатки через Анадырь в Якутск, соболиная казна бесследно исчезала в тундре вместе с сопровождавшими ее служилыми. Более двухсот казаков оставили свои головы на этом крестном пути за первые десять лет после покорения Камчатки Атласовым. Для немногочисленного якутского гарнизона это была огромная потеря. За недостатком людей соболиные ясачные сборы не вывозились с Камчатки по несколько лет.

Очередь идти на службу из ближних якутских волостей в дальний Охотский острог пала на казачьего десятичника Ивана Сорокумова, человека заносчивого, но ленивого и нерешительного, приземистого, неповоротливого, с оплывшим бабьим лицом. Чтобы придать ему решительности и энергии, его заранее осыпали милостями, приписали в дети боярские, снабдили его отряд пушками, придали даже сиповщиков и барабанщиков, словно он был по меньшей мере казачьим головой.

Однако ни корабельных припасов, кроме холста на паруса, ни знающих мореходов в Якутске не нашлось. Воевода понадеялся на казацкую смекалку. Строить суда казакам было не впервые. Авось и в этот раз упраться.

Выскочив «из грязи да в князи», Сорокумов сделался важен, криклив и жесток. Как всякий недалекий человек, он старался ловить казаков на мелких провинностях и тут же пускал в ход плетку. К концу похода успел он перепороть почти всех служилых, не щадя даже своих бывших товарищей. Не только казаки, но и казачьи десятичники таили на него злобу.

Неизвестно, чем бы все это кончилось (тайга — дело темное), да выручил Сорокумова торговый человек Василий Щипицын. Появившись в Якутске, он умаслил воеводу богатыми поклонными и, оставив казачью службу, занялся торговлей. Было известно, что он быстро

разбогател. Ходили слухи, что сам воевода был у него в доле.

Постепенно Щипицын стал правой рукой начальника отряда, заушником. Он все чаще бывал в палатке Сорокоумова, разделяя с ним то утреннюю, то вечернюю трапезу.

Со Щипицыным заодно держались двое промышленных, братья Григорий да Петр Бакаулины, мужики дюжие, черные, что птицы-вороны, бывалые и ухватистые.

Приблизив Василия Щипицына и Бакаулиных, Сорокоумов обрел надежных советчиков и охранников. Почти половина казаков ходила в должниках у Щипицына и почитала его за своего благодетеля.

Промышленные, со своей стороны, надеялись использовать благоволение будущего управителя Охотска с немалой для себя выгодой.

Минуло полтора месяца с того дня, когда отряд Сорокоумова выступил из Якутска. За это время казаки одолели воды Алдана и Май, вышли на Юдому и миновали Юдомский Крест. По берегам всех рек дымили пожары. Лица казаков прокоптились и почернели. На Юдоме, обходя лесные палы, едва не заблудились. Здесь уже якутские стойбища сменились ламутскими, и Сорокоумов на чем свет стоит клял Умая, который теперь вел отряд, как знаток здешних мест.

Однако чутье молодого ламута вывело отряд из горного лабиринта к Уракскому перевалу. Тут они нашли тропу, которая свернула к ущелью и круто полезла вверх. По дну ущелья бежал ручей, местами перекрытый толстым слоем каменного снега. Сверху из ущелья тянуло ледяной сыростью. Седловина перевала терялась в тумане.

На перевал поднялись часа за два и стали спускаться. К тому времени, когда вышли в каменистую долину, свечерело, и Сорокоумов объявил ночлег. Казаки начали ставить палатки. В долине по ручью нашли сухостойную ольху, и вскоре запылали костры.

Ночь выдалась холодная и моросливая.

В большой узорчатой палатке начальника отряда при свете плошек шло совещание с проводниками, какой дорогой идти в Охотский острог. Ближняя тропа шла по Ураку к морю, где побережьем можно было добраться до места по отливной полосе. Другая тропа

вела к реке Охоте, откуда было недалеко до стойбища Умая, и далее по берегу реки выбегала к морю возле самого острога.

Большинство склонялось к тому, чтобы выбрать первую, короткую, тропу, — люди настолько утомились, что каждый лишний день дороги казался невыносимой пыткой. К ним присоединился и Сорокоумов.

Однако Умай уперся и отказывался вести отряд по этой дороге. На выходе тропы из ущелья два года назад произошел обвал, засыпало четверых ламутов. Место это дурное, там поселились злые духи. Если и не произойдет нового обвала, то олени попортят ноги на острых обломках, которые засыпали тропу на полверсты.

Сорокоумов вспылил:

— Ярыгин, перетолмачь этому тухлоеду, что, ежели он откажется вести нас короткой тропой, плетюгов выплю! Небось тянет нас длинной тропой идти, чтобы побыстрее к себе в стойбище попасть...

«Тухлоеда» Семейка опустил, остальное перевел.

Обидевшись за друга, он ждал, что тот ответит.

Угроза ничуть не испугала Умая. Гордо выпрямившись, он заявил, что бодливый снежный баран всегда в конце концов падает в пропасть. Идти короткой тропой все равно, что кинуться вниз головой со скалы.

— Что он там лопочет? — уставился на Семейку тяжелым взглядом Сорокоумов. — У меня терпение кончается.

— Ну, вначале он сказал про бодливого барана... — замылся Семейка. — А потом опять отказывается идти, где вы велите. Говорит...

— Про какого такого барана? — перебил его Сорокоумов, багровея. — Ну-ка, переведи как есть! Это он про что?

— А я почему знаю, про что... Сказывает, что бодливый баран завсегда сломает себе шею...

В палатке установилась напряженная тишина. Качащи десятники прикусили языки, промышленные сидели ни живы ни мертвы.

Плетка Сорокумова вначале достала Семейку, потом со свистом опустилась на голову проводника. Раз... Еще раз... И в третий...

— Держи! Вяжи нехрестя! — ревел Сорокоумов, наваливаясь на Умая.

Поняв, какую ошибку он совершил, переведя слова друга, Семейка пришел в ужас. Умая забьют насмерть...

Перевернув носком бродня обе плоски, отчего в палатке сразу установилась тьма, он кинулся в свалку возле Умая, колотя кулаками направо и налево.

— Беги, Умай, беги! Тебя убьют! — кричал он по-ламутски.

Чей-то булыжный кулак пришелся ему в темя, из глаз у него брызнули искры. Но он понял, что главное сделано — свалка стала всеобщей, кто кого бьет, уже не разберешь, и теперь Умаю легче ускользнуть.

На шум и крики к палатке начальника сбежался весь лагерь. Когда зажгли свет, выяснилось, что Умая и след простыл. Под обоими глазами у Сорокоумова вздулись багровые синяки, нижняя губа была рассечена. Он задыхался от бешенства. Трудно было предположить, что его так отделал Умай. Однако лица всех четырех казачьих десятников тоже были украшены синяками. Досталось и Щипицыну с Бакаулиными. Вот и разберись, кто тут кого бил.

Обшарили весь лагерь, но Умая так и не нашли.

Семейка весь остальной путь до Охотского острога был угрюм и молчалив.

Вспоминались ему Камчатка, якутская тюрьма и знакомство с Умаем.

На Камчатке остались все его друзья: Козыревский, Анцыферов, Завина... Он так соскучился по ним — слезы на глаза навертываются.

Вскоре после похода казаков на Курилы в Большерецкий острог прибыл гонец из Нижнекамчатска. Федор Ярыгин извещал племянника, что собирается с солиной казной в Якутск и приглашает Семейку сопровождать его.

Якутск поразил Семейку высотой городских стен и башен, трезвонном церковных колоколов, пестротой одежд, шумом и гамом на вечно бурлящей людскими толпами торговой площади — все это он успел уже забыть за долгие годы жизни на Камчатке.

Целый день бродил он по улицам посада, толкался на базаре, поднимался на воротную башню нового города, с которой открывался вид на дальние окрестности — от белоголовых вершин Ытык-Хайалара на запа-



де до синеющих лесов и сопок за протоками и островами Лены на востоке, откуда поднимается солнце.

Однако под вечер этого же дня случилось несчастье. Якутский воевода обвинил Федора Ярыгина в утайке дюжины черно-бурых лисиц из ясачного сбора. Должно быть, те сорок поклонных соболей, которые поднес по обычаю нижнекамчатский приказчик, не удовлетворили воеводу, а чернобурки из привезенной с Камчатки ясачной казны были так хороши, что воевода взял их себе, предоставив Ярыгину восстановить убыль как знает. Федор возмутился, и его тут же кинули на козлы перед пыточной избой. С козел, из-под кнутов, Ярыгин при всем народе кричал, что воевода плут и разбойник.

Когда на пятисотом ударе дядя окостенело вытянулся и затих, когда сняли его с козел мертвым, Семейка, не помня себя, кинулся на воеводу, исцарапал ему лицо и едва не был затоптан сапогами воеводских слуг. Спасли его товарищи Федора Ярыгина, которые уговорили воеводу не принимать на душу еще один грех, не казнить мальчика.

Воевода приказал кинуть дерзкого казачонка в тюрьму и приковать железом к стене.

В сыром темном срубе, опущенном в землю, Семейка провел больше года в обществе немирного ламутского князца Узени.

Неунывающий, широколицый и плутоглазый князец научил Семейку ламутскому языку и часто рассказывал угрюмому, замкнутому пареньку веселые сказки и разные истории, чем и помог Семейке выжить, не сломиться.

Новый воевода выпустил Семейку на волю, а Узению перевел из тюрьмы в обычную аманатскую избу, откуда ламутский князец вскоре убежал в тайгу.

Выйдя из тюрьмы, Семейка не знал, что делать. В Якутске у него не осталось ни родных, ни знакомых. Тут судьба и столкнула его с Умаем. Познакомились они в харчевне на постоялом дворе. Подсев к столу, за которым Умай лакомился пирожками с рыбой, Семейка долго исподтишка наблюдал за ним, удивляясь, как похож этот, судя по одежде, ламут на бывшего товарища его по детству камчадала Канача, дружба с которым так неожиданно обернулась враждой там, на пепелище Большерецкого острога. То же серьезное смуглое лицо, тот же вдумчивый взгляд черных раскосых глаз.

На вид Умаю было лет шестнадцать-семнадцать, и был он моложе Семейки всего на какой-нибудь год. Наконец, решившись начать разговор, Семейка спросил ламута, не знает ли он Узеню. Услышав знакомую речь, Умай обрадовался и ответил, что слышал об этом отважном воине от своего отца Шолгуна. Весть о том, что Узеня бежал, наполнила Умая таким восторгом, что он схватил по русскому обычаю руку Семейки и крепко пожал ее, благодаря за это счастливое для ламутов известие.

Они разговорились, и, узнав Семейкины обстоятельства, Умай посоветовал ему наняться к Сорокоумову толмачом. Отряд Сорокоумова направлялся в Охотск, и Умай, приезжавший в Якутск к воеводе по поручению своего отца, должен был идти с Сорокоумовым в числе проводников. Охотск нимало не интересовал Семейку. Он искал возможность вернуться на Камчатку, к своим друзьям. Но едва Умай сообщил ему, что казаки в Охотске будут строить большую лодку, чтобы плыть на Камчатку, как Семейка сломя голову кинулся разыскивать Сорокоумова.

За долгую дорогу от Якутска до Уракского перевала они так крепко сдружились с Умаем, что Семейка постепенно перестал ощущать себя одиноким и никому не нужным.

И вот это несчастное происшествие в палатке Сорокоумова разлучило теперь его с другом. Он опять одинок. Удастся ли им когда-нибудь с Умаем встретиться вновь? Скорей всего нет. Сорокоумов по прибытии в Охотск отправит казаков в стойбище Шолгуна, чтобы потребовать Умая на суд и расправу. Умаю, как и Узене, придется скрываться в тайге, в дальних стойбищах. Пути их разошлись навсегда...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Разбойник

Умай оказался прав — тропу на выходе из ущелья в трех верстах за Уракским перевалом в нескольких местах сплошь завалило камнями. На каменных осыпях

вьючные олени побили ноги до крови. Часть груза пришлось с оленей снять и нести самим.

К Охотскому острогу подошли только на четвертые сутки.

Деревянная крепостца стояла на правом берегу реки Охоты, в трех верстах от устья. Рубленая из лиственницы, она была обнесена крепким бревенчатым стоялым палисадом, по палисаду торчали две сторожевые башенки — воротная, с выходом к морю, и тынная, с окошком в сторону тайги и дальних гор.

Увидев крепость версты за две впереди, казаки обрадованно загалдели, пушкари понукали лошадей. Животные, почуяв близость жилья, из последних сил налегали на постромки.

— Ярыгин! — сердито крикнул Сорокоумов. — Где тебя черти носят?.. Ярыгин!

Семейка поспешил на зов начальника. Спрыгнув со своей лошаденки, он сдернул перед Сорокоумовым шапку.

— Скажи, Ярыгин, в острог, — приказал Сорокоумов. — Скажи там приказчику Ивану Поротову, что я еду на смену ему. Пусть подворье для казаков готовит да медовуху откупоривает.

— Это мы мигом! — пообещал Семейка. — Одна нога здесь, другая — там.

Семейка ловко разбежался, плюхнулся животом на спину своей лошадки и, взбрыкнув пятками, уже сидел в седле, цепкий, как клещ.

Лошадь, однако, едва переступала сбитыми до крови ногами. К острогу он подъехал, опередив отряд меньше чем на версту.

Семейку поразило, что на воротной башенке не было часового. Из-за палисада неслось хриплое пение, визг, хохот. Там, должно быть, справляли какой-то праздник. Вздумай сейчас ламуты поджечь стены крепости, им легко удалось бы сделать это. Последний раз острог был спален ламутами всего каких-нибудь десять лет назад. За это время здешние служилые, должно быть, так привыкли к мирному течению жизни, что и вовсе утратили всякую осторожность.

— Эй, тетери! Отпирай! — загремел Семейка кулаком в ворота крепости, не слезая с лошади.

На стук и крики никто долго не выходил. Он успел отбить о ворота кулаки, с тоской оглядываясь в ту сто-

рону, откуда приехал. Голова приближающегося отряда уже хорошо была видна отсюда. Если ему не удастся проникнуть в крепость до подхода казаков, не миновать ему сорокоумовской плетки.

Наконец высокий лохматый казак с русой свалывшейся бородой, в драном красном кафтане, бессмысленно улыбаясь, распахнул ворота.

— Чего орешь, дура? — лениво прогудел он, уставя на Семейку заспанные глаза. Потом сонную одурь с него словно рукой сняло. В серых глазах его отразилось удивление. — Вот те на! А человек-то не наш! Откель ты такой тут выскочил?

— Ниоткель я не выскочил, чучело ты немывое! — рассердился Семейка. — Глянь туда! Видишь, сколько народу прет? То казаки идут вам на смену. А начальником у нас Сорокоумов. Заместо вашего Поротова теперь будет. Он у нас мужик такой — не гляючи, сорокумов в заднюю часть плеткой вгоняет таким, как ты, чурбанам неотесанным.

— Батюшки светы! Владычица троеручица! — с дурашливым испугом закрестился казак, глядя на Семейку смеющимися глазами. — Ты уж, ежели что, заступись за меня, добрый человек.

— А чего ж, может, и впрямь придется за тебя заступиться, — смущенно пообещал Семейка. — Я за толмача при Сорокоумове. Как тебя звать-величать-то?

— Мята я. Со всех сторон мятый. Мят левый бок, мят правый бок, а только на мне все, как на кошке, вмиг заживает.

— А чего это, Мята, у вас в крепости такой шум и гам? Уж не гульба ли идет?

— Гульба и есть, — подтвердил Мята, скребя пятерней за пазухой и переступая босыми ногами. — Браги наварили вволю, закуски в реке плавают сколько хошь. Чего ж и не погулять, коль праздник настал христианский.

— Что-то я не соображу, какой сейчас праздник может быть.

— То есть как это какой праздник? Успенье мы празднуем.

— Чего-чего?.. Успенье-о-о? — разинул рот Семейка, онемев от удивления. — У вас тут мозги у всех повыскочили, что ли? Успенье ж еще две недели назад было!

— Знамо, что две недели назад, — сокрушенно согласился Мята. — А только мы еще с преображенья начали и до самого успенья докатились. А уж с успенья в такой гульбе разогнались, что никакой мочи нет остановиться...

При этих словах такая лукавая покорность судьбе отразилась на лице Мята, что Семейка едва не свалился с лошади от смеха.

— Всыплет, поди, всем вам Сорокоумов наш батогов за гульбу такую. Вы же целый месяц прогуляли. Наверно, и съестные припасы все поели. А у нас в отряде уже голодуха... Ну и дела-а-а!..

— Да уж чего уж, конечно уж, — снова согласился Мята. — Разгулялись мы с Поротовым нашим... Нету мочи остановиться.

— Ну, все уж к одному, — махнул рукой Семейка. — Ты пойди к Поротову, передай, что велено ему подворье для наших казаков готовить. А я вернусь, Сорокоумову доложу...

Мята ушел, забыв запереть ворота.

Не переборов искушения хоть одним глазом посмотреть, что творится в крепости, Семейка въехал в ворота.

На небольшой площади перед приказчиьей избой толпилось десятка три крепостных казаков и промышленных — почти все босоногие, бородатые, на плечах праздничные малиновые рубахи, за кушаками пистолы, а кое у кого и сабли нацеплены. Они оралы не разбери что, обнимались, клялись в дружбе — одним словом, гуляли.

Он ничего толком не успел сообразить, что-то обрушилось на него, сбило с ног, в голове загудело, и пошли вертеться огненные круги перед глазами.

Пришел он в себя, связанный по рукам и ногам. Пробивая толпу и размахивая саблей, к воротам крепости несясь дюжий казак — одна нога босая, другая в красном сапоге, на плечах чудом держится синий тонкого сукна кафтан, лицо сплошь заросло золотой курчавой бородой, из которой торчат только орлиный крючком нос да губы, да глаза горят бешеным огнем.

— Я им покажу, Сорокоумам, дульку в нос! — выкрикивал он на бегу. — Окромя меня, нету тут начальства! На стены, ребята! Встретим их огненным боем!

Заперев окованные медью ворота тяжелой орясиной,

он разогнал толпу, а сам нырнул в приказчиью избу, откуда вскоре выскочил с тяжелой пищалью на плече. Казаки, приставив лесенки, кидались с ружьями на стены.

«Бунт! — решил Семейка, сообразив, что бешеный казак был не кто иной, как сам Поротов. — Не видят разве с пьяных глаз, что у Сорокоумова пушки в отряде? Как предупредить кровопролитие?»

В сумятице, охватившей крепость, про Семейку забыли. Он катался по земле, стараясь освободиться от пут. Связали-таки некрепко — брага виновата. Освободив затекшие руки, Семейка непослушными, онемелыми пальцами развязал ноги и прыгнул на спину лошади, а оттуда — на стену палисада. Отряд был совсем близко.

— Бунт! — во всю глотку заорал Семейка. — Бу-у-унт!..

В третий раз ему выкрикнуть не дали — оглушили прикладом ружья, стащили за ноги внутрь острога. Били его остервенело — ногами босыми и ногами, обутыми в сапоги, — по груди, по ребрам...

Услышав предупредительный крик Семейки, Сорокоумов привстал в стременах.

— О каком это бунте толмач мой кричит? — спросил он Щипицына, не оборачиваясь.

— Поостеречься нам надо, — отозвался тот, ероша свою острую белую бороду. — Должно, служилые наши кодили тут и теперь крепость добром сдавать не хотят. Не первый это случай по воеводству. Велика казачкам рассыпаться в цепь, а пушкарям зарядить пушки картечью.

Сорокоумова долго упрашивать не пришлось. Уже сама возможность сопротивления со стороны Поротова привела его в ярость. Он приказал сиповщикам и барабанщикам играть бой.

Привычные ко всяким неожиданностям, казаки быстро сообразили, в чем дело, и по командам десятников разбежались в цепь, охватывая крепость полукольцом. Пушкари повернули орудия в сторону острога. Как бы подтверждая правильность высказанной Щипицыным догадки, крепостца опоясалась пороховым дымом, и грохот выстрелов донесся до Сорокоумова. Какой-то

промышленный схватился за живот и, выпучив глаза, стал валиться на землю. Из-под пальцев у него потекла струйка крови.

— Пали! — закричал пушкарям Сорокоумов, соскакивая с лошади и прячась за ее крупом.

Медные пушечки рывкнули грозно и дружно. С гулом пушек слились выстрелы ружей сорокоумовских казаков. Картечь и свинчатка хлестнули по палисаду, высекая щепу.

На этом бой и кончился. Услышав дикий визг картечи над головой, защитники крепости мгновенно протрезвели и, бросив стены, разбежались по домам. Крепостные ворота распахнулись как бы сами собой.

В остроге двое казаков было убито и пятеро ранено.

Поротов, запершись в приказной избе, выпалил через окно из пищали, чем немало переполошил вступивших в крепость казаков, и прокричал, что скорее убьет себя, чем сдастся.

Когда казаки выломали дверь и ворвались внутрь избы, они обнаружили Поротова храпящим на полу. Рядом с ним стоял ковш недопитой браги. Приказчик был мертвецки пьян. Сорокоумов постоял над ним, целя пистолем в голову, потом сплюнул в сердцах, засунул пистоль за кушак и приложился к недопитому ковшу.

На другой день они уже подружились с Поротовым и сидели в обнимку за одним столом, дуя брагу. Оба были довольны тем, что дурацкая эта баталия закончилась столь благополучно для обеих сторон.

Больше двух недель Семейка провалялся в постели. За это время Сорокоумов успел принять острожное имущество и отправить Поротова с командой в Якутск.

Семейку Сорокоумов устроил в приказчиьей избе, за перегородкой, приставив ухаживать за ним ламутку-травницу. Иногда начальник острога и сам заглядывал к Семейке, справлялся о самочувствии. Самоотверженность толмача, предупредившего отряд об опасности, заставила приказчика переменить отношение к Семейке. Он не раз выказывал ему знаки внимания и заботы.

— Ничего, парень ты молодой и крепкий, выкарабкаешься, — говорил он с уверенностью, сидя на табуретке возле Семейкиной постели и подпирая оплывшие

щеки кулаками. — Казачья кость не по зубам старухе-смерти.

Однако дружба у них не получалась, Семейка чувствовал, что от заботливости приказчика веет равнодушием и холодком.

По вечерам в приказчию избу являлся Щипицын, и они подолгу о чем-то беседовали с Сорокоумовым. Потом стали звать на эти беседы и Бакаулиных.

Однажды Семейка поймал обрывок разговора, который заставил его насторожиться.

— ...Раз удача привалила — держи ее крепче за хвост, — говорил Щипицын Сорокоумову. — Вернешься в Якутск через два года не нищим сыном боярским, а человеком с достатком. Твою долю соболей я провезу в Якутск тишком — воевода ни сном ни духом про то не услышит. А ясачная сборная казна будет вся в порядке — комар носа не подточит. Только не худо бы послать казаков в тайгу для отвода глаз на заготовку корабельного леса.

— Обойдется. Отпишу якутскому воеводе, что морем пройти в Камчатку нет никакой возможности. Нет ведь у нас ни корабельных мастеров, ни мореходов. Разве мы сумасшедшие, чтоб на верную гибель в море идти? Ничего, поднесу воеводе сороков пять соболей по возвращении в Якутск, так он небось в отписке сибирскому губернатору отпишет, что и судно мы построили, и в море ходили, и лишения многие претерпели на верной службе государю, да вышла, дескать, неудача.

Семейка слушал этот разговор, стиснув зубы, — глаза щипало от горечи. Значит, не бывать ему на Камчатке, не встретиться с друзьями. Как же жить ему здесь, среди этих волков?

Как-то раз в разговоре за стеной было упомянуто имя Умая. Промышленным, готовившимся к поездке по ламутским стойбищам, начальник острога обещал дать для охраны пятерых казаков. Если Щипицыну удастся напасть в тайге на след Умая, казакам надлежало погнаться за ним, схватить и доставить в крепость на суд.

Семейка решил попросить совета у Мятя. Этот его знакомец, поранив топором ногу накануне ухода поротовской команды в Якутск, вынужден был остаться в остроге и, судя по его виду, ничуть не сожалел об этом. Время от времени он заходил навестить Семейку. Прихрамывая, проходил за перегородку, нагибался, чтобы

не стукнуться головой о матицу, и, усевшись на неструганный табурет у Семейкиной постели, начинал вынимать из-за пазухи кульки с брусникой и голубицей, свертки с копчеными рыбьими «пупками». Потом готовил из ягод и рыбы толкушу, заправленную целебным медвежьим жиром.

Однажды Семейка решился рассказать ему про Умая, про опасность, какая нависла теперь над его другом.

Выслушав, Мята задумчиво свесил кудлатую голову. Потом поднял на Семейку серые строгие глаза.

— Через пару недель, говоришь, они в тайгу подадутся?

— Ага. Может, даже чуток попозже.

— Ну вот и хорошо. К тому времени ты совсем на ноги встанешь, да и моя нога как раз подживет. Промышленных мы опередим. Отправимся будто на охоту в тайгу, а там и разыщем твоего Умая.

Спустя несколько дней после этого разговора Семейка начал уже выходить из дома, хотя слабость все еще продолжала мучить его, — бродил, стараясь перебороть головокружение и тошноту.

В крепости между тем начинался разгул. Винокурня Щипицына делала свое дело. Не только казаки гуляли — из тайги приезжали за сивухой ламуты и даже коряки с севера. В амбар Щипицына с компанией уже потекли соболи и лисы, хотя по строжайшему указу Сибирского приказа запрещалось покупать шкурки у таежных жителей, пока они не сдадут государев пушной ясак.

По вечерам в приказчиьей избе дым стоял коромыслом, и Семейка, чтобы не слышать пьяных криков, грохота каблуков, ругани, иногда уходил ночевать к Мяте — в казачью казарму.

После бани, жарко истопленной Мятой, все болячки с Семейки как рукой сняло.

И вот наступил день, когда, отпросившись у Сорокумова на охоту за медведем, Мята с Семейкой отправились в тайгу.

— Ну вот, парень, — говорил Мята, закидывая котомку за плечи и усмехаясь. — Ты дивился, что мы с Поротовым нашим так долго успенье справляли. А оно, успенье-то, и при Сорокумове продолжается. Разгонятся казаки, сплошь до одного надают Щипицыну ка-

бальных записей, а мочи остановиться не будет. Потому как тут тоска и глухомань.

Западные ветры с гор согнали морось над острогом, очистили небо от облаков, и установилась та ясная погода, которая сопутствует осени на Ламском побережье.

Тропой, проторенной таежными охотниками в незапамятные времена, они поднимались вверх по реке Охоте. Верстах в десяти от острога, стеснив пойму, на реку надвинулся лиственничный лес. Был он в эту пору тих до звонкости, словно все живое затаилось в нем в ожидании снегов. Лиственницы, схваченные ночными заморозками, местами побурели и осыпали затвердевшую хвою. Высоко в небе с жалобным плачем тянулись на юг последние журавлиные клинья.

Речки в тайге обмелели, поклажа за спинами путников не была обременительной, и поэтому двигались они быстро.

К полудню отмахали верст двенадцать. Чем дальше уходили от острога, тем сильнее чувство свободы, раскованности овладевало ими.

На реке Каменушке устроили отдых. Семейка набрал хворосту, высек огонь и поставил на костер медный котелок с чистой ледяной водой. Чай пили долго, до пота.

Семейка рассказывал про Узеню, какой это добрый и веселый ламут, радовался предстоящей встрече с Умаем, звал Мяту уйти совсем в тайгу, жить с кочевниками, где нет ни воевод, ни приказчиков, ни плетей с батогами.

Мята слушал молча, ухмылялся в бороду, потом отставил кружку, глянул на товарища строгими серыми глазами:

— Крайность это, хлопчик. То не наша жизнь. Вот ежели б самим воевод скинуть — тут тебе и воля настала бы.

— Как воевод скинуть? — удивился Семейка. — Да разве ж царь позволит?

— То-то и оно, что не позволит. Пробовали уже... Про Разина Степана слышал?

— Слышал, — подтвердил Семейка, невольно понижая голос.

— А про Кондратия Булавина?

— И про Булавина разговоры слышал.

— Слышал!.. А я, брат, не только слышал, но и повидал кое-что.

— Дядя Мята, расскажите! — загорелись глаза у Семейки.

— Может, при случае и расскажу. А сейчас пора нам дальше топать.

Мята покряхтел и стал собирать котомку.

Вечером, когда они, поставив шалаш, устроились на ночлег в сухом, устланном хвоей распадке, Мята вытащил из котомки оловянную баклагу, поболтал, приложился к горлышку.

— Щипицынская отрава. Хоть и противна на вкус, а все-таки жилы согревает. Хлебнешь чуток?

Семейка отказался:

— Не умею я вино пить. С души воротит.

— Ну и правильно, коли не пьешь. Не умеешь, так и не учись. Веселит вино поначалу, да с похмелья больно тяжко.

Однако сам Мята еще дважды прикладывался к горлышку; скоро глаза его засветились озорством, он стал сыпать шутками да прибаутками, потом вдруг сразу посуровел, уставился на Семейку тяжело и непонятно:

— Полюбил я тебя, хлопчик... Хоть и девятнадцатый год тебе, а все ж не взрослый ты еще, и жить тебе сиротой круглым худо. В случае чего буду я тебе заступником, так и знай...

— Спаси бог тебя за это, Мята...

— Полюбил я тебя, да... А все-таки вынь-ка ты нательный крестик да поцелуй, что скорей язык проглотить, чем выдашь мою тайну...

Семейка, вытаращив глаза, поцеловал крестик.

— Клянусь, Мята, на этом крестике.

— Ну вот и ладно. И без крестного целования верю я тебе, а все ж ты услышишь сейчас такое, о чем только под клятву рассказать можно.

— Да меня хоть железом жги!..

— Верю. Потому и решился тебе рассказать. Так вот знай, что я не кто иной есть, как самый настоящий разбойник. Погулял я славно с Кондратием Булавиным на Дону. Да гульба-то нехорошо для нас кончилась. Большой кровью кончилась да виселицами. Много виселиц тогда плыло по Волге, много буйных головушек с плеч покатилося. Вот слушай...

В тот день, когда на реке Айдаре конники Кондратия Булавина напоролись на крепкую засаду и, наполовину поредев, с воем откатились назад, булавинский сотник Вершила с десятком казаков прорвался через неприятельские ряды и взял путь на север, в охваченную смутой Башкирию. В этом десятке был и Мята.

Вершиловцы вербовали новые конные сотни для Кондратия, намереваясь вскоре спуститься всей силой на Дон, чтобы соединиться там с Булавиным. У Вершилы набралось уже до тысячи сабель, когда пришла весть, что бунт Кондратия захлебнулся в крови, а сам Булавин застрелился.

Вершила больше года крутился по Верхней Волге, вступая в стычки с царскими отрядами. Рубились яростно и беспощадно, но восстание затухало. Башкирские князьки решили послать гонцов за помощью к туркам.

И тут Вершила откололся: негоже было христианину просить обороны у неверных.

Давно рассеялись по степи и полегли булавинские отряды, разбежались башкирские повстанцы, а Вершила все еще рыскал по лесам, пытаясь к Уралу.

На Урале наткнулись на заслоны дюжих, откормленных охранников заводчика Строганова — уральского царька, который от себя платил за каждую голову бунтовщика. Тут и настал конец вершиловскому отряду. Из последней стычки, потеряв коней, унесли ноги втроем: Вершила с Мятой да раненный в шею мужик Гаврила. Проплутав с неделю по лесным дебрям, надумали они уходить в Сибирь.

В пути легла зима. Чтобы не замерзнуть, решили напасть на купеческий караван, отбить сани и двигаться дальше конно.

Несколько суток, затаившись в лесу, сторожили у тракта добычу. Дважды проходили мимо санные обозы, но были они людны, и из каждой саней торчали ружья. Наконец ранним вечером донесся до них звон одинокого колокольчика. Гаврила, выворачивая раненую шею, глядел на дорогу из-за толстой ели, в то время как его товарищи, прячась поодаль с ружьями, ожидали знака. Прошло минут пять, и Гаврила махнул им рукой. Вершила с Мятой, увязая в снегу, поспешили к тракту. По дороге, запряженные парой рысаков, неслись легкие санки. В санках, кроме возницы, было двое закутанных в овчинные тулупы седоков. Гаврила кинулся

под морды рысаков и ловко остановил коней на всем скаку. Из санок грохнул выстрел. Вершиле с Мятёй пришлось тоже разрядить ружья. Оба седока были убиты сразу, однако возница, оказавшийся бывалым солдатом, выскочил из тулупа и, схватив ружье, успел спрятаться в лесу. Одна из пуль, пущенных солдатом, ударила Гаврилу в грудь, и он с хрипом повалился на дорогу, выпустив коней, которых успел перехватить Мята. Поспешно погрузив Гаврилу в санки, они пустили коней вскачь.

Часа через два Гаврила перестал дышать, и его зарыли в сугробе у тракта.

Дальше ехали вдвоем. Вершила обшарил мешки в санях и нашел запас провизии на целую неделю. Осматривая какую-то сумку, он удивленно потряс за плечо Мятё, правившего лошадьми. В сумке оказался пакет с царевым гербом на имя тобольского губернатора. Нашлись в возке и сопроводительные бумаги на убитых седоков.

Дальнейший путь Вершила с Мятёй, воспользовавшись чужими бумагами, совершали как важные особы. На всех станках они требовали без очереди лошадей на смену и без помех добрались до Тобольска. Не доезжая до города, возок изрубили и сожгли, уничтожили бумаги, сели верхом на лошадей, и вскоре в одном из трактиров города объявились два вольных человека, которые искали случая наняться на казачью государеву службу. Пропившийся писец, знавший ходы и выходы, за ведро медовухи выправил им нужные бумаги.

Завербовались они в команду, отбывшую в Якутск. И здесь случилась беда с Вершилой. Бешеный солдат, о котором они уже и думать забыли, добрался-таки до Тобольска и столкнулся в трактире носом к носу с Вершилой. Вершилу схватили и пытали на губернаторском дворе. Однако товарища он не выдал.

Мята отбыл с казачьей служилой командой в Якутск, откуда постарался убраться еще дальше.

Так два года назад он очутился в Охотском острожке.

— Теперь ты знаешь, кто я такой, — сказал Мята, заключив свой рассказ. — А ногу я нарочно себе поранил, чтоб в Якутск не отправляться с Поротовым. Боюсь, как бы меня там не опознали slučajем. Вот, брат, как...



Семейка смотрел на Мятю во все глаза, чувствуя ледок под ложечкой от страшной тайны, которую ему доверили.

— Дядя Мята, — вдруг убежденно сказал он. — Теперь нам и подавно одна дорога — в тайгу. Уж там-то вас никто не опознает. Разыщем Умая и Узеню, спросим, возьмут ли они нас к себе жить.

— Ну уж нет, хлопчик. В лесу мы прокиснем, сырая плесень душу обовьет... Мы люди поля. Жить со зверями не приучены, не скитники мы... Я вот прослышал, что Сорокоумов судно строить собирается, чтобы на Камчатку плыть, и надумал тоже на Камчатку податься.

— Эх, — горестно махнул Семейка рукой. — Никакого судна Сорокоумов строить не собирается.

— Как так? — удивился Мята. — На то ж, слышно, губернаторский приказ есть...

Семейка рассказал о подслушанной им беседе Сорокумова с промышленными. Мята задумался.

— Ну, воронье поганое, — заговорил он ожесточенно. — Мошна им всего дороже... — Помолчав, вдруг сжал кулаки. — Кажись, я знаю, как дело двинуть. Вот доберемся до ламутов.

Что он собирается предпринять, Мята так и не сказал. Неужели взбунтовать ламутов надумал? Залив костер, они полезли в шалаш. Мята долго ворочался в этот вечер, бормоча что-то угрожающее.

Ранним утром они продолжали путь по тайге.

Перегородив им путь, впереди поднялся кряж высокой сопки с каменистой вершиной. Река изгрызла боковину сопки, образовав крутой обрыв. Здесь тропа вильнула в сторону от воды и повела в самую чащобу леса. Теперь нашим путникам приходилось кое-где пускаться в ход топор, прорубаясь через дикие заросли ольхи и стланика. Тропа, огибая сопку, ползла все круче вверх, и вскоре стланик и ольха сменились березой и лиственницей, идти стало легче, и Мята снова засунул топор за пояс.

Глухое звериное урчание заставило их задержать шаг и снять с плеч ружья.

— Это там, слева, — срывающимся голосом ска-

зал Семейка, указывая в темные заросли за небольшой полянкой.

— Кажись, там, — согласился Мята, выставив в ту сторону ствол ружья. — Должно, медведь осерчал на кого-то.

В зарослях, куда они настороженно смотрели, раздался треск, кусты зашевелились, и на поляну выскочила человеческая фигурка с луком в руке, метнулась туда-сюда, пересекла поляну и, тонко вскрикнув, скрылась за стволом старой березы. Вслед за тем на поляну с ревом вымахнула бурая медведица. В два прыжка перескочила она поляну, устремилась к дереву, за которым искал спасения беглец. Ружья наших охотников грохнули одновременно. Медведица ринулась в сторону, потом ткнулась носом в мох и повалилась на бок, глухо завывая и скребя землю когтями. Через минуту она затихла.

За стволом дерева охотники обнаружили девочку-ламутку лет четырнадцати. Закрыв глаза, она что-то быстро бормотала — должно быть, какое-то заклинание. Одета она была в летний кожаный кафтан и оленьи штаны, на голове — расшитый крашеной шерстью малахай с белыми кистями, у ног, обутых по сезону в короткие бродни, лежал выроненный лук.

— Ты кто такая? — спросил Семейка по-ламутски. — Не бойся, зверя мы застрелили.

Услышав знакомую речь, девчонка приоткрыла глаза, щеки ее порозовели. Она несмело улыбнулась охотникам и стала сбивчиво объяснять, кто она и как все вышло.

Девочка, к радости охотников, оказалась внучкой Шолгуна, звали ее Лня. Была она глазаста и смешлива, на смуглых щеках заметно круглились ямочки. Поправилась она Семейке тем, что разговаривала с ними без всякого смущения, доверчиво делясь всеми своими страхами и в то же время подсмеиваясь над этими страхами, словно это не она, а кто-то другой несколько минут назад был на волосок от гибели.

Вскоре они сидели у костра в обществе Шолгуна и его сыновей. Старый Шолгун был еще крепок телом, костист и жилист, темное и сухое лицо его отличалось приветливостью и спокойствием выражения. Неожиданное появление путешественников не вызвало у него никакого удивления, в то время как трое его сыновей схва-

тились за расчехленные копья. Должно быть, еще раньше их насторожили выстрелы в тайге. Но тут Умай, узнав Семейку, радостно вскочил и кинулся обнимать друга.

В знак того, что они не оборотни, не злые духи, охотники кинули в костер по клочку шерсти из подкладок кафтанов, и их пригласили чаевать.

Лия, тараторя и закрывая глаза от ужаса, рассказывала, как она встретилась с медведицей и как появление охотников спасло ее от гибели. При этом она не забывала наливать Семейке чай в кружку и старалась держаться к нему поближе, словно ей все еще грозила опасность. Семейка смущался и краснел от этих знаков внимания. Братья Умая отправились свежевать тушу медведицы.

Семейка решил, что сейчас самое удобное время рассказать Шолгуну о грозящей Умаю опасности. Неизвестно, как восприняли бы неприятную новость братья Умая. Старый же Шолгун найдет в себе силы обсудить все спокойно. Но как приступить к разговору, если рядом Лия? Женщине не место там, где мужчины ведут серьезный разговор.

— Чихал ли сегодня утром костер? — начиная изда- лека, спросил Семейка старого Шолгуна.

Шолгун приветливо сощурил и без того узкие глаза и ответил, что сам слышал, как чихнул сегодня утром костер.

— У нас тоже утром чихал костер, — сообщил Семейка.

Этим он сразу расположил к себе Шолгуна, показав, что верит костру так же, как сами ламуты. А ламутам известно, что, если утром чихнул костер, значит, где-то близко добыча и надо осматривать тайгу. Убитая медведица — подтверждение тому, что костер сегодня принес охотникам удачу.

Семейка незаметно для Лии кинул в огонь кусочек сала. Сучья сердито зашипели и затрещали. Шолгун понял и велел девушке пойти к братьям на разделку туши. Лия недовольно насупилась (здесь, у костра, ей ведь было так интересно!), но тотчас же собралась и ушла.

— Какую весть принесли белые охотники? — встревоженно посмотрел на Семейку Шолгун. — Белый начальник сулит беду ламутам?

— Не всем ламутам, только вашему сыну и моему другу Умаю.

Умай вскочил на ноги. Ему явно не хватало сдержанности старого Шолгуна. Мята взял его за плечи и мягко, но настойчиво усадил рядом. Семейка рассказал о приказе Сорокоумова схватить Умая и доставить в острог. Поэтому Умаю лучше исчезнуть на некоторое время из стойбища.

Мята предложил план спасения Умая.

— Толмачь Шолгуну, что я говорить буду, — сказал он Семейке, морща в раздумье лоб. — Твой Умай может так услужить нам, как никто другой. Сочиню я письмо якутскому воеводе об этом, чтобы он государю отписал про нерадение сорокоумовское. Если Умай согласится в Якутск с письмом отправиться — Сорокоумову, считай, крышка.

Семейка от удивления вытаращил глаза.

— Ну! — задохся он от восторга. — Да как тебе такое в голову пришло! Я бы век не придумал такое.

На этот раз Семейка говорил долго и горячо.

Шолгун сразу оценил всю важность слов Мята. Здесь таилась возможность избавиться от грозящей его сыну опасности надолго, может быть, навсегда.

Шолгун отправил Умая подстрелить гуся. Гусиным пером, гусиной кровью на куске оленьей кожи, натянутом на распялку, сопя от напряжения, Мята писал отписку якутскому воеводе при свете костра. Затем он аккуратно свернул кожу и вручил Умаю. Тот спрятал ее за пазуху.

Лия между тем в большом чугуне сварила голову медведицы, и у костра началось пиршество. Медведь, как и все живое в тайге, бессмертен, считают ламуты. Он отдает охотнику только свою оболочку, а душа его живет. У него есть свой хозяин, к которому душа убитого медведя отправляется жаловаться, если ее обидели. Поэтому, вынимая глазное сало, Шолгун пел:

Карр! Карр!

Вот мы, вороны, вытаскиваем у тебя глаза.

Карр! Карр!

Мы выклеиваем у тебя глаза.

Душа медведицы при этом должна убедиться, что не люди едят глаза ее оболочки, а жадные вороны.

После пиршества череп медведицы поместили на особом помосте, тут же сооруженном из кольев и прутьев.

При этом череп был повернут носом к восходу, в знак того, что охотники желают душе медведицы добра и света.

Утром Умай с Лией проводили охотников до поляны, где была убита медведица. Умай обещал отправиться в Якутск дня через два — дорога предстояла длинная, и надо было хорошо подготовиться.

На прощанье Умай сказал, что у ламутов есть легенда, будто их братья живут за морем, через которое тыгмэр (царь) велит плыть на большой лодке. Если большую лодку построят — он тоже поплыл бы с Семейкой посмотреть, как живут братья ламутов.

Молодые ламуты долго махали им вслед с вершины сопки.

— Ну, брат, — заметил весело Мята, когда они отошли уже довольно далеко. — Быть тебе женихом. Девчонка-то, я заметил, сразу к тебе присохла.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Перемены в Охотске

Сибирский губернатор князь Матвей Петрович Гагарин был в тоске и смуте. Кажется, весь мир сговорился против него.

Вчера прибыли в Тобольск посланные государем из Архангельска мореходы и корабельные мастера, а с ними бумага с царевым гербом и печатью. В бумаге царь обзывал Матюшку Гагарина вором и нерадивцем и грозил спустить с него семь шкур. Доходят-де до него, государя, вести, что губернатор творит произвол над инородцами, торгует должностями, блюдет одну свою корысть, а его, великого государя, службу правит мешкотно и лениво. С теми делами-де он, государь, велит провести ревизию особо и пришлет в Тобольск своего прокурора проверить челобитья инородцев и служилых, обиженных губернатором, а ныне он, государь, велит Матюшке Гагарину немедленно отправить мореходов и корабельщиков в Охотск и извещать его обо всем ходе дела. А если-де приставленные к тому делу губер-

натором люди нерадение выкажут, то тех людей ковать в железа и казнить без всякого милосердия и пощады. Тем же, кто усердие в деле проявит, обещать царские награды и милости.

В тот час, когда губернатор читал письмо от государя, набившиеся к нему в приемную злыдни, все эти наезжие воеводы, завидовавшие положению князя, все стольники-фискалы, хитроглазые купцы-молодцы, казачьи атаманы, ненавидевшие губернатора за утеснение их воли, инородческие царьки и князцы, прибывшие в Тобольск с челобитными, — все они смотрели в рот Гагарину, пытаясь прочесть по его лицу, что сулит письмо царя Петра — милость или опалу.

Князь Матвей, прочтя письмо, напустил на лицо сияние и звал всех, кто тут был, вечером к себе на пир. При этом он заметил, что кое у кого физиономии вытянулись и глаза забегали растерянно. Немало их, немало их, кто порадовался бы его падению. Он позволял всей этой жадной своре лизать ему руку. Он был милостив, если хотел, — как и полагалось его высокой особе; но горе было тому, кто вызывал его неудовольствие. И только царь, этот нарышкинский выскочка, шпынял его как хотел. Получив столь обидное письмо, губернатор так напился на пиру, что свалился со стула.

В довершение всех бед на другое утро, когда у князя трещала с похмелья голова, стольник Максимов вручил ему отписку нового якутского воеводы. В отписке воевода сообщал, что посланный по повелению князя в Охотск сын боярский Сорокоумов от проводывання морского пути в Камчатку отступился, судно не строит и предается одному буйству да грабежу инородцев.

А ведь он, князь Гагарин, сообщил уже Петру, что на проводывание морского пути люди отправлены и судно заложено. На то, что Сорокоумов обижает инородцев, Гагарину плевать, но как быть с послушанием воли государя?.. Князю теперь выгодно забыть, что ни он, ни якутский воевода не снабдили Сорокоумова корабельными припасами, да и мореходов в его отряд не зачислили, надеясь подтолкнуть казаков к плаванью одними посулами. Думалось, государь смотрит ныне только на западные моря, от восточных отвернется. И вот на тебе!.. Винозат во всем, разумеется, один Сороко-

умов, а если это так, то после всего, что натворил сын боярский, голова его ничего не стоит. Согласно прямому указанию государя он велит заковать Сорокоумова в железа, кинуть в тюрьму, а в докладной государю не пожалеет гневных слов по поводу сорокоумовского нерадения.

Но кем теперь заменить сына боярского? Сколько ни перебирает он в голове людей, не разыскать ему никого, кто бы взялся за это дело. Каждый понимает, что, кроме неприятностей, ничего тут не получит. Ламское море никому не ведомо, бури и льды закроют путь суденышку. Попытка проведать морской путь на Камчатку скорее всего окончится гибелью судна. И даже если принудить кого-нибудь силой взяться за это дело, он, может быть, судно и построит, — корабельщики-то теперь есть, сам государь прислал их, — но как набрать команду на судно? Люди разбегутся. Кто же решится кинуть свою жизнь в ледяную пучину?

Только охочий человек может теперь выручить князя, да где его сыщешь?

Заметив все еще стоявшего в приемной стольника Максимова, опухшего, как и он сам с похмелья, князь вспомнил, что послать в морскую экспедицию не охочего человека, а какого-нибудь служилого «по очереди» посоветовал ему этот стольник, и теперь нашел, на кого излить свой гнев.

— Дубовая башка! Аспид! — затопал ногами князь на своего стольника. — Ты, ты подсунул мне этого Сорокоумова! Что мне ныне писать государю? Господи!.. Выпорю всех! В тюрьму тебя вместе с твоим Сорокоумовым кину!

Максимов, знавший содержание отписки якутского воеводы и не придавший ей особого значения, совсем помертвел с лица, увидев, в какую ярость повергла Гагарина эта отписка. Должно быть, губернатор, смекнул он, получил от государя далеко не такое приятное письмо, как хотел показать.

— Батюшка-князь, — пролепетал он трясущимися губами, пятась к двери, — бес меня попутал с этим Сорокоумовым. Вовек себе того не прошу!

Видя, что Максимов безропотно берет на себя одного всю вину, князь немного остыл.

— Будет, будет трястись, дурак, — заговорил он спокойнее. — Сядь-ка да пораскинь мозгой. Нет ли у

тебя на примете человека вместо Сорокоумова? Найдешь такого человека — вину твою прощу.

— Как же, как же, батюшка, — обрадованно затараторил стольник. — Вчерась на пиру своими ушами слышал, как якутский казачий пятидесятник Кузьма Соколов похвалялся спяну, что морем на Камчатку пройти может.

— Пустое! — отмахнулся Гагарин. — Мало ли кто чего во хмелю нагородит. Вчерась говорил — нынче откажется.

— Может, и пустое, — согласился Максимов. — Да вот беда, никого другого на примете у меня нету. Не худо бы спытать Соколова: может, и взаправду возьмется.

— Ну, гляди, стольник! Откажется казак — взыщу с тебя! — снова посуровел губернатор. — Зови его ко мне немедленно. Да крикни там, чтоб мне подали рассолу...

Чуть живой от страха стольник выскочил из ворот губернаторского дома и, подхватив полы кафтана, кинулся сломя голову на розыски Соколова.

В получасье Кузьма Соколов был сыскан и доставлен к губернатору. При этом, опасаясь, что казак, узнав, зачем его зовут, не только откажется от вчерашних слов, но и не захочет пойти к Гагарину, стольник не решился сказать Соколову, зачем его зовут.

— Помнишь ли, чем во хмелю вчера похвалялся? — грозно сведя брови, подступил губернатор к казаку, едва тот встал на пороге.

Соколов, человек крупный и жилистый, с широким лбом и русой гривой, трусом себя не считал, но тут, однако, струхнул порядочно. И что он такое мог наплести вчера? Смутно помнил, что разговор шел о Камчатке, где казаки во главе с Анцыферовым и Козыревским, взбунтовавшись от притеснений, порешили приказчиков и атамана Владимира Атласова и правили государеву службу в Большерецке по своему усмотрению — вольным казачьим кругом. Неужели что-нибудь крамольное ляпнул сдуру? Счет государь Петр за крамолу головы нещадно, ни чины, ни божья заступа тут не помогут. Самая поспешность, с какой его притащили к губернатору, заставляла предполагать худшее.

— Убей, князь, не помню, — замотал казак спутанной русой гривой. — Голову хмель туманил.

Гагарин озлился:

— Не помнишь, казак? Ну добро! Эй, кто там! Всыпьте казаку бато́гов, чтоб голова у него прояснела!

Мелко затрясся бородой пятидесятник: такого позора ему, вольному казачьему сыну, не перенести. Вот как жалует его губернатор за верную службу государю! Даже вины его не назвал — сразу в батоги.

— Помилуй, князь, — глухо и даже с угрозой взмолился казак, хватаясь за саблю. — Оговорил меня какой-нибудь служка твой... Купчишку бельмастого вчерась на застолье по уху треснул — помню. Больно занозист... На Камчатку морем пройти хвалился — тоже помню... А против государя, чтоб мне издохнуть, не сходя с места, ни слова не говорил. Не враг я государю, истинный крест — не враг. Не верь, князь, наговору.

— Эк намолол! — воскликнул губернатор, резким жестом отсылая прочь подступивших к Кузьме Соколову слуг. — Да ты садись, не надуйся. Не то лопнешь. Никто тебя не оговаривал. Да я бы оговору и не поверил — давно наслышан о твоей честной службе государю. Не убоишься ли морем на Камчатку пойти? О том весь спрос.

В приемной у Гагарина было жарко натоплено и душно. Князь Матвей растегнул свой зеленый — по моде — камзол и, опершись грудью о край березового полированного стола, ждал ответа.

В другое время Соколов, может быть, и задумался бы, прежде чем ответить, однако тут, обрадованный, что недоразумение разъяснилось и беда миновала, ответил сразу и твердо:

— Дело нешуточное, князь, понимаю. Однако думаю, что исполнить его можно. Тем паче теперь, когда государь прислал мореходов и корабельщиков. Сам я тоже в корабельном деле разумею.

— Ну, казак, озолочу тебя с головы до пяток, если дело исполнишь! — обрадованно стукнул пухлым кулаком по столу Гагарин. Ясная и разумная речь казака произвела на него впечатление, и он сразу уверовал в успех. — Окромя наших, есть тут еще один моряк, из пленных шведов, Андрей Буш, бери и его. Может, сгодится. Припасами корабельными тоже наделим, сколь достать в моих силах. Набирай охотников. Можешь от имени государя и моего обещать им чины и богатства.

Через полмесяца отбыл Кузьма Соколов из Тобольска в Якутск. В Тобольске удалось набрать более со-

рока охочих. Обоз с командой, припасами и обслугой растянулся на целую версту.

Крепко засели у Соколова в голове слова наказной памяти, составленной в канцелярии губернатора: «Не теряя времени, у Ламского моря построить теми присланными плотниками морские суда... с теми мореходцами и с плотниками и с служилыми людьми идти через Ламское море на Камчатский нос». Потом шло перечисление наград, которые ожидали команду после выполнения наказа. И в самом конце: «А буде вы в том пути учнете нерадение и мешкоту чинить... для каких своих прихотей, или не хотя великому государю служить, в тот путь вскоре не пойдете, или, не быв на Камчатке и не взяв на Камчатке от государезых людей ведения, возвратитесь, и за то вам, по указу великого государя, быть в смертной казни без всякого милосердия и пощады».

Эту последнюю часть наказной памяти князь Матвей правил собственной рукой. Ему было теперь не до шуток. От успеха экспедиции для него зависело слишком многое, чтобы упасть в попустительство.

Зато Соколову эта приписка испортила немало крови. Сам он верил в удачу. Но людей набрать в команду, несмотря на щедрые посулы, оказалось нелегко. Получалось: охота охотой, а при неудаче — голова с плеч. Кому ж тут до охоты? Однако смелых людей на Руси не занимать. Набрал-таки и наберет еще. В Якутске у него немало испытанных товарищей по походам в дальние земли.

Вся зима до самой той поры, как взломало лед на Охоте, прошла для Семейки однообразно и уныло. Что поделаешь, не было у него в остроге сверстников. Вот если бы Умай с Лней приехали...

Редко выпадал день, когда приезжал какой-нибудь инородческий князец от якутов, коряков либо ламутов и Сорокоумов звал Семейку толмачить. При этом Сорокоумов сердился на то, что Семейка плохо понимает корякский язык, и устраивал ему головомойку. Для Сорокоумова все инородцы были на одно лицо, и его выводило из себя, что говорят они на разных языках, будто немчины с англичанами либо шведами. Он подзревал Семейку в лукавстве.

Однообразие Семейкиной жизни скрашивало только обучение грамоте. Он уговорил Мяту научить его письму, и тот иногда выбирал время заняться с ним. К весне Семейка уже писал помаленьку, высовывая от усердия язык. Сорокоумов не мешал этим занятиям, а потом и вовсе освободил Мяту от других работ до той поры, пока Семейка в полную меру не постигнет письменную премудрость. Сам Сорокоумов писал плохо и с трудом. Пора было отписывать в Якутск и Тобольск о своих нелегких трудах по управлению Охотским краем. Толмач, став грамотен, будет писать под его диктовку. При этом он заставит Семейку держать язык за зубами, чтобы никто в остроге не узнал о содержании письма.

На пасху из тайги стали доходить тревожные вести: ламуты что-то замышляли.

Всю зиму сборщики ясака и промышленные разъезжали на оленьих упряжках от стойбища к стойбищу за пушниной. Государев ясак Сорокоумов приказал брать вдвое против прежнего; при этом сборщикам ясака надлежало объяснять это тем, что государю приходится вести войну и расходы растут, пусть инородцы потерпят. Щипицын с Бакаулиными, а за ними и другие промышленные, взяв в долю Сорокумова, требовали от инородцев за свои товары столько шкурок, что в стойбищах роптали. Кое-кто из промышленных старался и во все брать шкурки даром. При этом инородцев принуждали оставить все прочие работы, кроме охоты на пушных зверей. Лихорадка наживы охватила всех в остроге. Из многих ламутских стойбищ к весне молодежь куда-то исчезла. Вскоре стало известно, что ламутский князец Узенья собрал до пятисот копий и готовит нападение на острог. Сорокоумов отправил в стойбище Узени карательную партию. Но стойбище снялось с прежнего места, и разыскать непокорного князца не удалось.

После пасхи из тайги поспешно бежали в острог сборщики ясака и промышленные: ламуты начинали военные действия. Несколько казаков и промышленных, попав в засаду, достались в добычу волкам и воронам. Сорокоумов приказал готовить крепость к обороне. Тут и полетели для Семейки дни с сорочьей быстротой. С утра до темной ночи он носился по острогу, то помогая устанавливать пушку на тынной башенке, то пристраиваясь носить дрова к котлам, где варили смолу, то

взбираясь по лесенкам вместе с казаками на стены, когда возникали слухи, что ламуты уже подступили.

Однако неприятель медлил. То ли весенняя распутица мешала ламутам, то ли другая причина задерживала инородческих воинов, а только целый месяц минул в тревожном ожидании. Семейке хотелось, чтобы этого нападения вовсе не было. «Что, если среди нападающих будет Умай и его убьют? — думал он в тревоге. — Удалось ли Умаю добраться до Якутска и передать воеводе отписку Мяты?»

По истечении месяца караулы стали плохо нести службу. Сорокоумов вначале строго наказывал виновных, а потом и сам махнул рукой. Нападение неприятеля могло и вовсе не состояться. Постная жизнь ему тоже осточертела.

Конец ожиданию наступил под вечер накануне духовного дня.

— Ламуты идут!

— Ламуты идут!..

Этот крик поднял на ноги крепость.

Семейка, дремавший на штабеле бревен возле аманатской избы, кубарем скатился вниз и кинулся к тынной башенке. Народу туда набилось — настил трещал. Вскоре туда поднялся Сорокоумов с подозрной трубой. По левому берегу Охоты, из-за сопки, поросшей березняком, вытягивалась голова неприятельского отряда. Ламуты шли верхами на оленях и пеше. Потом началось непонятное.

— Ну-ка, глянь ты, — протянул Семейке подозрную трубу Сорокоумов. — У тебя глаз поострее. Кони там или мне померещилось?

Семейка действительно в круглом окне окуляра при свете клонившегося солнца увидел всадников на конях. Прошла еще минута, и он ясно разглядел казачьи пики и папахи.

— Братцы! Это ж не ламуты! Это наши! — радостно закричал он.

Из-за сопки вышло уже до трех десятков людей, а конца отряду все не было видно.

— Кого это еще черти несут? — озадаченно проговорил Сорокоумов, теперь и сам ясно разглядев казаков. — Может, якутский воевода про беспокойство ламутов прослышал и помощь мне шлет?

Всего в отряде, подходившем к острогу, насчитали

более полусотни людей. Среди казаков и служилых можно было разглядеть немало промышленных. Кто-то заметил даже женщину.

— Батюшки! Баб везут. Уж не наши ль женки решили нас проведать? — ахнул рядом с Семейкой кто-то.

— Ну, так и есть, так и есть, то подмога мне идет, — возбужденно говорил Сорокоумов. — Эй! Слушай мою команду! Готовь сивуху и постой для подмоги моей! День на веселье, три — на похмелье даю вам, казаки. А там грянем на тайгу сами. С такой тучей людей мы всех воров таежных по сырь-болотам разгоним и в реках перетопим.

У Семейки между тем мелькнула смутная догадка, которой он боялся поверить. Отыскав глазами Мяту, он разглядел в его лице напряженное раздумье.

— Дядя Мята, — спросил он шепотом, протолкавшись к нему, — может, наша взяла?

— Тише, хлопчик, тише, — положил Мята тяжелую руку на его плечо. — Дай-то бог, если так...

И, отпустив Семейкино плечо, перекрестился.

Веселью, которое сулил Сорокоумов казакам, не суждено было состояться.

Начальник вновь прибывшего отряда был крепкотел, широкоплеч и строг по виду. На широкий, медный от загара лоб его из-под папахи выбивалась грива густых русых волос. Большая, отросшая за дорогу борода красновато отблескивала в лучах заходящего солнца, над глазами нависали мохнатые брови. Под ним был низкорослый каурый жеребец, бока которого тяжело вздымались от усталости. Но седок держался в седле прямо и казался свежим, словно и не было позади тяжелого похода. Плечи его обтягивал невзрачный дорожный кафтан коричневого цвета, на ногах — простые оленьи бродни. Зато ножны и рукоять его сабли, заметил Семейка, были украшены серебром. Серебро поблескивало и на рукоятях пистолей, засунутых за красный кушак кафтана.

— Кто начальник острога? — спросил он требовательно, но спокойно, въехав в крепость.

Сорокоумов, успевший переодеться, чтобы встретить вновь прибывших, как и подобает его сану, вышел на крыльцо приказчицкой избы. На нем был алый бархатный кафтан, подбитый мехом, высокая соболья шапка

и красные сапоги. Синий, тяжелого шелка кушак, ножны сабли и перстни на его руках излучали сияние.

— Начальник острога, сын боярский Сорокоумов слушает тебя, — поклонился он с усмешкой превосходства. — С какими вестями прибыли, все ли здоровы в отряде?

— В отряде все здоровы, — отозвался прибывший, не отдавая поклона. — Слушай волю губернатора Сибири, сын боярский Сорокоумов, — продолжал он. — Слушайте вы, братья казаки! (Поклон теперь последовал.) Велено мне, якутскому казачьему пятидесятнику Соколову Кузьме, за нерадение в службе государю, за утеснение инородцев и разбой заковать тебя, сына боярского, в железа и отправить под конвоем в Якутск.

— Да как ты смеешь, паршивый казачишка, укачивать мне? — вскипел Сорокоумов. — Эй, в сабли его!

— Взять! — властно приказал пятидесятник, и тотчас же окружившие Сорокумова казаки сорвали с бывшего начальника саблю и отняли пистолы.

— Слушай дальше, братья казаки! — остановил Соколов возню возле Сорокумова. — По указу великого государя сибирский губернатор князь Матвей Петрович Гагарин приказал мне с командой строить в Охотске суда и, проведав Ламское море, путь морской в Камчатку открыть. Кто из вас охоту к сему делу проявит, тех ждут награды и чины. Остальным велю отбыть к воеводе в Якутск не мешкая, чтоб нести службу, какую воевода укажет. У меня все, братья казаки. Прошу и вас ответить, крепко ли стоит острог?

— Крепко-то крепко, атаман, да ламуты беспокойны, — выступил вперед коренастый казачий десятник. — Сидим как в осаде.

Соколов помрачнел. Он приказал отменить празднование прибытия, отправил дозор на близлежащую от острога сопку и созвал в приказную избу на совет казачьих старшин.

Казаки разошлись с совета за полночь. Соколов, пошатываясь от усталости, уже собирался задуть плошки, как вдруг взгляд его упал на светловолосую Семейкину голову, торчавшую из-за вороха тряпья с печки.

— А ты как сюда попал? — устало удивился Соколов.

— Я тут живу, — тихо отозвался Семейка.

— Как так живешь? Это изба приказчицья. Теперь моя, стало быть.

— А я куда же?

— А где ты раньше был?

— Да здесь же и был. Я толмачом у Сорокоумова служу. При нем и жил. В чулане да на печке.

— Толмачом?.. — протяжно переспросил Соколов и, уставив на Семейку темные карие глаза, вдруг оживился: — А ты как толмачить умеешь?

— По-разному. По-ламутски хорошо, а по-корякски и якутски хуже.

— Ишь ты! — одобрительно подмигнул Соколов. — Знай наших! Я, брат, тоже немало инородческих говоров знаю, а вот ламутский для меня — темный лес. Где ж ты это научился?

Семейка вначале хотел соврать. Кто его знает, что скажет Соколов, узнав, что он больше года делил тюремный сырой сруб с непокорным инородческим князем. Но строгое и вместе с тем открытое лицо Соколова понравилось ему, и он сбивчиво стал рассказывать правду.

— Постой, постой! — вдруг остановил его Соколов. — Да ты чей будешь-то?

— Ярыгин я. Дмитрия Ярыгина сын.

— Дмитрия Ярыгина! Вот так оказия! Да мы ж с твоим батькой вместе пуд соли съели. И голодали, и холодали, и от стрел инородческих под одним пнем хоронились. Ну, брат, тогда лежи. Со мной пока жить будешь. А там погляжу, как тебя в Якутск из этой пустыни отправить.

— Дядя Кузьма! — взмолился Семейка. — Не отсылайте меня в Якутск. Что я там делать буду? Оставьте меня при себе толмачом. Я вам сгожусь. Надумали мы с Мяткой на Камчатку плыть, как судно построят.

— Это какой Мята? — насторожился Соколов. — Что-то имя знакомое.

У Семейки захолонуло сердце. Неужели губернатор велел Соколову сыскать бунтовщика Мятку и отправить к воеводе на расправу? И зачем он только упомянул про Мятку?

— Мята хороший! — отчаянным шепотом выдал он. — Зря вы про него!

— То есть как это зря? Совсем не зря. Ясно, что он

казак толковый, если, государеву пользу блюда, написал новому воеводе про Сорокоумова.

— Это вы вон как Мяту знаете, — перевел дух Семейка.

— А как я его еще должен знать? Раньше мы с ним знакомства не водили. А ежели он на Камчатку со мной пойдет, мы и познакомимся поближе.

— А я его лучше всех знаю! — выпалил Семейка с такой гордостью, словно Мята был именитее самого царя. И стал рассказывать о своих приключениях с Мятой в тайге.

Соколов, несмотря на то, что ему с трудом удавалось разлепить набрякшие усталостью веки, внимательно слушал. Про встречу с Шолгуном он даже попросил повторить в подробностях. И когда Семейка закончил, Соколов смотрел на него уже с новым интересом.

— А ты, брат, я гляжу, и впрямь можешь мне здорово согдиться. Беру тебя, хлопчик, толмачом на полное содержание. Мяту завтра приведи ко мне. А теперь спать. Не то я с ног свалюсь.

— Дядя Кузьма... — начал было Семейка, собираясь исблагодарить Соколова, но тот властным жестом остановил его и снова приказал спать.

Семейка в самом деле уснул очень быстро, с улыбкой на лице. Сквозь сон он вначале слышал, как перекликались часовые на сторожевых башенках, потом их голоса как-то сразу расплылись и исчезли.

Кроме Семейки с Мятой, никто из крепостных казаков не решился перейти под команду Соколова. Одних страшила грозная приписка к наказной памяти, сулившая смертную казнь за неудачу плавания, другие боялись моря, а большинство настолько истосковалось по семьям, оставленным в Якутске, что никакие чины и награды не могли их удержать. Соколов не стал никого неволить. Он знал сам, сколь нерадостна долгая жизнь в окруженных дикой тайгой острожках за сотни и тысячи верст от дому. Он сам испытал полной мерой всю глубину тревоги за оставленную в далеком Якутске семью. Проходят годы, темнеет и кособочится изба, в которой остались жена и малые ребятишки. Денежное и хлебное государево жалованье кормильца все скудеет и скудеет, потому что воевода за неимением вестей от

сгинувшего в дальних краях казака уже и сам не знает, несет ли еще казак службу государю, не сложил ли он уже голову в снегах. И может, он зря держит семью казака на содержании. Случается нередко так, что, когда казак возвращается домой, малые дети его, достигнув лет восьми-десяти, ходят по миру, прося подаяния, чтобы прокормить и себя, и мать.

Соколов поспешил выпроводить сорокоумовских казаков из острога не только потому, что те сами поскорей рвались домой, но более всего по той причине, что хмельная, обленившаяся сорокоумовская команда могла заразить разгулом и его людей.

Через три дня корабельный плотник Кирилл Плоских с ватагой лесорубов отбыл под усиленной казачьей охраной на заготовку леса вверх по Охоте. Лесу требовалось много — не только на судно, но и на постройки под жилье, под амбары и склады. С лесорубами Соколов отправил Семейку, наказав в случае угрозы со стороны ламутов войти в переговоры с ними, добиться свидания с Шолгуном и, рассказав о переменах в крепости, предотвратить нападение на острог.

Особой заботой для начальника острога стали промышленные, прибывшие с сорокоумовской командой. Никому из них Соколов не разрешил покидать крепость до особого распоряжения. Тем, кто просился в Якутск с отбывавшими казаками, выезд он также запретил.

Управившись с прочими делами, начальник острога созвал их всех в приказчию избу. Рассадив промышленных по лавкам, Соколов поднялся из-за стола.

— Поклон вам низкий, купцы-молодцы, — начал он с ожесточением. — Растолкуйте мне, человеку глупому и темному, как это вам удалось взбунтовать всю тайгу и тем стать поперек дороги делу государеву?

— Чего валишь все на нас? Спроси с Сорокумова. Он тут был всему голова! — вскочил с лавки рябой горбоносый промышленный.

— С Сорокумова спросит воевода в Якутске! — наливаясь гневом, ударил по столу кулаком Соколов. — Быть ему в железзах до скончания живота! А с вас спрошу я, спрошу строго и по всей справедливости! Ответьте мне, что брали и что давали взамен.

Промышленные, притихнув, молчали.

— Знаю я, что вы давали взамен! — продолжал сурово Соколов. — Год вели торговлю, а амбары у вас

все еще полны товарами. Давали малость, пустяк, а брали сам на сто?

— Дозволь слово молвить, Кузьма, — спокойно поднялся с лавки Щипицын, который рассчитывал на то, что Соколов покипит-покипит да и остынет. — Вот ты говоришь: сам на сто. Высоко берешь. Столь мы не брали.

— А мы в амбарах ваших поглядим! — усмехнулся колюче Соколов.

— А хоть бы и сам на сто! — заносчиво продолжал Щипицын. — Разве ты не знаешь, на что мы идем? Или нам головы не жалко? Вместе с вами, казаками, мы мрем лютой смертью от холода и голода, вместе с вами у нас десны гниют, выпадают зубы и волосы от хворобы, вместе с вами стережет нас стрела инородческая. Во сколько ж ты нашу жизнь ценишь, Кузьма?

— Во, во! — поддержали Щипицына промышленные.

— Ты об нас, Кузьма, подумал? Или некрещеные инородцы ближе твоему сердцу?

— И это вы-то крещеные? Да где же на вас крест? — сузил глаза Соколов. — Где крест на вас, я спрашиваю, ежели вы принуждаете инородцев одну пушнину промышлять, забыв, что им еще кормить семьи надо? Иль вы не знаете, что инородец кормит семью охотой на зверя, шкура которого вам не нужна? Пошто в голод целые стойбища повергли? Иль у них детишек малых нету? Иль они есть не просят? Иль они вашим одекуем да сивухой кормить голодные рты будут? Где же крест на вас, я спрашиваю? Нету креста на вас! В гнус превратились! Присосались — не отодрать!

— Пошто торговых людей унижаешь, Кузьма? — озлился Щипицын. — Тебе ведомо, что нас сам государь жалует и привечает. Мы противу ясачной подати даем государю вдвое рыбьего зуба и мягкой рухляди. И государь ценит нас за это.

— Государь ценит купцов, а не насильников и разбойников, — прервал его Соколов. — Не пользуйся именем государя ради корысти своей. Вот мое решение. Половину товаров, что у вас в амбарах, я отписываю на государя. Как только установится мир с инородцами, прикажу развезти товары по стойбищам. Чтоб долги ваши покрыть. Не хватит — добавлю из госуда-

ревой подарочной казны. А теперь — клади ключи на стол от амбаров!

— Ключ-у-учи?! — захохотал Шипицын. — Да кто ж тебе позволит нашим добром распоряжаться? На то и сам воевода решиться не мог бы. Аль ты разбоем надумал заняться? Мы ведь и до государя идти можем. Он-то нас выслушает! Не миновать тебе тогда пытошных расспросов, пошто государевых торговых людей грабил.

— А ты мне не грози! — спокойно сказал Соколов. — Не только перед воеводой, и перед самим государем ответ держать я не боюсь. Как сказал — так и будет. Ключи на стол.

Увидев, что Соколов не шутит, промышленные впали в ярость.

— На-кася, выкуси наши ключи! — закричал рябой промышленный. — Можешь голову снять, а ключи не дадим!

— Не дадим! Грабеж! Глядите на этого басурмана треклятого! — загалдели в ярости промышленные, обступая Соколова.

Соколов подал знак, и в избу, гремя прикладами пищалей, вошли несколько казаков.

Промышленные отпрянули от стола к лавкам.

— Вот что, купцы-молодцы! — повысил голос Соколов. — Я ведь вас не шутки шутить звал. В тайге — бунт. Вина — ваша. Тут мне пытошными расспросами кто-то грозил. Будут вам такие расспросы. Сегодня же прикажу дыбу строить. Тогда прояснеет, кто сколько наворовал. Сдается мне, что придется забрать не только половину, а и все ваши товары. Ну, если кое-кто после дыбы богу душу отдаст — дело не мое. Сами напросились.

Невнятно бормоча проклятия, промышленные кидали ключи на стол начальника острога.

Целый день перетаскивали казаки товары из амбаров провинившихся промышленных в склад с государственной подарочной казной.

Уладив дела с промышленными, Соколов с особой тревогой ждал вестей из тайги. Скоро стали прибывать первые сплотки леса. Лес громоздился в штабелях у стен острога, часть его Соколов приказал сплавить вниз, к устью Охоты. Здесь, в лимане, образованном при впадении в море Охоты и Кухтуя, на берегу тихой заводи,

и решено было закладывать верфь. Тут строились высокие козлы для пилки бревен, длинные навесы на столбах для сушки леса, чаны для запарки брусьев остова судна, жилые постройки, склад и баня.

В остроге также целыми днями стучали топоры. Две большие казармы, вдвинувшись в палисад, открыли узкие бойницы в сторону леса. Всю эту стену крепости теперь сплошь составляли поставленные впритык друг к другу постройки.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Пожар

Вечерний отлив отступал все дальше. Отливная полоса светилась влажным синеватым блеском, словно гладкий круп лошади, которую заботливо выскреб хозяин. Над зыбучей белой бахромой пятившегося прибоя хищно кричали чайки. То одна из них, то другая кидалась на волну и взмывала вверх с серебристой добычей в клюве.

Вот уже вторую неделю стояла небывалая для этих мест теплынь. Даже вечером можно было ходить в одной рубахе. Ветер с моря не успевал за ночь остудить землю.

Однако теплые дни не радовали Соколова. Тревожное положение в тайге не давало ему покоя.

Время от времени он вглядывался в синюю суетную даль моря и вздыхал. Близко ли, далеко ли от этих берегов выступала из морских пучин Камчатка, никто не знал. Слышал он, что года три назад охотский приказчик Гуторов попытался этим путем пробиться на Камчатку, но море выбросило его дощаники на берег и разбило в щепки. У Гуторова не было большого судна — это верно. Ныне строится крепкая посудина, подобная тем лодиям, на каких архангелогородцы хаживали в Мезень, Пусторецкий острог и на Новую Землю. Но там море проводывали веками, от земли к земле пробирались ощупью. Немало мореходов в тех краях пошло на дно, покуда удалось выпытать море. А здесь

они первые. Не то что плыть, подумать — и то страшно!

За Чертовой коргой, названной так по той причине, что эхо человеческого голоса здесь подолгу металось среди каменных скал высокого мыса, навевая думы о нечистой силе, навстречу Соколову, вспугнув чаек, вышел человек. Он появился из-за поворота так неожиданно, что Соколов вздрогнул.

— Фу, леший тебя побери, напугал ты меня, — облегченно рассмеялся он, узнав морехода Треску. — Откуда ты взялся тут?

Треска, давно не стриженный, в измазанной донельзя холщовой рубахе и грязных портах, оскалился до ушей.

— С морем эвот гуторию!

— Ну и как оно?

— А ничего, — тряхнул светлым чубом Треска.

Разлохматив пятерней голову и курчавую бороду, чтобы вытряхнуть из волос песок, он прижмурил круглые зеленоватые, как у кота, глаза и хмыкнул:

— Море как море. Куча воды. Пообомнем ему бока.

— Ты аль на пузе перед ним ползал? От порток до ушей весь извозился.

Треска смущенно переступил босыми ногами, однако ответил серьезно:

— Приходится, Кузьма, и на пузе ползать. Я записываю для себя: когда приходит вода, когда уходит и высока ли. Мы тут, за мысом, с твоим Семейкой столб водомерный установили, разметив его на дюймы. Будем приставать к Камчатке — это нам крепко сгодится.

— То-то я замечаю, что Семейка мой все куда-то пропадать начал. Он, стало быть, возле тебя крутится?

— Да вот, подружились мы. Надумал он мореходное дело постичь. Мне не жалко. Учю, что сам ведаю. Паренек смысленный и грамоте знает.

— Грамоте знает? — удивился Соколов. — Откуда же это мой толмач еще и грамоте научился?

— Да будто бы Мята его натаскивал. Так он мне говорил.

— А где он сам-то?

— Да позади идет. Эвон голова промеж камней мелькает. Раковины чудные собирал. Ему у моря все интересно. Воды совсем не боится.

Семейка, увидев Соколова, остановился в отдале-

нии, придерживая одной рукой подол рубахи, где с ко-
стяным стуком перекатывались собранные им ракови-
ны. Он решил, что в острог приехал наконец какой-
нибудь инородческий князец, и Соколову пришлось
разыскивать своего толмача.

— Подойди-ка, подойди, — поманил Соколов Семей-
ку пальцем. — Учить тебя надо науке мореходства, вот
что я тебе скажу. Раз тяга у тебя к этому делу появи-
лась, так надо своего добиваться.

— А где учить? — махнул рукой Треска. — Сам я
больше на глазок учился мореходству, потому как у нас
все в роду мореходы. А теперь государь навигацкую нау-
ку в морской школе заставляет постигать. Есть такая
школа в Москве, в Сухаревой башне устроена. Я, как
проезжал Москвой, заходил туда. Чтоб в ту школу по-
пасть, надо и счет разуметь, а кроме того, уметь чер-
тежи снимать. А я в этом худо смыслю.

— Попасть бы побыстрее на Камчатку, — сказал
Семейка. — Там Иван Козыревский меня бы подучил
снятию чертежей и счету.

— То верно, — подтвердил Соколов. — Козырев-
ские — все грамотеи. А ты что, брат, с Иваном хорошо
знаком?

— Хорошо знаком?! — воскликнул Семейка. — Да
мы с ним...

И тут он начал рассказывать обо всех своих при-
ключениях на Камчатке: о гибели Большерецка, о бег-
стве их с Завиной из камчадальского плена, о нападе-
нии Канача на вновь отстроенный Большерецкий острог,
о походе на Курилы...

— Ну, брат, успел ты хлебнуть всякого лиха, — по-
качал головой Соколов. — А до Камчатки мы доберем-
ся, не сомневайся. Встретишься еще с друзьями. Ну а
после плаванья — смотри сам. Захочешь остаться на
Камчатке — оставайся, надумаешь всерьез навигацко-
му делу учиться — похлопочу за тебя перед воеводой,
чтоб отпустил он тебя в Москву. Если экспедиция на-
ша будет удачной, воевода, полагаю, не откажет мне,
выдаст тебе бумагу на выход в Москву. Воеводе ведомо,
как государь о флоте российском печется. Побили мы
шведов под Полтавой, а конца войне все еще не видно.
Шведы еще на море сильны. Пока флот их не перето-
пим в пучинах, на мир они не пойдут, потому как боль-

но горды. Не хотят мириться с тем, что держава их приходит в упадок.

— Это уж точно, — подтвердил и Треска. — Флот у них знатный. Было дело, подходили их военные корабли и к Архангельску, чтобы город сжечь. Да подходов в бухту не знали. Поймали двух наших рыбаков и велели к Архангельску суда их вести. Да не на тех напали. Лоцманы наши посадили ихние корабли на мель. Так и не удалось им к городу подойти.

— Может, и мне удастся в морских сражениях побывать, — размышлял Семейка. — Война, сами говорите, еще долго протянется.

— Ну, брат, ты прямо сразу уж и в сражение кинулся, — рассмеялся Соколов.

Обратно шли вместе. Поняв, что никакой князец в острог не приезжал и Соколов не разыскивал его, чтоб толмачить, Семейка совсем повеселел. Он даже стал объяснять Соколову, какие бывают паруса, как их ставить и как это возможно плавать против ветра.

За поворотом, из-под черного обрыва, кто-то метнулся навстречу идущим. Завидев людей, кинулся в сторону, вскарабкался со звериной ловкостью на кручу и скрылся наверху, в тундре. Все это произошло столь быстро, что только шорох камней, осыпавшихся с кручи, подтверждал: не привиделось.

Ошеломленный, Соколов сплюнул:

— Вечно у этой Чертовой корги что-нибудь случается. То человека придавит, то зверь неведомый верещит. Да ты-то чего молчишь, иль не видел? — толкнул он Треску в плечо.

— Видеть-то видел, — с хрипотцой в голосе отозвался мореход, — да сообразить не могу, что бы это значило. Уж не ламуты ли подошли к острогу и верфи?

Не сговариваясь, заспешили к устью Охоты. Уже издали заметили во мраке пламя, полыхавшее над верфью. Ветерок, дувший навстречу, нес горьковатый запах дыма...

Сгорело три штабеля леса, остов лодии и недостроенная казарма.

— Все, — выдохнул Соколов. — Теперь будущим летом на Камчатку не попасть. Пока лесу заново неготовим, реки станут. На оленях лес не вывезешь.

Бледный, с непокрытой головой бродил он по пожарищу. Угадывался чей-то злой умысел. От казармы штабеля леса и остов лодии находились далеко, и пламя вряд ли могло само собой перекинуться на них. Было ясно, поджигали сразу в двух местах. На верфи в этот вечер, как на грех, кроме часового Микешки, никого не было. Шла последняя осенняя горбуша, и все плотники и казаки отправились на рыбалку в устье Кухтуя. Пока рыбаки бежали на верфь, пламя сделало свою работу.

Выяснить ничего не удалось. Микешка куда-то исчез, словно сквозь землю провалился. Соколов узнал только одно: утром на верфь приходил Петр Бакаулин и о чем-то долго толковал с караульным. В крепости ни Петра, ни Микешки не нашли. Соколов приказал обшарить все окрестности острога, но поиски были напрасны.

Брат Петра, Григорий Бакаулин, на расспросы Соколова разводил руками.

— Я Петру не нянька. Куда он девался, не ведаю. Об чем они с Микешкой разговоры разговаривали — тоже не знаю. Ежели Петра украли ламуты, туда ему и дорога!

Соколову было известно, что неделю назад промышленные перессорились. Ввиду того, что торговля спиртным в остроге была запрещена, а в ламутские стойбища ехать никто не решался, промышленные от безделья затеяли дележ мягкой рухляди. При дележе Петр Бакаулин отвесил Щипицыну здоровую оплеуху. За Щипицына вступился Григорий. Разнимали драку всем острогом. Соколов не сомневался, что Григорий не испытывал к Петру особых братских чувств и, если бы ему было что-то известно о нем, выложил бы как на духу.

Щипицын тоже ни о Петре, ни о Микешке ничего не знал.

— Экое несчастье-то, Кузьма, — выражал торговец притворное сочувствие Соколову. — И надо же, чтоб погода такая выдалась. Сушь кругом, трава — будто порох. Стукни, кажись, каблуком — вмиг вспыхнет. Легко было ламутам поджог устраивать.

— Ты тоже думаешь, что это ламуты?

— А то кто же еще? В крепости все об этом говорят. Что ж теперь тебе будет-то, Кузьма? От воеводы

якутского не скроешь, что верфь не уберег. Поди, отзовут тебя, да еще в тюрьму кинут. У воеводы рука тяжелая.

Щипицын открыто злорадствовал. У Соколова не раз мелькала мысль: уж не Щипицын ли с промышленными ему отомстили? Однако у них вряд ли хватило бы духу встать поперек дороги делу государеву: в случае, если бы что-то открылось, им грозила смерть. Доказательств у Соколова никаких на то не было, кроме подозрительного поведения пропавшего Петра Бакаулина.

— А ты не томись, мил человек, — сдержанно ответил он Щипицыну. — Лесу в тайге много, приплывим заново.

— Ну, ну, удачи тебе, Кузьма, — ядовито усмехнулся Щипицын.

Соколову предлагали готовить карательную партию. Сил в остроге хватило бы, чтобы смирить край. Однако Соколов медлил.

Он собрал круг.

— Братья казаки! — начал он. — Ведомо вам, что старший ламутский князец Шолгун договорился с воеводой о вечном мире?

— Ведомо! — ответили казаки. — Однако не мы мир нарушаем. То Шолгун рушит договор.

— То не Шолгун, — сказал Соколов. — То беглый аманат князец Узенья тайгу мутит. Чую я, что, если бы то был Шолгун, ламуты уже давно подступили бы к крепости. Поеду я к Шолгуну, спрошу, почему ламуты слова не держат. Ежели не договоримся, тогда выступим оружно.

— Так он тебя и отпустит, — возражали казаки. — Не суй, батько, голову в пекло!

— Знаю, казаки, коварство тайги. Но знаю и то, что Шолгун войны не хочет. Сдается мне, что он сам не знает, как надеть хомут на Узенью. Вам ведомо, что сорокоумовские казаки да промышленные нашкодили в тайге. Поеду ответ держать за чужие грехи, отступную и подарочную казну повезу.

— Не ходи, батько, в тайгу! — настаивали казаки. — Выключают твои глаза птицы-вороны! Не кидай крепость!

Однако Соколов остался непреклонен:

— Велю я вам сидеть в остроге смирно, оружно не

выступать, а ждать моего возвращения. А теперь прощайте.

Отвесив кругу поясной поклон, Соколов удалился в избу.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Завада

Путешествие на конях по охотской тайге почти не дает выигрыша во времени по сравнению с пешей ходьбой. Уже в десяти верстах от острога сопки встают столь густо, что коню не разбежаться. Тропа то круто уходит вверх, то столь же круто падает со склона. За первый день пути отъехали от острога не более тридцати верст. Кроме Мяты с Семейкой, в путешествие напросился Треска. Ему давно хотелось побывать в ламутском стойбище, посмотреть таежную жизнь.

К вечеру они благополучно добрались до Орлиного ручья и, выбрав сухое открытое место на берегу, остановились на ночлег. Сняв выюки, отпустили стреноженных лошадей пастись, поставили палатку и, не хоронясь, развели костер. В случае, если бы они, не добравшись до стойбища Шолгуна, попали в руки воинов Узени, Соколов рассчитывал благодаря знакомству Семейки с воинственным князем вступить с ними в переговоры, а там добиться свидания с самим Шолгуном. Сорвать этот замысел могло только одно: внезапное нападение. Исключать эту опасность Соколов не мог. Однако он считал, что такое нападение маловероятно. По малолюдству ламуты не могли посчитать их за военную экспедицию. Кроме того, пучок белых перьев на пике Соколова ясно должен был указать ламутам, что казаки следуют с целью мирных переговоров.

В том месте, где они остановились на ночлег, ручей Орлиный образует почти замкнутую петлю, со всех сторон окружая водой место стоянки. Почва на мысу твердая и каменистая, поросшая коротким светло-коричневым мохом. Многочисленные остатки костров говорили о том, что мысом издревле пользуются таежные путники.

Семейка углядел куропаток и пошел за ними, надеясь подстрелить.

— Как бы его самого ламуты в тайге не подстрелили, — с сомнением сказал Мята. — Зря, Кузьма, отпустил парня.

— Да что с ним станется, — беззаботно ответил Соколов. — Семейка в этих местах сам ламут.

Однако поспела уже уха и на тайгу спустились сумерки, а Семейка все не возвращался. Теперь беспокоился и Соколов.

Прождав еще с полчаса, решили отправиться на поиски. Дав несколько выстрелов и не получив ответа, в полной тьме вернулись обратно, держась на свет костра.

Всем троим было не до сна, и они сидели у костра, поддерживая пламя и надеясь, что Семейка выйдет на свет.

Преследуя куропаток, Семейка миновал распадка два или три и, почувствовав, что зашел слишком далеко, решил возвращаться. Куропатки так и не подпустили его на выстрел.

Выбравшись на седловину, он долго всматривался в конец длинного, верст на пять, распадка и наконец разглядел костер. У Семейки сжалось сердце. Костер был так далеко, что он вряд ли успеет в лагерь до полной темноты. Как он успел забрести в такую даль, оставалось непонятным. Однако размышлять было некогда.

Не переводя дыхания, добежал он до ольховых зарослей. Дорогу поверху закрыли ползучие кедрачи.

Дальше Семейка пробирался по выстеленному галькой логу ручья. Вода в ручье не достигала и щиколоток, однако время от времени он проваливался в ямы по колено, и вскоре ноги у него промокли и зашлись от стужи. Сумерки совсем затопили распадок, и только на воде лежали светлые отблески. Так он прошел с версту, исцарапав лицо и руки о ветви. Дальше ручей стал глубок, и, провалившись в воду по пояс, Семейка выбрался на берег. К счастью, ольховник здесь стал крупнее, и теперь можно было пробираться между его стволами.

Тьма становилась все гуще и беспрогляднее, она ощутимо обволакивала тело, толкала в спину. Семейка

шел, почти зажмурившись, боясь встретиться с горящими глазами рыси либо росомахи или услышать рядом тяжелое дыхание медведя. Слух его, привыкнув к тишине, за сонным лепетом струи ручья улавливал визгливое мяуканье и глухое звериное ворчание. Слева злобно и трусливо протягивала какая-то тварь и метнулась прочь. И тотчас же гулко, точно в бочку, переполнив лес, заухал филлин.

Семейка снял из-за спины самопал и положил на согнутую руку. Самопал был заряжен мелкой сечкой и являлся плохой защитой. Но грохот выстрела способен был отпугнуть зверя. По крайней мере, гул выстрела мог долететь до лагеря, дал бы знать товарищам, где его искать.

Семейку поразила простая мысль. Если они ищут его, то почему не оповестили об этом выстрелом? Он придержал дыхание, напрягая слух до звона в ушах, прислушался. И в этот миг произошло чудо, ему показалось, что он действительно расслышал выстрелы: вначале один, а потом два. Но выстрелы прозвучали совсем не в той стороне, куда он шел, а позади — и так далеко, что он мог и ослышаться, приняв желаемое за действительное. Он побоялся поверить своим ушам, решив, что это кровь слишком гулко простучала в виски, обманув его. Ведь если бы он действительно слышал выстрелы, тогда оставалось предположить, что он идет в никуда, что, выйдя из распадка, никакого костра не увидит. Он помнил, что ясно разглядел огонь сверху.

Ломая кусты, впереди метнулся какой-то зверь и, с шумом пробежав по склону, затих наверху, в чаще деревьев. Семейка замер на месте, сжимая самопал. Только сообразив, что, судя по скорости бега, это был дикий олень, а не какой-нибудь страшный зверь, Семейка совладал со своими ногами и снова двинулся по тропе. Его все время тревожило какое-то сопение слева. Иногда там хрустела ветка, и сопение прекращалось. Семейке до безумия хотелось выпалить в ту сторону. Но заряд в стволе, порция грома, заключенного в порохе, была его единственным шансом, и он удержал себя.

Наконец сопки раздвинулись. Сопение оборвалось как-то сразу. Впереди он действительно увидел костер. Больше всего ему хотелось сейчас с криком радости кинуться туда, к огню, но он не сделал этого. Он понял,

что костер этот чужой. Не было ни знакомого мыса в петле ручья, ни знакомых сопок. Хоронясь за кустами, Семейка медленно приближался к огню, пока не разглядел сидящих у костра людей. А разглядев, замер от удивления. Бородатые лица, кафтаны и стволы ружей — все указывало на то, что это казаки либо промышленные. Было их человек семь. Неужели кто-то решился все-таки нарушить приказ Соколова не покидать крепость без его разрешения? Спустившись еще ниже, Семейка узнал этих людей и удивился еще больше. Среди них он разглядел Щипицына и пропавшего с верфи караульного Микешку.

Раздался топот копыт. К костру подъехал темный всадник и, легко соскочив с лошади, быстро расчистил себе место поближе к огню. Семейка узнал в нем Петра Бакаулина, и уверенность, что ему не следует показываться этим людям, возросла в нем.

— Ну что? — спросил Щипицын, едва Петр Бакаулин уселся у огня. — Там они или нет?

— А куда они денутся, — махнул рукой Бакаулин. — Сидят у костра на мыску. На Орлином ручье. Сна ни в одном глазу: ламутов, видимо, остерегаются. Только ихний толмач спит, должно, в палатке.

— Плохо, не спят они, — покачал головой ряболицый промышленный. — Лучше бы повязать их сонными. А так отстреливаться начнут.

— До утра не высилят у костра, — уверенно сказал Бакаулин. — Сон сморит их под утро. Тут мы и нагрянем.

— Надо повязать их без выстрелов, — добавил Щипицын. — А там уж по ламутскому способу — стрелу из лука между лопаток! Потом сколотим плот, погрузим их — и пусть плывут себе по Охоте до самого острога. Там их казаки выловят и смекнут, что Шолгун выступает. Тут уж сгоряча нагрянут они на стойбище старого сына. — Щипицын довольно ухмыльнулся. — Тут нам и проход во все стойбища откроется. Не будет Соколова — поведем торговлю по-прежнему.

— Нехристи! Душегубы треклятые! — заговорил вдруг Микешка, потрясая кулаками. Худое, костлявое лицо его задергалось и налилось кровью. — Связался я с вами на беду свою. Две недели вы меня в ослизлой норе держали, будто зверя какого. Не хочу больше с вами, сил нету!



— Дурак! — грубо оборвал его Петр Бакаулин. — Я и сам вместе с тобой в этой норе сидел, однако не стону. Что ж нам, в крепость надо было вернуться? Там бы Соколов быстро призвал тебя к ответу: где был, почему верфь кинул?

— Купили! Купили за ведро сивухи! — причитал Микешка, будто не слыша слов Бакаулина.

— Труслив ты и хлипок душой, Микешка, — поддерживал Петра ряболицый. — Пойми, мозгляк, поздно теперь локти кусать.

— Ага! Теперь я мозгляк? — взвыл Микешка. — Поглядим, мозгляк ли я. Сейчас же сяду на коня и ускачу к Соколову. Пусть он все узнает!

— Аль ты ребенок, Микеша? — вмешался Шипицын. — Ну, расскажешь ты Соколову про наш умысел. А толку что? Все равно мы его догоним. А тебя он успеет и сам на тот свет отправить.

— Ненавижу! — яростно заговорил Микешка, вскакивая и отступая от костра. — Ненавижу всех вас! Воронье! Пусть меня Соколов прикажет казнить! Пусть! Может, мне легче помереть, раскаявшись. Предупрежу его, как бог свят предупрежу!

— Да ты что, Микешка? Иль спятил? — вскочили на ноги промышленные. — Мы ведь от шуток и к делу перейти можем!

— Знаю я ваши шутки! — продолжал Микешка, отступая все дальше в темноту. — С Соколовым я не в одном походе бывал. Не раз он меня от смерти спасал. Ужель теперь я для него жизни своей пожалею? Нате! Берите меня, душегубы!

Микешка, петляя, с быстротой рыси кинулся во тьму. Промышленные, топоча, бросились вслед за ним.

«Скорее, Микешка! Скорее!» — хотелось Семейке криком подстегнуть беглеца.

Однако Микешке далеко уйти не удалось. Вскоре его, избитого, в грязном кафтане, притащили к костру.

— Ишь ты! — хохотал Бакаулин. — На лошадь успел вскочить! Да забыл, что лошадь-то стреножена!

Микешку поставили у костра, окружив плотным кольцом. На разбитых губах пленника пузырилась кровь, под глазами вздулись багровые желваки.

— Ну, как с ним будем? — проговорил Бакаулин.

— Пушай крест целует, что проглотит язык, — потребовал ряболицый. И, рванув по вороту кафтан на Ми-

кешке, нашарил нателный крестик, сунул пленнику под нос. — Целуй! Иначе знаешь, что будет.

Микешка, сплюнув кровь, отказался:

— Делайте со мной что хотите. Целовать крест не буду.

Переглянувшись с промышленными и увидев на их лицах единодушный приговор, Бакаулин рванул из-под полы шестопер.

— Целуй крест, собака!

— Ты сам собака! Аспид! Перевертыш! Душа звериная! — закричал Микешка, подступая к Петру. — Ну, бей!

Неловко оттолкнув его кулаком, Бакаулин размахнулся и обрушил тяжелый шестопер на Микешкино переносье, на белые от смертной муки глаза его, которые Петру было страшно видеть.

Семейка отпрянул в кусты, зажмурился и прокусил мякоть ладони, чтобы не закричать от ужаса.

Тело Микешки промышленные оттащили к реке и кинули в воду. Теперь у костра воцарилось молчание. Кое-кто из промышленных суеверно крестился, невнятно бормоча под нос молитву.

— Эк нелепо все вышло, — сдавленно проговорил кто-то. — Грех на душу взяли... Недоброе предзнаменование. Как бы с Соколовым у нас теперь не сорвалось... Может, в острог вернуться?

— Не каркай! — озлобленно отозвался Бакаулин. — Нас семеро против трех. Толмачонок ихний не в счет.

— У тебя-то другого пути нет, — отозвался тот же сдавленный голос.

— А нам всем в острог возвращаться нельзя, пока Кузьма жив, — жестко сказал Щипицын, ероша острую бородку. — Ну, вернемся мы, а что толку? Вдруг Кузьме и впрямь удастся унять ламутов мирными речами? Какая торговля при нем? Кончим его — потребуем обратно все товары наши, незаконно отписанные на государя.

Больше никто возражать не осмелился.

Семейке пришло время уходить. Он выведал все замыслы промышленных. Надо было скорее добраться до своих.

Он знал теперь, где находится. Вчера они с Соколовым проезжали здесь за полдень. До Орлиного ручья отсюда было верст пять. Семейку подмывало увести у про-

мысленных коня, но он побоялся насторожить их. Ничего, дойдет и пешком.

...Теряя тропу и каким-то чутьем все время отыскивая ее, Семейка упрямо шел вперед. Скоро тайга окружила его непроглядным мраком. Под ногами ему лезли корни деревьев, по лицу больно хлестали ветки. Снова он слышал противное мяуканье, тьяканье и верещанье лесной нечисти. Но теперь он боялся уже меньше. Душившая его ненависть к промышленным глушила в нем все другие чувства. Компания, оставшаяся у костра, была страшнее всех таежных зверей.

К своим Семейка добрался за полночь. Узнав о замысле промышленных, Соколов сухо усмехнулся:

— Вот они, торговые люди! И еще утверждают, что действуют по воле государя. Кто же тогда воры и разбойники? Ну подождите, тати крещеные!

Накормив Семейку ухой, отправил его спать.

— Иди подремли часик. На тебе совсем лица нет. Мы тут решим, как быть дальше.

Забравшись в палатку, Семейка упал на ворох сухой травы и мгновенно уснул. Ему показалось, что он только успел опустить голову на траву, как его тут же разбудили.

— Стреляешь хорошо? — спросил Соколов.

— Кто ж в тайге плохо стреляет? — обиделся Семейка.

— Смотри, брат, — испытующе глянул на него Соколов. — Сегодня от верности глаза жизнь твоя и наша зависит. Если обещаешь не промахнуться, вот тебе твой самопал.

Соколов, поколебавшись, вынул из-за кушака пистоль и тоже протянул ему.

— На, бери. Устроим на волков засаду. Не боишься? Семейка пожал плечами и хмыкнул.

— А ты не хмыкай, хлопчик. Бой будет не из легких...

Оставив стреноженных лошадей мирно пастись, в путь вышли пешими.

— Тут недалеко, — пояснил Мята Семейке, — ущелье есть небольшое. Да ты ночью там проходил... Удобное место для засады.

Перед утром на тайгу пала роса. По ущелью, куда они вышли, плавали клочья серого тумана. Соколов с

Треской скользнули вправо и, поднявшись по склону, за-
таились, скрытые кустарником. Семейка с Мяткой дви-
нулись дальше, прислушиваясь, не раздастся ли стук ко-
пыт. Левый склон ущелья был крут и каменист, тогда
как на правом вверх карабкались кривые лиственницы.
Сюда они и забрались, ближе к концу ущелья. Устрои-
лись за поваленным бурей и застрявшим на склоне ство-
лом дерева, стали ждать.

Ключья тумана постепенно расплывались и светлели.
По кронам лиственниц наверху прошел первый предут-
ренный ветерок. Сырой воздух, набиваясь под одежду,
холодил тело. Руки у Семейки совсем заоченели.

— Что-то долго их нет, — шепотом сказал он Мят-
ке. — Может, рано мы пришли?

— В таком деле, хлопчик, лучше поспешить, чем за-
поздать, — отозвался Мята. — У меня вот еще какая за-
бота: не оставят ли они лошадей перед ущельем? Пеших
услышать будет труднее.

Мята словно в воду глядел. Промышленные вошли
в ущелье бесшумно. Словно и не шли вовсе, а темными
теньями плыли под туманом. Будто почуяв что-то нелад-
ное, они неподалеку от засады остановились и, сняв пи-
щали с плеч, переложили ружья на согнутые локти рук.
Увидев наведенный на себя ствол чужого ружья, Семей-
ка поежился и ниже пригнул голову, будто его и впрямь
могли разглядеть через кусты.

— Видишь? — толкнул он Мятку.

— Вижу, — едва слышно откликнулся тот. — Смот-
ри не пали раньше времени. Когда последние покажут
нам спину, тогда будет в самый раз.

Из предосторожности промышленные растянулись
длинной цепочкой. Отряд вел Петр Бакаулин. Он то и
дело подозрительным взглядом всматривался в порос-
ший лиственницами склон. За ним следовал Щипицын.
Этот ступал по-кошачьи. Отряд замыкал ряболицый про-
мышленный. В него и решил целить Семейка.

— Мой — последний, — предупредил он Мятку.

— А я возьму второго с конца, — согласился тот. —
Как выпалим — сразу перебежим по склону ближе к
середине распадка, чтоб никто из них поверху не успел
уйти.

Наконец ряболицый проследовал мимо засады, и Се-
мейка увидел его спину — совсем близко, шагах в три-
дцати.

— Стреляй, — шепнул Мята, и Семейка высек огонь.

Однако выстрел его ружья был ничто по сравнению с грохотом, произведенным пищалью Мята. У Семейки заложило уши, и он зажмурился на миг. А когда открыл глаза, увидел, что и ряболицый, и промышленный, шедший впереди него, — оба корчатся на земле. За туманом больше никого нельзя было разглядеть. Ответных выстрелов тоже не последовало. Только тяжелый топот ног указал на то, что промышленные ринулись вперед, спеша выскочить из распада.

— Перебегай! — приказал Мята, и они кинулись по склону к середине ущелья, спустившись почти к самому его дну. Затаились в трех шагах у тропы.

И в этот миг впереди дважды грохнуло так, что с противоположного голого склона посыпались камни. Затем последовали хлопки пистолей и крики. И еще грохнуло дважды. Значит, промышленные открыли ответный огонь.

Через минуту прямо на Семейку с Мяткой вынеслись двое промышленных. Семейка крепче сжал рукоятку пистолета, а Мята, держа в одной руке пистоль, другой вырвал саблю из ножен. Выскочив наперерез бегущим, они встретили их грудь в грудь и разрядили пистолы. Мята, поскользнувшись, промазал и размахнулся саблей.

— Помилосердствуйте! — нелепо закричал промышленный, падая перед Мяткой на колени.

— Я те помилосердствую, вор! — заорал Мята и полоснул промышленного по голове.

В этот момент в тумане еще раз грохнула пищаль, и Семейка почувствовал тупой удар в левое плечо. Рука его сразу онемела, а в глазах поплыли красные круги. Почувствовав слабость в ногах, он опустился на кочку.

— Тебя что, зацепило? — тревожно спросил Мята. — Потерпи минутку. Я сейчас вернусь. — С этими словами он кинулся в туман с обнаженной саблей.

Семейка еще слышал какую-то возню в тумане, сдавленные крики, хотя выстрелов больше не было. Потом в глазах у него стало темнеть, склон сопки качнулся, поплыл вбок, и Семейка повалился с кочки на траву — лицом вниз. Сначала он чувствовал щекой холод росы, потом и это ощущение исчезло.

В себя Семейка пришел уже в палатке. Он лежал на сухой траве, под голову ему положили какой-то тюк. За стенами палатки было совсем уже светло. Над Семейкой склонился Мята.

— Ну, парень, счастлив твой бог, — сказал он, увидев, что Семейка открыл глаза. — Картечина прошла через мякоть, кость не зацепила. Через недельку-другую все заживет. Это ты больше с перепугу ум потерял да с непривычки к ранам.

— Как наши? — спросил Семейка.

— Да все обошлось хорошо. Больше никого не зацепило. Встать сможешь?

— Попробую.

Неожиданно для самого себя Семейка поднялся на ноги совсем легко. Забытье, в которое погрузило его ранение, явилось для него и хорошим отдыхом после ночных скитаний.

— Тогда вылазь из палатки. Кони уже заседланы и навьючены. Нам надо засветло добраться до стойбища.

Скоро палатку собрали и уложили в чехол. Семейку, чтоб не упал с лошади от слабости, привязали к седлу, несмотря на его протесты.

— Ну, с богом! — проговорил Соколов, и они тронулись в путь.

Через некоторое время добрались до поляны, где в прошлом году Семейка с Мятой завалили медведицу. Семейка узнал и кустарник, из которого выскочила медведица, и березу, за которой хоронилась Лия. Ствол березы был все так же бел и нежен. Он словно заново увидел белое от страха лицо девушки; потом, когда она поняла, что спасена, щеки ее порозовели и в темных глазах засветилось любопытство. Как ни болело у Семейки плечо, сейчас никакие силы не заставили бы его вернуться в крепость, не повидав Лию.

Стойбище Шолгуна открылось им перед закатом солнца. В стойбище было около пяти десятков чумов, раскинутых на высоком берегу реки Охоты. Над чумами курился дым. Стойбище встретило прибывших собачьим лаем. При их приближении женщины и ребятишки скрывались в жилищах, и не у кого было спросить, который чум Шолгуна. Пушистая белая собачонка, таякая и отскакивая, все время держалась у копыт Семейкиного коня.

— Эй, где Лия? — спросил он собачонку тихо, чтобы товарищи не услышали.

Собачонка еще раз тявкнула и вдруг, отбежав в сторону, замолчала и уселась на траву, словно имя девушки ее успокоило и она приняла Семейку за своего.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Шолгун

Конический чум Шолгуна ничем не выделялся в стойбище, кроме белой шкуры, закрывавшей вход, — в знак того, что здесь обитает свет и мудрость всего рода. Война заставила род стесниться вокруг старейшины. Однако его власть сейчас распространялась только на стариков, женщин и детей, оставшихся в стойбище. Мужчины, способные носить оружие, выбрали своим военачальником старшего сына Шолгуна и в числе полутора сотен отправились на Кухтуй, в стойбище военного вождя Узени. Там шли непрерывные военные ученья.

Шолгун думает о нючах * как о врагах, и сердце его сжимает тревога. Нючей в крепости слишком много, и война с ними кажется Шолгуну делом почти безнадежным. Однако противиться войне теперь поздно. Ламуты крепко помнят обиды, нанесенные им зимой.

Страхнув свои думы, Шолгун поднялся и, запахнув потуже полы чобакки **, — в последнее время он что-то сильно стал зябнуть — вышел из чума. Солнце уже садилось. Его лучи окрасили снежные вершины хребтов на западе в кроваво-красный цвет. Туда, на эти белоглавы вершины, улетают души мертвых, чтобы затем подняться на верхнюю землю, где реки всегда изобилуют рыбой, а тайга — зверем, где пасутся тучные стада оленей, и верхние люди никогда не знают голода. Сюда, на эти вершины, спускаются с верхней земли души предков — охранителей рода, чтобы увидеть, как живут ламуты, и помочь им в нужде и горе. К ним сейчас обращался

* Нючи — русские.

** Чобакка — верхняя одежда, распашной олений кафтан.

Шолгун мысленно. Он спрашивал, чья это кровь окрасила вершины — ламутов или нючей? Он не слышал их голосов, но они должны были внять его просьбе и ответить ему по линиям священной кости.

Вернувшись в чум, Шолгун удалил из него женщин и остался один у очага. Глядя в пламя, он просил огонь-охранитель помочь ему получить ответ прародителей. Затем он встал и скрылся в своем пологе, откуда вернулся с высушенной лопаткой оленя. Выхватив из огня уголек, он положил его на лопатку и стал дуть, пока золотистый комочек не превратился в пепел, кость под ним почернела и прогорела почти насквозь. Затем, сдув пепел, Шолгун приблизил священную кость к самому огню и стал ждать. Наконец раздался первый шелчок — лопатка дала длинную продольную трещину. Это была Главная Дорога ламутов. Предки ламутов показали ее сегодня четкой и ясной. Хорошо разглядев ее и оставшись доволен, Шолгун снова поднес лопатку оленя к пламени. Еще один треск — и внизу, чуть выше основания Главной Дороги, вправо ответвилась короткая линия. Шолгун едва сдержал крик радости. Линия означала, что ламутов ожидает скорая, очень скорая удача. Но священная кость не ограничилась этим. Влево от Главной Дороги с громким треском пролегла вторая Тропа Удачи. Затем священная кость замолчала. Ни одна тропинка не пересекла Главную Дорогу насквозь: ничто не угрожало жизни рода и всех ламутов.

Словно в каком-то прозрении Шолгун вдруг почувствовал, что предки сейчас не откажут ламутам в самой важной услуге. Главным для воинов было все-таки выманить нючей из-за стен крепости в глубину тайги, где можно было вести с ними борьбу с помощью засад, западней и тысячи других хитростей.

Взяв заготовленную заранее горсть камешков, связанных цепочкой с помощью сырых оленьих жил, Шолгун поместил их на кроильную доску и растянул посылнее. Затем снова выхватил из очага горящий уголек и, прижав пальцем жилу к доске, положил уголек на жилу возле самого пальца. Жила под действием жара стала медленно сокращаться. Камешки — это были нючи — задвигались, зашевелились и поползли к пальцу Шолгуна. Нючи, согласно воле предков, покидали крепость и выходили в тайгу.

Едва он успел убрать кости и камешки в свой полог,

как в стойбище раздался собачий лай, слышались тревожные крики женщин.

Когда Шолгун вышел из чума, чтобы узнать, что случилось, он в десяти саженях от своего жилища увидел нючей, сидящих верхом на конях, и среди них сразу узнал Семейку с Мятой. Радостно-возбужденное лицо Семейки, добродушная улыбка Мяты — все говорило за то, что в стойбище они пришли не как враги, а как друзья, добрые старые знакомые. Только у одного из нючей лицо было выжидательно-настороженное, но на пике у него висел пучок белых перьев — знак мира. Это совсем успокоило Шолгуна. Так вот почему священная кость говорила о близкой удаче! Если нючи сами приехали с предложением мира, тогда лучшего и желать нельзя для ламутов.

Узнав, что юноша ранен, Шолгун тотчас же предложил казакам свой чум. Через пять минут Семейка уже удобно лежал на оленьих шкурах, чувствуя, что боль в плече, растревоженном за дорогу, начинает утихать.

В чум между тем сходились ближайшие советники Шолгуна. Все они были преклонных лет и с достоинством рассаживались на строго отведенных местах возле очага. Сравнительно нестарым оказался только один ламут с негнувшейся рукой, покалеченной, должно быть, в схватке с каким-то зверем. Разговор у костра велся громко, чтобы лежавший в стороне Семейка мог слышать и переводить вопросы и ответы.

После приветствий и недолгих переговоров предложение Соколова о мире было принято ламутскими старейшинами единодушно и с радостью. Затем пошел разговор об условиях мира. По поручению Шолгуна один из старейшин, высокий сухой ламут в богато украшенном фартуке, изложил длинный перечень обид, нанесенных ламутам промышленными и казаками.

По мере того как Семейка переводил его слова, лицо Соколова хмурилось все больше, а в глазах старейшин читались напряжение и настороженность. Когда Семейка по приказу Соколова известил ламутов о том, какая кара постигла промышленных, лица старейшин посветлели. Затем по знаку Соколова Мята с Треской стали вносить в чум тюки с подарочной казной. Ламуты, приняв подарки, выказали полное удовлетворение и обещали забыть обиды.

Соколов не потребовал у них даже аманатов — обыч-

ная форма принуждения, к которой ламуты давно привыкли. Он сказал, что принимает на веру обещание ламутов исправно платить государев ясак в прежних размерах и только в случае злостного уклонения от дачи ясака вынужден будет взять заложников.

Переговоры увенчались вечерним пиршеством. При этом ламуты задержались в чуме недолго, выказав уважение к тому, что в чуме находится больной.

Когда они ушли, Мята сделал Семейке перевязку. Затем в чум проскользнула Лия. Семейка сразу почувствовал ее присутствие и, встретившись с ее встревоженным взглядом, через силу улыбнулся и кивнул ей. Она радостно закивала в ответ и засуетилась возле очага. Потом, поставив у ложа Семейки корытце с дымящейся олениной, стала его кормить.

— Я так боялась! — говорила она, беря куски мяса из корытца и передавая их Семейке. — Думала, будет война и убьют всех — и тебя, и Умая, и моего отца. Теперь все хорошо, да?

— Все хорошо, — кивнул Семейка удовлетворенно. — Только перед тем, как кормить больного, надо руки мыть, у нас так принято.

— Разве тебе не нравятся мои руки? — удивилась Лия. — Видишь, какие они умелые и проворные.

— А вымытые они будут еще красивее, — улыбаясь, сказал Семейка.

Лия с минуту подумав, тряхнула головой:

— Ладно. Если тебе хочется, могу вымыть.

Налив теплой воды в корыто, она долго и ожесточенно полоскала и терла ладони, все время разглядывая пальцы при свете очага. Затем снова села у Семейкиного изголовья и протянула ему ладошки.

— Видишь, теперь чистые. Тебе нравится?

— Нравится, — отозвался Семейка, взяв ее руку. — Теперь пальцы у тебя белые, как снег.

— Как снег? — звонко спросила она и, удивившись такому сравнению, вдруг предложила: — Хочешь, я каждый день буду мыть руки? Тебе нравится снег, да? Я угадала?

Семейка сказал, что ему действительно нравится снег. Утомленный дорогой, долгими переговорами и болью в плече, он уснул, не допив принесенный ему Лией чай. В эту ночь ему снились крылатые серафимы, они шелестели крыльями и спрашивали у Семейки, за-

чем люди моют руки, и Семейка разъяснял им, что руки моют затем, чтобы они были чистые.

А девушка сидела у его изголовья, глядя на его лицо, до тех пор, пока Шолгун не прогнал ее из чума.

Утром плечо у Семейки болело меньше, и он после завтрака вылез из чума. Заросшая высокой травой береговая круча, на которой раскинулось стойбище, переходила в холмистую равнину, окаймленную темной стеной леса. По склонам сопок лес поднимался уступами в небо, и за его высоким частым гребнем виден был лишь белый гребень далеких гор, который, подобно облакам, казалось, плыл по синему небу, уходя за горизонт. Здесь был стык хребтов — Верхоянского и Джугджура.

Ожидая, когда из своего чума выйдет Лия, Семейка обшарил глазами все ламутские жилища, гадая, в котором из них обитает она. И все-таки он не заметил, как она появилась на берегу. Шаг ее был так легкий, что он почувствовал ее присутствие, когда она была уже рядом.

— Плечо болит? — спросила она.

— Не так чтобы сильно, — весело ответил Семейка. — Болит, как и полагается: слегка покалывает, чуть-чуть постреливает, немножко дергает. А так ничего. Стою, видишь, и не падаю.

— Ты, наверное, сильный, — рассмеялась Лия. — Кто шутя переносит боль, тот уже не ребенок, а мужчина. Так у нас считают. — И вдруг, оборвав себя, она схватила Семейку за рукав и указала на реку: — Гляди! Там народу, как горбуши на нересте. Наверное, это наши воины идут.

Семейка ахнул. Затопив всю пойму нижнего левого берега, к броду у реки спускалась ламутская рать. Здесь было столько копий, что пойма сверху казалась колышущимся полем ржи. На копейных остриях, сделанных из кремней и вулканического стекла, тонко вспыхивало солнце. Продолговатые, сработанные из толстых лахтачьих кож щиты ратников, разрисованные красной краской, походили на крылья огромных летучих мышей. На многих воинах были куяки — либо косяные, либо пошитые из тех же толстых лахтачьих шкур и потому негнушиеся. Головы ратников покрывали кожаные островерхие шлемы. Такой шлем брала не всякая казацкая сабля. За копейщиками шли лучники. На них не было ни

куяков, ни шлемов. Они им и не были нужны — лучников не посылали в рукопашные схватки, им надлежало осыпать стрелами противника издали. За лучниками под наблюдением погонщиков шли табуны оленей как под выюками, так и налегке.

Перейдя вброд реку и замутив всю воду в Охоте, воины поднимались лавиной на кручу. Встречать ратников вышло все население стойбища во главе с Шолгуном. Семейка с Лией поспешили туда же, в то время как Соколова с Мятой и Треской не было видно. Должно быть, Шолгун велел им остаться в его чуме, пока он объяснится с Узеней.

Увидев Семейку в своем кругу, полутысячное войско издало крик ярости, и через миг он оказался во враждебном кольце, которое, казалось, уже не разомкнуть. Он увидел нацеленные на него копья, натянутые луки. Лия заслонила его собой, что-то кричала ратникам, требуя остановиться. Узеня, пробившись сквозь ряды воинов, положил Семейке руку на плечо — и мгновенно все стихло, опустились копья и луки: этим жестом вождь показал, что молодой нюч — его друг, а значит, и друг всех ламутов. Узеня оглядел юношу с головы до ног и сказал, что рад видеть его живым и таким повзрослевшим.

На Узене был костяной пластинчатый куяк и железный шлем, должно быть, отнятый у казаков в одной из давних стычек. На сухом скуластом лице его с выщипанными по обычаю усами и бородой Семейка заметил немало новых морщин. Однако в глазах ламута по-прежнему читалась гордая непокорность судьбе.

Узнав, что Семейка ранен, он велел ему вернуться в чум Шолгуна, а сам стал говорить воинам о предложенном казаками мире и о том, что мир этот надо принять, дабы спокойно заниматься охотой. Говорил он долго и подробно. Узнав об условиях мира, большинство воинов безоговорочно поддержали вождя. Однако немало было ратников, на лицах которых Семейка читал недовольство. Что ж, в любом ратном стане найдутся такие, чье желание покрасоваться силой и отвагой превыше всякого здравого смысла.

Сопровождаемый Лией, Семейка вернулся в чум Шолгуна и сообщил Соколову о том, что переговоры между главным старейшиной и военным вождем завершились успешно.

Соколов осторожно обнял Семейку за плечи.

— Ну, брат, покуда я жив, вовек не забуду твоей службы.

— Так это ж и ваша служба, — рассудительно ответил Семейка, краснея от похвалы.

— Верно, брат. То и хорошо, что служба у нас одна.

— Поглядели бы вы на ратников Шолгуна, — сказал вдруг Семейка, — не меня бы благодарили, а себе поклонились в пояс за то, что не пошли на тайгу огненным боем. Да теперь вам можно выйти из чума. Сами все увидите.

Увидеть им пришлось много такого, что вполне оправдало слова Семейки. К полудню, раскинув временные чумы, которые покрыли почти всю холмистую равнину, ламуты из хвороста и речного наносника начали возводить уменьшенную копию Охотского острога. Возвели и башенки, и казармы с узкими прорезями бойниц, и все стены.

Грохотом бубнов было возвещено начало учения. Воины очистили равнину и затаились у опушки леса. Перешагнув невысокие стены, крепость заняли двое ламутов, одетых в казацкую одежду. У обоих «казаков» были настоящие пищали, неизвестно как попавшие в их руки.

Но вот пять сотен ламутских ратников с воем высыпали из леса, охватив крепость полукольцом. Когда они приблизились на расстояние выстрела, раздались два громовых удара. Крепость встретила «неприятеля» огнем. Все пять сотен ратников кинулись на землю. Через секунду на ноги вскочили лучники, и туча стрел, свистя, понеслась на «острог». «Казаки» упали, прячась от стрел. Едва это произошло, копейщики с охапками сухой травы подскочили к стенам острога. Через пять минут крепость пылала, и, спасаясь от огня, из крепости бежали оба «казака», так и не успевшие перезарядить пищалей. Их тут же «закололи» копьями.

— Что скажет на это белый военачальник? — по-русски спросил Узень, наблюдавший за ходом учений, стоя рядом с Соколовым.

Соколов давно разгадал маленькую хитрость ламутского вождя. Этими учениями Узень показывал ему, что в случае, если казаки нарушат мир, тайга сумеет постоять за себя.

— Что ж, — сказал он. — То добрые воины. Одна-

ко ж мы с вами под одним государем ходим, и воевать нам промеж собой не пристало.

— Удалось бы нам сжечь крепость? — продолжал расспрашивать Узеня.

— Возможно, — вынужден был согласиться Соколов и, заметив торжествующий блеск в глазах ламута, тут же добавил: — Однако ж про наши пушки ты забыл.

— Пушки беспокоили меня больше всего, — признался Узеня. — Но нас бы они не остановили. Пушки ведь тоже приходится перезаряжать.

Соколов не стал разубеждать ламута, не стал напомирать ему, сколь тяжела казацкая рука в сшибке, сколь безопасны для одетых в кольчуги казаков ламутские стрелы и сколь губителен огонь их пищалей. Сегодня для Узени был день торжества, и он не хотел ничем омрачать этот день. Соколов и в самом деле немало дивился искусству ламутов, слаженности их действий, богатству ратного снаряжения. Больше всего его беспокоило умение ламутов обращаться с огнестрельным оружием. Не зря Узеня провел столько лет в Якутске, среди казаков. В случае войны он оказался бы более опасным противником, чем этого можно было ожидать. Оказалось, что пищали ламутов были заряжены по всем правилам и во время учений двое ратников Узени оказались ранены. Узнав об этом, Узеня не выказал никакого сожаления, заявив, что воины сами виноваты, раз не проявили должного проворства, когда слышали грохот выстрелов. При этом Соколов выяснил, что и во время учений на Кухтуе по наступающим также палили настоящим свинцом. Все это говорило о том, сколь серьезно готовил Узеня своих ратников. При этом воины подчинялись ему беспрекословно, и было видно, что ружейный огонь для них привычен.

Учения завершились пиршеством, которое ламуты устроили по случаю заключения мира. При этом было забито до полусотни оленей. На забой первого оленя сошлись все воины и обитатели стойбища. Пригнать оленя из табуна было поручено самому проворному и быстрогому воину. С маутом * в руке в сопровождении двух помощников воин отправился в табун, пасшийся у леса. Выбранному оленю накинули маут на рога и повалили. Потом тем же маутом опутали задние ноги так, чтобы

* Маут — то же, что чаут, аркан (ламутск.).

олень мог свободно бежать, после чего помощники отпустили оленя. Животное тут же вскочило на ноги и кинулось в сторону. Однако воин, держась за конец маута, заставил оленя бежать в сторону стойбища. Искусство, с которым воин правил бегом оленя, было оценено всеми зрителями, встретившими возвращение погонщика гулом одобрения.

Убить первого оленя вызвался сам Узень. Сняв чехол с наконечника поданного ему копья, он подошел к оленю, бормоча слова дружбы к животному, которое ему предстояло поразить. В толпе зрителей установилась такая тишина, что стал слышен гул воды в реке. Подойдя к мотавшемуся на мауте зверю с левой стороны, Узень стал греть рукой наконечник копья. Выждав, когда олень стал головой в сторону солнца, он резким движением вонзил копьё под лопатку животного. В тот же миг воин, державший оленя, отпустил маут.

Тишина в толпе стала пронзительной до звона в ушах. Воины ждали, в какую сторону прыгнет олень перед смертью и как упадет. Семейка понимал смысл того, что сейчас происходило. Если олень жалобно закричит после удара, станет прыгать на месте, задевая древко копья задними ногами и осядет на хвост, ламуты поймут, что животное перед смертью предсказывает им беду. А откуда может исходить беда прежде всего? От казаков. И никакие доводы рассудка не помешают тогда появиться трещине в договоре о мире.

Когда Семейка разъяснил это своим товарищам, казаки также стали серьезны и та же печать напряженного ожидания легла на их лица. Здесь, видимо, многое зависело от силы и верности удара, нанесенного Узеней.

Олень, пронзенный копьем, сделал резкий прыжок в сторону, затем, застыв от боли, стал, медленно раскачиваясь, подгибать передние ноги и повалился на левый бок, подмывая копьё.

Из сотен глоток вырвался крик радости. Олень упал почти на месте и при падении закрыл рану. Это был наилучший знак, какого только можно было ожидать... Животное перед смертью предсказывало ламутам счастливую жизнь здесь, на берегах Охоты. Теперь даже лица тех, кто выказывал недовольство миром, просветлели, и воины смотрели на Соколова без вражды.

Сидя за дымящейся олениной в чуме Шолгуна, Соколов долго и дружелюбно беседовал с Узеней, обещая

тому исхлопотать у якутского воеводы прощение за побег из Якутска. Семейка спросил Узеню, почему не видно среди воинов Умая. Оказалось, что Умай отправлен на реки севернее Кухтуя, где кочевали Долганы, Уяганы и другие ламутские роды, чтобы привести их воинов в лагерь Узени. Узнав, что с его другом не случилось никакой беды, Семейка успокоился и просил Шолгуна, как появится возможность, отпустить Умая в острог погостить, на что Шолгун тут же дал согласие.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Кцели

Ватаги лесорубов всю зиму валили лес на Кухтуе. Едва вскрылись реки, начался сплав.

К началу лета взялись за восстановление верфи и закладку судна. Лодия должна была иметь вид карбаса. Длина ее восемь с половиной сажений, ширина — три сажени. Осадка в воде, по расчетам, фута три с половиной. Мачт решили поставить три. Среднюю по длине лодии, кормовую и носовую поменьше.

А в августе, взяв компас и вооружившись подозрной трубой, Треска уже вывел судно в пробный рейс. Лодия хорошо слушалась кормщика, казаки вполне справлялись с парусами. Семейка с Мятой, надышавшись вволю морского воздуха во время этого рейса, были довольны, кажется, больше всех. Приехавший через день после этого в острог Умай жалел, что ему не удалось побывать в плавании. Ему уже почти удалось уговорить Шолгуна отпустить его с казаками за море. На Камчатке, по слухам, были богатые ягелем пастбища, никем не занятые; и если бы ламутам удалось туда откочевать, вражда с коряками из-за пастбищ прекратилась бы сама собой.

Отписав в Якутск об окончании постройки судна, Соколов стал готовиться к отплытию следующим летом. Новый якутский воевода, полковник Яков Елчин, рассчитывавший на скорый исход морской экспедиции, был Соколовым недоволен, слал из Якутска пасмурные письма, торопя с подготовкой.

Возле поставленного на прикол судна Соколов установил круглосуточное дежурство. Всю зиму, стуча задубенелыми от мороза сапогами, днем и ночью прохаживались возле вмерзшей в лед лодии сменные часовые с тяжелыми пищалями на плечах.

Сразу после окончания постройки судна часть команды Соколов за ненадобностью отправил в Якутск. С ними ушли и промышленные. Нагрузив два десятка оленей пушниной и припасами, покинул острог и Гришка Бакаулин, превратившийся после гибели Петра и Щипицына в угрюмого и желчного молчаливника.

Острог в эту зиму стал словно просторнее и тише. Казаки коротали вечера, занимая друг друга разговорами.

Конец посиделкам положила весна.

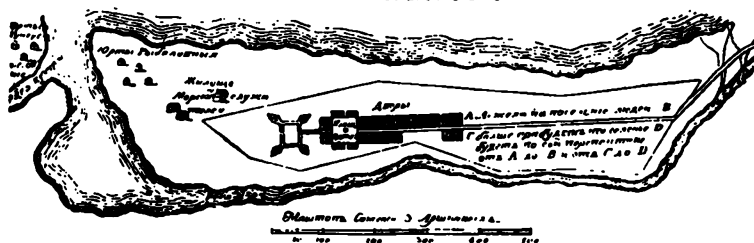
В середине июня просмоленное и оснащенное судно готово было к выходу в море. В носовом отсеке — поварне — поселился Мята. Средний отсек загрузили припасами. Там же размещались нары для казаков. Семейка с Умаем попросили потесниться Треску и Буша, шедших кормщиками, и перебрались к ним в кормовое помещение.

Почти все обученные Треской и Бушем казаки перед отплытием тайно друг от друга заходили к Соколову и просили освободить от плавания. Море страшило их. Неожиданно Соколову в уговорах помог Гришка Бакаулин. Вернувшись в Охотск с новой партией товаров, промышленный привез разрешение от воеводы на плавание в Камчатку для торговли в тамошних стойбищах. Угрюмые и едкие его насмешки над трусостью казаков подействовали, как крутой кипяток. Недолюбливавшие промышленного казаки почли за унижение выказывать перед ним свою слабость.

Расставание с берегом было тягостным. Когда подняли якорь, миновали опасные бары в устье реки и наполненные ветром паруса стали относить судно в море, у казаков побледнели лица. У некоторых текли по щекам слезы. С берега им махали шапками оставшиеся в крепости казаки. Семейка, стоя у борта рядом с Умаем, неотрывно смотрел на кручу, где виднелась кучка провожавших Умая ламутов. Там были старый Шолгун,



МОРЕ ЛАМСКОЕ



братья Умая, Узеня и между ними Лия, махавшая вслед судну малахаем.

В остроге прощально ударила пушка, и вскоре крепость скрылась за выступом мыса.

Море было спокойным. Светило солнце. Судно шло к северу, держась у берегов.

В прибрежных водах кипела шумная жизнь. Чайки, бакланы, морские попугаи, утки покачивались на волнах несметными флотилиями. Свистя крыльями, стремительно пронеслись над мачтами гагары и крохали. Из воды густо высывались любопытные нерпы, тараща на судно круглые глаза. Иногда, ныряя под волну, по курсу судна неслись стада огромных белух. Спины их вздымались над водой подобно снежным сугробам. Мористее, почти у горизонта, время от времени вставали водяные фонтаны. Там киты шли на излюбленные места пастбищ — в Пенжинскую губу.

К вечеру ветер посвежел, и на море поднялась крупная зыбь. Почти все казаки заболели морской болезнью и пластом лежали на нарах в грузовом отсеке.

Семейка с Умаем страдали от морской болезни не столь сильно. Забравшись в поварню, они уплели по две порции жареной оленины.

— Вам что, вы молодые, — завистливо говорил Мята, которого тошнило от одного вида еды. — А я вот эту болтанку не могу переносить. В седле мог качаться хоть круглые сутки, а тут не могу. Должно, заказано казаку море.

Семейка с Умаем вышли наверх. Пройдя по качающейся палубе, они спустились к себе в кормовой отсек. Навстречу им поднимался по лесенке Григорий Бакаулин.

— Чего этому ворону тут надо было? — спросил, насупись, Семейка у Трески, когда крышка люка захлопнулась за Бакаулиным.

— Да вот любопытствовал, что у нас за служба, у кормщиков. Спрашивал, тяжело ли с кормилом управляться.

— Знал бы свою торговлю, — буркнул Семейка, забираясь на нары. — Чего еще сюда встревает?

Утром зыбь унялась. Казаки высыпали на палубу. Снова, как и вчера, на небе не было ни облачка. Солнце, отражаясь в воде, слепило глаза тысячами бликов. Слева по борту вдалеке виднелись острые скалы мыса.

Казачи заметно повеселели, и поварня в это утро не пустовала. После завтрака казаки уже без опаски подходили к самому борту, глядели на воду. Синие с прозеленью волны словно кивали им головами, манили вдаль, в неведомое, за гранью которого лежала их цель — Камчатка. Такая перемена настроения не удивила Соколова. Он знал эту способность своих казаков быстро применяться к новой обстановке. Все эти люди с тех самых дней, когда на верхней губе пробивается первый пушок, привыкли шагать через тайгу и горы. И никакие преграды не могли их сдержать в этом движении в неизвестное, туда, где лежали земли, не стесненные насилем. Это ощущение воли и служило многим из них единственной наградой за все лишения. Скоро они привыкнут к тому, что у них под ногами не земная твердь, а шаткая палуба. И тогда он отдаст команду взять курс в открытое море.

Как-то вечером Семейка с Умаем выбрались на палубу. Над судном густо висели звезды. Их отражения плясали в черной, как деготь, воде.

С минуту они стояли у борта, любуясь блеском отраженных звезд. И вдруг Умай, глаза у которого были острее Семейкиных, схватил друга за рукав.

— Там, впереди, что-то белеет!

Семейка долго всматривался туда, куда указывал Умай, и вскоре действительно разглядел впереди по курсу судна какое-то белое пятно. Пятно это росло и приближалось. У Семейки перехватило дух, когда он понял, что это такое. Белое пятно было пеной возле выступавшего из воды кекура, а темная громада — береговым обрывом. Судно прямо летело на прибрежные камни.

— Скорее! — крикнул он Умаю и кинулся в кормовой отсек.

«Спят они, что ли? — мелькнуло в голове. — Разобьемся ведь!»

Едва они подбежали к люку, как он распахнулся и из кормового отсека выскочил человек, в котором Семейка узнал Бакаулина.

— Ты что там делал?! — закричал Семейка, но широкая железная ладонь тут же закрыла ему рот.

Извиваясь и впившись зубами в ладонь промышленного, Семейка пытался вырваться из тисков. Вдруг промышленный громко вскрикнул и с проклятьем выпустил

Семейку, который тут же прыгнул в люк, не пытаясь даже понять, что заставило Бакаулина выпустить его. Надо было спастись судно.

— Треска! Буш! — громко кричал он, в полной темноте спускаясь вниз и боясь, что не получит ответа.

— Что случилось? Ты чего орешь? — раздался недовольный заспанный голос Трески. — Только успел уснуть, как ты тут со своим криком. Чего спать мешаешь?

— Судно идет на прибрежные камни! Где Буш?

— На какие еще камни? Эй, Буш! Кто свет задул?

Не получив ответа, Треска высек огонь и зажег плошку. На полу у кормила лежал без движения Буш.

— Перекладывай кормило вправо! Скорее! — подстегнул Семейка криком Треску. — Сейчас налетим на камни!

Треска перерезал веревки, которыми было привязано кормило, и налег на него грудью. От резкой перемены курса судно накренилось. Вверху громко хлопнули паруса. Затем на палубе послышался топот многих ног, раздалась встревоженные голоса.

— Разобьемся! — взлетел чей-то вопль. И наверху все смешалось.

Затем прозвучал выстрел из пистоля, и громкий голос Соколова перекрыл шум на палубе.

Едва заметный шорох прошел под днищем, и у Семейки разом онемели все мускулы. Он закрыл глаза, но шорох не повторился. Радостные крики наверху подсказали, что опасность миновала.

И в это время застонал и зашевелился Буш. Закрепив кормило, Треска наклонился над ним, поднял его голову.

— Как это ты так? — спросил он, увидев, что швед открыл глаза.

— Чшорт! — заскрипел Буш зубами. — Этот промышленный... Гришка по голове чшем-то. Сзади.

На затылке у Буша волосы запеклись от крови. Треска перевязал голову ему полотенцем и помог добраться до нар.

Наверху, куда Семейка с Треской потом поднялись, они увидели при свете факела всю команду толпящейся возле распростертого на палубе Бакаулина. Промышленный был мертв. В спине его торчал нож Умая.

Когда Семейка рассказал команде, как все было, над палубой повисла гнетущая тишина.

— Должно, за брата своего хотел отомстить нам, судно на берег решил выкинуть, — выдавил наконец кто-то. — Оба были волки, один другого лютее.

Мрачное ночное происшествие открыло собой цепь грозных событий. Утром у берегов Тауйской губы налетела буря. Северо-западный ветер отнес судно от берегов далеко в море. Огромные волны перекашивались через палубу. За борт смыло двух казаков. Над вздыбленным морем, ставшим их могилой, висело зловещее фиолетовое небо без единого облачка, что казалось при буревом ветре почти невыносимым в этих промозглых широтах.

На вторые сутки ветер притащил тяжелые мохнатые тучи, и судно утонуло в сетке дождя, носясь по воле волн с убранными парусами. Судно, к счастью, оказалось сколоченным надежно и почти не дало течей.

Буря улеглась на пятый день. Волны успокоились, и небо снова засияло безмятежной синевой. Треска, взобравшись на мачту, разглядел горы. Земля могла быть только Камчаткой.

Поставили паруса и взяли курс на восток. Скоро белые горы заняли весь горизонт, а ближе их уже угадывалась черная полоса берега. Вскоре один из казаков, прослуживший пять лет на Камчатке, подтвердил, что они у цели. Он узнал по очертаниям Тигильский мыс.

Судно медленно спускалось к югу. Боясь напороться на подводные камни, держались подальше от берега. Вся команда толпилась на палубе. Целый день лодия шла вдоль берега, но так и не удалось высмотреть ни одной, даже крошечной, бухточки для безопасной стоянки.

На второй день плавания вдоль берега Соколов встревожился не на шутку.

— Немыслимый берег, — говорил он Треске. — Ужели ни единого паршивого заливчика не встретим?

— Сам дивлюсь, Кузьма, — поскреб бороду мореход. — К тому же опасаясь, как бы опять не разыгралась буря. Думаю, надо спустить бот и проведать устье какой-нибудь подходящей реки. Может, на устье инородцев либо камчатских служилых встретим.

Так и решили сделать. Возле устья реки Тигиль судно бросило якорь. На боте решил отправиться сам Соколов. С собой он взял Семейку, Мяту, Буша и еще троих дюжих казаков. Перед отплытием казаки надели кольчуги.

На судне за командира Соколов оставил Треску.

— Доглядывай, Никифор, чтоб пушкарь не отходил от пушки, — наказывал он мореходу. — На всю Камчатку — три острога казачьих Мирно ли тут сейчас — кто ведает? В случае, если нас встретят боем, пусть пушкарь выпалит — разбегутся.

Предосторожности, однако, оказались излишними. Пристав к песчаной кошке и поднявшись на берег, они прямо возле устья обнаружили в распадке корякское селение. Оно оказалось совершенно пустым. Дымящиеся остатки костров подсказали казакам, что жители стойбища, видимо, скрылись в тайге, заметив корабль. Сколько они ни кричали и ни звали людей, никто не ответил на их зов. Только крупные, словно волки, собаки, бродившие возле жилищ, скалились и озлобленно рычали на пришельцев.

Глубина в устье во время прилива была вполне достаточной, чтобы провести судно на стоянку. Однако Соколов передумал отстояваться здесь, решив поискать все-таки встречи с камчадалами на других реках.

Снова снялись с якоря. Миновала ночь и еще один день. И опять не нашли ни одной бухты.

— Ежели на всем побережье нет бухт, тогда дело плохо, — сокрушался Соколов. — Тогда путь на Камчатку морем загложнет.

— Надо искать подходящую реку, — настанвал на своем Треска. — Некоторые реки при впадении в море образуют ковш. В таком ковше судну стоять даже удобнее и безопаснее, чем в бухте.

— Поищем, — согласился Соколов. — Возвращаться просто так нам нельзя. Только бы погода не подвела...

Первым человека на берегу заметил Умай.

— Гляди! — толкнул он в бок Семейку. — Там женщина!..

Судно в это время подходило к устью реки Крутогоровой. Известие о том, что на берегу виден человек, переполошило всю команду. В подозрную трубу Соколов

разглядел, что Умай не ошибся, что это действительно женщина.

— Словить надо бабу, — сдавленным шепотом сказал кто-то. — Да скорее же! Убегет!

Поспешно спустили бот. Семейка с Умаем тоже успели туда прыгнуть. Скрип уключин, бешеные взмахи весел, учащенные удары сердца — и вот они на берегу.

Выскочив на берег, рассыпались цепью, окружая то место, где видели женщину.

Семейке с Умаем, как самым быстроногим, предстояло взобраться на сопку и отрезать женщине путь от берега.

Семейка, однако, заметно отставал. Умай хотел его подождать, но Семейка махнул рукой, чтоб не задерживался. Умай вскоре исчез впереди в зарослях. Взобравшись на вершину сопки, Семейка увидел, что его друг уже успел спуститься почти до ее подножия. Должно быть, военные учения в лагере Узени не пропали для Умая даром — этот истинный сын тайги и впрямь мог бы догнать дикого оленя.

Когда Семейка подоспел к берегу, там он застал толпу гогочущих казаков. Женщина тоже была здесь. Оказалось, она вовсе не испугалась судна и никуда не собиралась убегать. Женщина даже немного говорила по-русски. Она объяснила, что в камчадальском стойбище, в двух верстах выше устья, сейчас гостят пятеро казаков из Большерецкого острога, что они занимаются сбором ясака. Женщина была одета в длинную летнюю кухлянку и кожаные штаны и смотрела на пришельцев весело и дружелюбно. Занималась она сбором клубней сараны и съедобных корней. Женщина уже намеревалась отправиться домой, когда заметила диковинную большую лодку и решила подождать на берегу из любопытства. Она охотно согласилась провести казаков в стойбище.

— А мы-то, мы-то! — хохотали казаки. — Облаву на нее!..

Женщина смеялась вместе с ними. Была она еще довольно молода, румянощека и полногуба. Глаза большие и по-детски лукавые.

— Ну, баба! Хороша баба! Скинуть бы мне годков тридцать, взял бы в женки, — балагурил один из казаков. — Пошла бы?

— Больно старая старик, — засмеялась женщина. —

Хорошая мужик эта. — Женщина ткнула пальцем в Мяту.

Мята покрутил усы и отрубил:

— Приду свататься!

Женщина провела их в стойбище, и вскоре казаки уже обнимались с камчатскими служилыми. Начальником у них был Варлаам Бураго, медлительный, угрюмый и неразговорчивый человек медвежьей силы.

Селение оказалось небольшим, десятка на два балаганов.

Соколов и Семейка на ночь устроились в одном из самых больших балаганов вместе с Варлаамом Бураго. Постелями им служили охапки пахучей сухой травы. Уснуть, однако, пришлось не скоро. Устраиваясь на своем ложе, Соколов спросил Варлаама, жив ли и вполне ли здоров Иван Козыревский.

— А что? — помедлив, неопределенно отозвался Бураго.

— Вот Семейка Ярыгин, толмач мой, — большой друг Козыревскому, — пояснил Соколов. — Парень он, можно сказать, здешний. Сын погибшего начальника Большерецкого острога Дмитрия Ярыгина. С Козыревским они еще до сожжения острога сдружились. Понятно, парень во сне видит, как бы с Козыревским встретиться.

— Нету больше Ивана Козыревского, — угрюмо и даже со злостью отозвался Бураго, и у Семейки сразу сжалось сердце.

— Убили его, стало быть, камчадалы?

— Камчадалы не убивали его. А только нету больше Ивана Козыревского. Есть брат Игнатий.

— Он что, ушел от мира, постригся в монахи? — догадался Соколов.

— Не по своей воле, — с горечью проговорил Бураго. — Заставил его постричься в монахи приказчик Камчатки Алексей Петриловский. И получил Иван при пострижении имя Игнатия. Нету, нету больше Ивана.

— Да как Петриловский посмел? — возмутился Соколов.

— Это Козыревского-то в монахи? Или долгая служба Ивана государю ничего не стоит?

Увидев искреннее возмущение Соколова, Варлаам преобразился. Его угрюмость и молчаливость как рукой сняло.

— Как Петриловский посмел, спрашиваешь? — заговорил он с лихорадочным ожесточением. — А так и посмел. Он все смеет. Кто ему тут указ? Припомнил он Ивану участие в убийстве атамана Владимира Атласова и других камчатских приказчиков-лихоимцев, бунт одиннадцатого года припомнил. Отобрал все пожитки, бил кнутом и упрятал в монашью обитель. А поживился он на Козыревском крепко. Одних соболей отписал на себя тридцать сороков. Все, что скопил Иван за свою четырнадцатилетнюю службу. Человека большей корысти, чем Петриловский, во всей Сибири не сыщешь. Всю Камчатку он высосал, не продохнуть ни нам, служилым казакам, ни инородцам. Где найдешь управу?

— Ну, это ты зря, Варлаам. Найдется и на него управа, — проговорил Соколов с тем ледяным спокойствием, которое, как знал Семейка, было страшней всякой ярости. — Если все, что ты здесь говорил, правда, тогда я сам вмешаюсь в ваши дела. У меня в команде много добрых молодцов. Сообща наденем на Петриловского узду. Знавал я его по Якутску. Казак куражистый и корыстливый. То верно. Однако ж дойти до такого — надо совсем потерять голову... Стало быть, Козыревский насильственно пострижен?

— Да он ли один? — заскрипел вдруг зубами Варлаам. — Есть такие, кого Петриловский и вовсе сжил со свету.

Бураго рассказал, что Петриловский запер в амбар его брата Алексея и держал его там без воды и пищи до тех пор, пока казак не умер. Вина Алексея состояла в том, что он прямо в глаза обвинил Петриловского в лихоимстве.

Соколову с Семейкой теперь стало понятно, почему, завидев лодию, жители камчадалских стойбищ прятались в тайге.

— Придется ехать в Нижнекамчатский острог, — решил Соколов. — Потребую у Петриловского отчета. На то у меня наказная память есть. Велено мне от якутского воеводы, если представится возможность, вывезти с Камчатки государеву ясачную казну. Спрошу с Петриловского, как он ведал ясачным сбором и как правил государеву службу. Боюсь только, что из-за этой задержки не успеем мы в нынешнем году вернуться в Охотский острог.

— Постой за дело государево и за нас, казаков,

Кузьма! — взмолился Бураго. — Житья нету. А мы тебе, все до единого, подмогой будем!

— А Завина где, жена Козыревского? — вмешался в разговор Семейка.

— Завина?.. А, та камчадалка... Петриловский на красу ее прельстился, увел в свой дом. Да недолго она взаперти у него пробыла, руки на себя наложила...

— Что ты говоришь, Варлаам, — руки наложила! — горестно воскликнул Семейка. — А Данила Анцыферов? Как он позволил Петриловскому так обидеть Козыревского, почему за Завину не вступился?

— А все это уж после гибели Анцыферова произошло. Погубили его камчадалы на Аваче. Встретили в одном из стойбищ с лаской да приветом, а потом сожгли в балагане ночью вместе с пятерыми другими казачками...

Все эти новости ошеломили Семейку. Плакал он молча, стиснув зубы. В голове остро билась мысль: «Добраться бы до этого Петриловского!..» Он бы разрядил в него свой самопал. А там будь что будет!

Соколов с Бураго между тем продолжали свой разговор. Варлаам предложил Кузьме провести судно еще южнее, к устью реки Колпаковой. Там, как и предполагал Треска, река при впадении в море образовала большой ковш, удобный для стоянки и зимовки судна. При этом Бураго предупредил, что на море со дня на день грянут затяжные шторма и следует поспешить.

Утром все казаки покинули камчадалское селение. К удивлению казаков, за Мятой, весело улыбаясь, шла вчерашняя камчадалка.

— Ты чего это? Аль и впрямь оженился? — пристали к Мяте. — Ужель с собой взять надумал?

— А чего? — смущенный всеобщим удивлением, отозвался Мята. По губам его блуждала широкая виноватая улыбка. — Баба она ладная и ласковая. Будет мне добрая женка. Надоело в бобылях ходить. Не силой веду, сама идет.

Увидев, что женщина решила отправиться за Мятой по доброй воле, Соколов согласился взять ее на судно. Женщина сегодня понравилась всем еще больше. Была она чисто умыта (Мята, должно быть, об этом позаботился), от ее розовых свежих щек и больших темных глаз, казалось, исходил свет. С этой женщины для ка-

заков началась полоса удач, и все решили, что будет хорошо, если она и дальше последует за ними.

— А как зовут твою суженую, Мята? У нее, чать, и христианского имени-то нету.

— А камчадалское имя ее похоже на Матрену, — охотно отозвался Мята. — Так и буду ее звать — Матрена.

— Ты, гляди, не забудь ее научить молиться, — посоветовал один из казаков. И, обращаясь к женщине, потребовал: — Ну-ка, скажи, Матрена: «Спаси, Иисусе, и помилуй».

— Спасибо в ус и помалу, — послушно повторила Матрена и засмеялась вместе с казаками.

— Похоже! — одобрили казаки. — Не горюй, Мята!.. Через месяц она за тебя будет молитвы на ночь читать. Повезло Мяте, в ус его помалу!

Возвращение на корабль было радостным. Узнав, что камчатским казакам известно удобное для стоянки судна место, Треска просиял.

— Ну вот, Кузьма, — ухмыльнулся он. — Что я тебе говорил? Теперь, считай, половина наших мытарств позади.

— Добро, если бы половина, — со вздохом сказал Соколов.

И тут Соколов увидел, что глаза у Трески остановились, расширились.

— Это, — указал Треска на Матрену. — Это что? Это как? Это же ведь баба!

— Ну, баба и есть, — подтвердил Соколов и стал пояснять, что это та самая женщина, на которую они устраивали облаву.

Но было видно, что мореход не слушает его объяснений.

— Баба! На судне баба!.. — твердил он, словно на него рушились небеса.

— Ну, это ты брось! — гневно сказал Соколов, поняв, в чем дело. — Аль архангелогородские рыбачки не хаживали вместе с тобой в море? Чего ты трясешься?

Все до единого казаки присоединились к Соколову.

— Это не та баба, от которой бывает на море беда, — дружно заверили они Треску. — С этой бабой мы готовы идти по любым пучинам.

Мята, взмокший до нитки во время этих переговоров, подступил к Треске:

— Христом-богом молю, Никифор, не гони ее прочь с судна. То женка моя!

Треске пришлось уступить всеобщему напору. Он суеверно сплюнул и, пробурчав под нос, что теперь он ни за что не ручается, распорядился подымать паруса.

Вопреки опасениям Трески судно по приливу благополучно достигло реки Колпаковой и бросило якорь в ее ковше.

Ковш в длину достигал полуверсты, ширина его была не меньше двухсот сажений. От моря его отгораживала широкая песчаная кошка. Бураго оказался прав: едва казаки убрали паруса, на море заштормило. Там гремели разъяренные волны, а в ковше было тихо и спокойно. Беда словно гналась за мореходами по пятам, да чуть-чуть опоздала. Казаки то ли в шутку, то ли всерьез объясняли свою удачу присутствием на судне Матрены, хотя Треска по-прежнему не разделял их мнения.

Оставив на судне нескольких человек во главе с Треской и Бушем для постройки зимовья и ухода за лодией, Соколов с остальной командой пешим ходом отправился в Большерецк, с тем чтобы оттуда двинуться в Нижний Камчатский острог.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Слово и Дело Тосударева

Верстах в семи выше Нижнекамчатского острога, отделенный от коренного берега неширокой протокой, на реке Камчатке поднимался зеленый остров, заросший ветлой, малиной и смородиной. Ветла была здесь столь толста в стволе и высока, что казалось, мела вершинами небеса. Однако не могучей ветлой был известен этот остров на Камчатке. В самом центре его, защищенная от ветров с одной стороны полукружьем скал, а с другой — кражистыми ветлами, стояла монашья обитель приписки якутского Спасского мона-

стыря. Приземистое строение казарменного вида, с узкими, как бойницы, прорезями окон, где располагались кельи братии, небольшая часовенка, амбары, обложенные дерном земляные погреба, где хранили съестные припасы, кузня, сушильные навесы — вот и все хозяйство обители. К этому следует добавить, что обитель была обнесена стоялым бревенчатым палисадом — на случай нападения камчадалов. И хотя число братии едва достигало в те дни двадцати человек, обитель вполне можно было посчитать за четвертую — после Большерецкого, Верхне- и Нижнекамчатского острогов — казачью крепость в камчадальской земле.

Постройка обители была завершена два года назад насильственно постриженным в монахи казачьим есаулом Иваном Козыревским. Видимо, отречение Козыревского от мирской жизни было угодно самому небу, ибо вслед за этим событием на безбожную, богохульную и вольную казачью Камчатку снизошла святость. Дух этой святости был настолько силен и в то же время действовал столь хитро, что примерно за полгода вырвал из казачьих рядов полтора десятка самых буйных, отпетых голов, давно забывших, какой рукой креститься. Все они постриглись в монахи и во главе с Мартианом и братом Игнатием, по слухам, с раннего утра до темной ночи были заняты в обители одним: творили молитвы. Избавившись от самых беспокойных служилых, Петриловский мог безнаказанно править Камчаткой по своему усмотрению.

Именно сюда, к зеленому острову, в середине сентября плыл длинный узкий бат, которым правил добрый молодец, светлородый, с красным от загара лицом, в суконном кафтане цвета болотной ржавчины (для перекраски выцветших одежд казаки, подражая камчадалам, нередко пользовались отваром ольховой коры).

Пристав к острову, он прыгнул на песчаный берег, привязал бат к стволу молодой ветлы и прокричал вороном. Видимо, это был условный сигнал. И действительно, точно таким же криком ему ответили из глубины острова.

Вскоре на берегу появился дюжий чернородый монах в рясе мышинного цвета.

— Колмогорец! — радостно воскликнул он. — Привез?

— Привез, Харитон, привез, — отозвался весело

Колмогорец. Деловито полез в бат, вытащил небольшой мешочек. — На-ка вот, держи. Тут фунтов двадцать свинцового гороху будет.

— Эк ты! — восхищенно крикнул Харитон, принимая тяжелый мешочек. — Будет радость нашему Ивану, то бишь, тьфу-тьфу, брату Игнатию.

— А теперь прими-ка вот это. — Колмогорец бережно вытащил из бата длинный, завернутый в холстину предмет.

— Пищаль! — испуганно воскликнул Харитон.

— Она самая! — подтвердил Колмогорец.

Руки у Харитона вдруг затряслись, и он уронил сверток на песок.

— Да как ты мог! — воскликнул он в ужасе. — Ведь того казака, у которого ты уволок пищаль, Петриловский забьет батогами до смерти. Иль не знаешь ты, что нет для казака страшней беды, чем потерять государево оружие?

— Аль дитя я неразумное, чтоб оружие у казаков воровать? — обиделся Колмогорец. — То пищаль самого Петриловского. Можешь развернуть и проверить. Там такая резьба на ложе — ахнешь. И серебром, и камнем цветным сплошь ложа изукрашена.

— Так, значит, ты это Петриловскому свинью подложил? Ха! Ха-ха! Ох, умру! — И, скорчившись, Харитон зашелся в таком громоподобном смехе, что в кронах ветельника прошел встревоженный шум.

— Тише ты! Звери с Камчатки разбегутся! — урезонил его Колмогорец.

Харитон опять посерьезнел.

— А ведь это дело так не пройдет, — уверенно сказал он. — Петриловский половину казаков перепорет, допытываясь, кто взял пищаль.

— Никого он не перепорет. Пищаль эта не краденая. Утопая она. Петриловский пищаль да пистолы повсюду с собой таскает. У него и охрана постоянная есть, а только он даже на охоту выезжает, изоружась по завязь. Никому не доверяет. У такого пищаль стащишь! Он сам у тебя последнее стащит, исподнее сдерет, а для себя и на грош убытку не потерпит... Поехали это мы ден пять назад на Кривую протоку на уток. Не знаю, как вышло, а только бат Петриловского перевернулся, и пищаль бултыхнулась в воду. Велел он нам достать. Ну, ослушаться мы не посмели, раз-

делись, гнус тело облепил. Стали нырять. Я на пищаль сразу наткнулся. Да только не вытащил, а под водой подальше от того места оттолкнул. Потом еще раз нырнул и совсем близко от берега под корягой упрятал. Мне кричат: не там-де, дурак, ищешь! Я послушался и стал нырять вместе со всеми. Всю воду в протоке взбаламутили, а пищаль не нашли. Опосля я ее вынул из-под коряги, нерпичьим салом обмазал да в холстину завернул.

— Ловко! — прищелкнул языком Харитон. — Стало быть, это теперь у нас пятая пищаль в обители будет. Ложу, конечно, придется сменить Ну молодчага!

Кроме свинца и пищали, Колмогорец извлек из брата несколько костяных пороховниц, полных пороха, и свертки с гостинцами.

Вскоре Харитон и Колмогорец уже стучались в дверь кельи Игнатия.

Дверь им открыл тонконосый широколобый монах с прямыми льняными волосами, спадавшими на плечи, и пронзительным взглядом больших серых глаз, прикрытых тяжелыми веками. Это и был брат Игнатий. Одет он был, однако, не в рясу, а в тонкую белую льняную рубаху и суконные темные штаны. На ногах — домашние туфли, сшитые из кожи молодой нерпы.

— Колмогорец! Друзе! — Козыревский стиснул плечи гостя так, что тот выронил все свои свертки.

Протиснувшегося вслед за Колмогорцем Харитона хозяин кельи отправил в трапезную, сообщить настоятелю обители Мартиану, чтобы его не ждали и приступали к вечерней трапезе.

Колмогорец сообщил, что в Нижнекамчатском остроге Козыревского готовы поддержать двадцать казаков во главе с Кузьмой Вежливцевым. Колмогорец говорил от его имени.

— Двадцать — это мало, — покачал головой Козыревский.

— То двадцать добрых казаков, — не согласился с ним Колмогорец. — Каждый двоих стоит. Да у тебя в обители почти два десятка своих людей.

— Мои безоружны. Пять пищалей, считая и ту, что ты сегодня привез, несколько пистолей, десятков сабель — вот и все наше оружие, — подытожил Козыревский. — У Петриловского же пушки в крепости. Беда

еще в том, что у нас в обители только две кольчуги. Изрешетит нас Петриловский — через дырки ветер свистеть будет. Надо ждать.

— Сколько ждать можно, Иван? И так уже третий год под Петриловским маемся, короста от батоков со спины не слазит. А Петриловский, ходит слух, с Камчатки будущим летом в Якутск податься решил с государевой казной и пожитками граблеными. Он что ведь удумал? Разошлет по богатым сободем рекам на всю зиму казачьи отряды, чтоб казаки не только ясак собирали, как было раньше, но и к охоте камчадалов по-нуждали. Думает, он за эту последнюю зиму добычу свою удвоить.

— Вот как! — оживился Козыревский. — То новость важная. И когда же первые отряды крепость по-кинут?

— А как только ляжет прочный снег. Через месяц.

— Через месяц? Вот и хорошо. Передай Вежливцеву, чтобы не попал со своим отрядом ни в первый, ни во второй посыл. Пусть заболит, что ли. В гот день, когда крепость покинет второй отряд, у Петриловского останется, положим, шестьдесят с чем-то казаков, из них двадцать Кузьмы Вежливцева. Тут мы и нагрянем. Мои монахи безоружны — следовательно, припишем к вашим двадцати только десять. Получается тридцать на сорок. При этом пушкарни — как раз петриловские холуи. Стало быть, счет не в нашу пользу. И тут вот что должно разрушить оборону неприятеля. Кто-то из наших — скажем, ты сам — заявит на Петриловского Слово и Дело государево.

— Слово и Дело! — испуганно ахнул Колмогорец, привставая.

— Что, страшно? То-то и оно! Тебе страшно, и Петриловскому станет страшно, и всем в крепости. На это я и рассчитываю. Те, кто не очень крепко держится за Петриловского, придут в смятение. А нам только того и надо.

— Все понял, Иван. Рисковое, Иван, дело. Того, кто зря скажет Слово, могут засечь насмерть.

— Смерти боишься?

— Кто же ее не боится? — рассудительно отозвался Колмогорец. — Чать, все ее боятся, все жить хотят.

— А я смерти не боюсь, — побелевшими вдруг губами прошептал Козыревский. — Злоба моя и нена-

висть к Петриловскому сильнее страха смерти. Если у Кузьмы Вежливцева все казаки смерти боятся, тогда и дело начинать не стоит.

Последние слова Козыревского прозвучали сурово и жестко. Пристыженный ими, Колмогорец махнул рукой:

— Эх, Иван! Пропадать так пропадать! Слово на Петриловского я заявлю сам.

— Пропадать нам не надо, — не согласился Козыревский. — Пусть пропадает Петриловский со своими приспешниками.

Колмогорец не зря говорил о всегдашней настороженности Петриловского. До начальника Камчатки дошло, что в отряде Кузьмы Вежливцева зреет недовольство. Однако он не только воздержался от ареста Вежливцева, но и решил помочь ему взбунтовать казаков. У него уже давно зрел план сыграть на этом. Он опасался, что, когда ему на смену пришлют из Якутска нового начальника Камчатки, тот не преминет отписать в Якутск обо всех казачьих и инородческих обидах. И тогда не почет и сытая жизнь ждут его, а тюрьма и лишение имущества. Небольшой, быстро и решительно подавленный казачий вооруженный бунт был бы ему, Петриловскому, теперь очень кстати. Уж он бы постарался заставить заводчиков бунта на пыточных расспросах дать такие показания, какие необходимы для того, чтобы он, Петриловский, предстал в глазах якутского воеводы и сибирского губернатора находчивым и беспощадным стражем государевых интересов.

Ночью Петриловский вызвал к себе человека, который первым сообщил ему о недовольстве команды Вежливцева. Это был задержанный многосемейный казачонка с вечно испуганным, испытанным лицом, обтянутым землистой кожей. Казалось, этого человека только что вынули из петли. Землистый оттенок его лица между тем объяснялся очень просто: вот уже пять лет никто не видел этого человека трезвым. Казаки дали ему прозвище «Бражник» и уже забыли его настоящее имя. Бражник, виновато улыбаясь, охотно отзывался на свое прозвище и всем в крепости казался человеком безобидным.

Комната, в которой Петриловский принял ночного

гостя, была освещена пламенем всего двух плошек, и во всех углах здесь лежал сумрак. Сумрак лежал и на узком, сухощавом лице хозяина комнаты, таился в его глубоко загнанных под лоб глазах. Негромким, но резким голосом посвятил он своего соглядателя в задуманный план. Бражнику надлежало всюду высказывать недовольство жестокостью Петриловского и постараться войти в доверие к Вежливцеву.

Спустя несколько дней Петриловский уже знал о дне выступления казаков.

Накануне бунта из крепости выступил большой казачий отряд, которому по приказу Петриловского следовало держать путь на реку Еловку, и в остроге стало совсем пустынно.

На другое утро крепость огласили крики:

— Слово и Дело государево! Слово и Дело государево!

Это кричал на площади перед приказничьей избой Колмогорец. К нему, бросив крепостные стены, спешили люди Кузьмы Вежливцева, бежал крепостной люд, привлеченный грозными словами. Вскоре на площади все кипело. Заранее готовый ко всяким неожиданностям и все-таки захваченный врасплох Словом государевым, на крыльцо приказной избы выскочил одетый в малиновый кафтан Петриловский. В обеих руках его были заряженные пистолы. При появлении приказчика на площади легла тишина. Слышался только скрип снега под ногами толпы.

— За кем ты знаешь Дело великого государя, Колмогорец? — громким резким голосом спросил Петриловский.

— За тобой, аспид и кровосос! — смело ответил Колмогорец. — Я заявляю, что ты правишь Камчаткой не по разуму и по воле государевой, а по одной своей корысти. Я обвиняю тебя в разбое и насилиях. На твоей совести смерть Алексея Бураго, на твоей совести кровь многих неповинно брошенных под батоги казаков, слезы инородцев. Где наше казацкое жалованье, положенное нам государем? В твоих сундуках и амбарах! Разве не грабеж и разбой это? Я обвиняю тебя в том, что ты из ясачных сборов кладешь одного соболя в государеву казну, а двух в свои собственные амбары. Кто ты есть после этого, как не вор и грабитель? И разве не место тебе в тюрьме?..

Речь Колмогорца затягивалась, и Петриловский выиграл несколько драгоценных минут. К крыльцу бежали верные начальнику казаки. Всех их оказалось до двадцати, и они оттеснили толпу от крыльца.

Увидев, что опасность миновала, Петриловский поднял руку, будто бы собираясь отвечать Колмогорцу. На самом деле это был знак затесавшемуся в толпу Бражнику. Тот выхватил из-за кушака пистоль и выпалил. Пуля ударила в косяк на сажень от плеча Петриловского.

— Бунт! — закричал Петриловский. — Вот для чего тебе, Колмогорец, понадобилось заявлять на меня Слово! Мне ведомо давно, что вы измыслили с Вежливцевым взбунтовать казаков и порешить меня, верного слугу государева. Все твои слова — ложь и вымысел!

И в этот момент вместо ожидаемых монахов в крепость ввалилась толпа отправившихся вчера на Еловку верных Петриловскому казаков. Выстрел Бражника послужил для них сигналом к действию. Молча и деловито расталкивая толпу, они выискивали на площади тех, чьи имена были им заранее известны, разоружали и скручивали им руки.

Одними из первых были схвачены Вежливцев и Колмогорец. Петриловский, заложив руки за спину и покачиваясь с носков на пятки, почти со скукой следил за тем, как хватали бунтовщиков. Все шло по плану.

По приказу Петриловского на площади расчистили место и поставили туда козлы. К козлам подвели Колмогорца, сорвали с него одежду. Начальник Камчатки спустился с крыльца, приблизился к своему пленнику.

— Нехорошо, нехорошо, Колмогорец, — недобро усмехаясь, проговорил он почти в самое ухо бунтовщику. — Сейчас тебя будут бить, пока ты не проглотишь Слово государево. Или, может, ты это по дурости ляпнул? Тогда откажись при всем честном народе.

— Не откажусь! — глядя с ненавистью в ледяные глаза Петриловского, ответил Колмогорец. — Ты не смеешь бить меня. Меня должен выслушать якутский воевода.

— Должен-то должен, — по-прежнему усмехаясь, согласился Петриловский. — Да только больно далеко отсюда до воеводы. — И, повысив голос, приказал: — Кинуть на козлы! Бить за бунт и за напраслину, пока сей червь дыхание не испустит!

Уже много раз опустилась на спину Колмогорца ременная плетъ, когда неожиданное появление в крепости незнакомых людей резко изменило весь ход событий.

Широкоплечий человек со строгим, почти суровым лицом, медным от загара, и густой гривой русых волос, выбивавшихся из-под шапки, крупными шагами подошел к Петриловскому и решительно приказал снять Колмогорца с козел.

Петриловский опешил.

— Это приказ — мне?

— Тебе, если ты и впрямь приказчик Камчатки.

— Да кто ты таков, чтобы мне приказывать? — нерешительно запротестовал Петриловский, меж тем как невесть откуда появившиеся рослые монахи, не ожидая конца этого столь удивительного разговора, сняли Колмогорца с козел и унесли в ближайшую избу.

— А ты взглядишь повнимательнее, может, признаешь, — отозвался незнакомец.

Петриловский мучительно соображал, где он видел эти висячие брови, этот требовательный взгляд карих глаз, густую бороду цвета спелой ржи.

— С-Соколов? — проговорил он наконец.

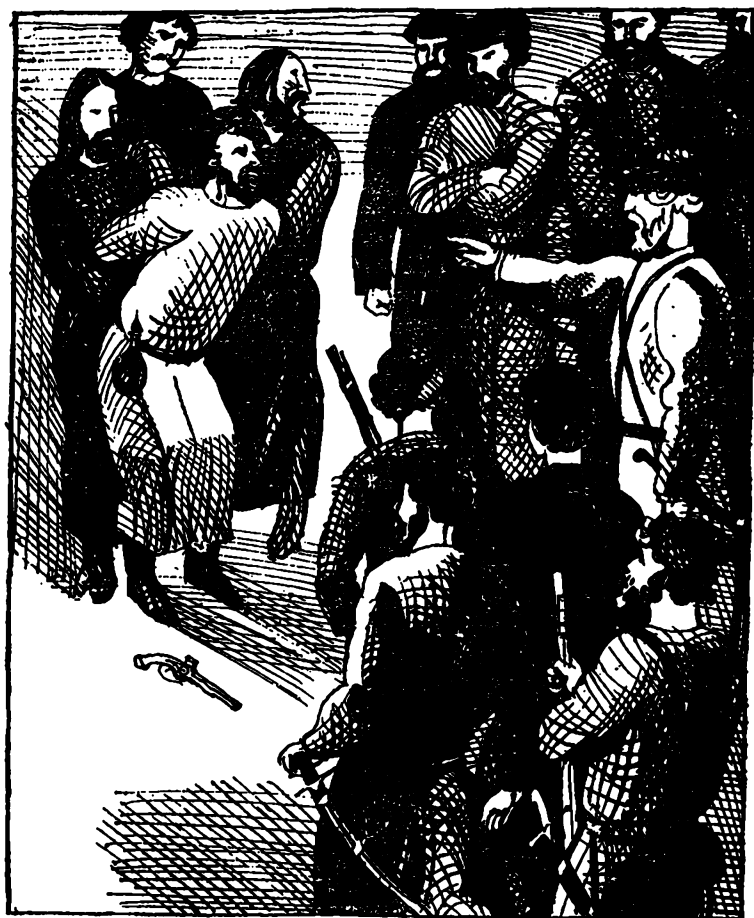
— Ну вот, видишь, узнал. Стало быть, знаешь и то, что я тоже казачий пятидесятник, как и ты сам.

— Прибыл сменять меня? — осевшим голосом спросил Петриловский.

— О смене говорить пока рано. У меня приказ якутского воеводы провести ревизию твоей службы — дошли вести о том, что ты занялся разбоем. Вот и проверим, так ли это! — Соколов старался говорить теперь громко, чтобы его слова были слышны всем на площади. — А второе дело у меня — вывезти с Камчатки государеву ясачную казну. Мы проложили по указу государя путь морем.

Узнав, что вновь прибывший человек действует по указу самого государя, казаки отшатнулись от Петриловского, и вокруг него образовалась пустота. Видя неминуемую свою гибель, начальник Камчатки решился на крайнюю меру:

— Казаки! Разве вы не видите, что это такой же бунтовщик, как и Вежливцев с Колмогорцем? — закричал он. — Схватите его немедленно! Этот человек не может бумаж! Все его слова — ложь!



Однако дюжие монахи кинулись к Петриловскому, отняли у него пистолы, сорвали саблю. Были разоружены также несколько самых близких Петриловскому казаков.

Начальника Камчатки заперли в амбар. Соколов, Козыревский и Вежливцев направились в избу, куда унесли Колмогорца. Его уже отлили водой, перевязали раны на спине, приложив к ним листья подорожника. Узнав, как повернулись события в крепости, Колмогорец слабо улыбнулся Соколову и поблагодарил за выручку. При этом в сторону Козыревского он посмотрел с укоризной, но Иван тут же объяснил, что монахов задержал ночной снегопад, который завалил тропу, и им пришлось добираться до крепости гораздо дольше, чем они рассчитывали. Увидев у своей постели прибывшего вместе с Соколовым Варлаама Бурого, Колмогорец кивнул и ему:

— Прости, друг, брата твоего, Алексея, мы не уберегли.

Бурого только тяжело вздохнул.

Протиснувшись сквозь толпу казаков к постели Колмогорца, Семейка на мгновение поймал взгляд Козыревского: «Узнает?» Но глаза Козыревского лишь скользнули по его лицу. Потом, словно его вдруг подстегнули, Иван резко мотнул головой, уставился в изумлении на молодого казака.

— Семейка! — ахнул тихо, еще неуверенно и тут же сорвался с места: — Семейка! Ярыгин! — подбежал, крепко обнял за плечи, расцеловал: — Он! Отыскался! — Это уже всем присутствующим. — Гляньте, какой казачина вымахал! А был — во! — Козыревский показал себе по пояс. — От зени две пядени, от горшка два вершка! Ха! Ха-ха-ха! — рассмеялся сочно, весело. — Камчатский корень! У нас тут все растет не по дням, а по часам. Чтоб меня черти сожрали вместе с потрохами, если я не люблю этого казачину!

«Казачина» смутился, даже вспотел оттого, что все взгляды скрестились на нем.

— Ну, вот и свиделись, — сказал Соколов. — А то у него только и разговоров было, что Козыревский да Козыревский...

Через неделю, собрав казаков на площади, Соколов обнародовал результаты ревизии.

— Братья казаки! — начал он, заранее представляя,

сколь ошеломляющее действие произведет его речь на служилых, и сам все еще дивясь тому, что открыл он во время расследования. — Выслушав обиды ваши и учинив начальнику Камчатки Алексею Петриловскому допрос под пыткой и при свидетелях, выяснил я, что оный Петриловский, забыв страх божий и поступаясь волей государевой, истинно занялся грабежом и разбоем ради лишь одной своей корысти. Ныне отписано мной на государеву казну грабленых пожитков Петриловского соболей сто сорок сороков!

По площади прошел стон.

— Лисиц красных — четыре тысячи!

— Четыре тысячи!.. — эхом откликнулась площадь, уже загораясь гневом и возмущением.

— Лисиц сиводушатых — четыреста! — продолжал перечисление Соколов. — Каланов — пятьсот! Выдр — триста! Шуб соболевых и лисьих — осьмнадцать...

— То не казак — то князь! — крикнул кто-то.

— Повесить его на крепостных воротах!

— За каждую слезу нашу — по батогу ему! На три смерти батогов хватит!

Страсти разгорались не на шутку. Кто-то уже порывался к амбару, где был заперт Петриловский, намереваясь взломать дверь.

— Братья казаки! — поднял руку Соколов. — Терпеть волка за начальника в Камчатке против государевых интересов. Посему вы выбирайте себе сами другого начальника, а Петриловского я отвезу на суд к воеводе.

— Вежливцева! — закричали казаки. — Хотим Кузьму Вежливцева! Он нам обид чинить не станет!

В этот день начальником Камчатки стал Кузьма Вежливцев. Избрание нового начальника, из своих, усмирило казачьи страсти, и дрожащий от страха Петриловский остался под стражей в амбаре.

Глава последняя

Всю наступившую после этих событий зиму Семейка провел в обители.

Козыревский одобрил намерение Семейки отбыть

в Москву, с тем чтобы поступить в Навигацкую школу, и охотно учил его письму, счету, умению снять чертеж с местности — всему, что знал сам. Они готовили для Соколова карту Камчатки, Курил и бассейна Ламского моря. С карты этой Семейка снял копию, чтобы предъявить при поступлении в Навигацкую школу.

Семейка заметил, что одно упоминание о Завине причиняет Козыревскому нестерпимую боль. Поэтому в разговорах с Иваном он старался поменьше ворошить прошлое. Выяснил он только, что из прежних его знакомых Харитон Березин был сожжен вместе с Анцыферовым камчадалами на Аваче, а Григорий Шибанов казнен за убийство приказчиков.

Козыревский намеревался снять монашеский сан и выехать с Камчатки.

— Надеюсь, скоро свидимся, — говорил он Семейке при прощании. — Попаду в Якутск, так и до Москвы найду случай добратся. Не могу тут жить, где все напоминает о ней...

«Она», как сразу понял Семейка, — это была Завина.

Проститься с Семейкой вышел и Мартиан. Рыжая борода его была перевита сединой, словно густым туманом, лицо изрезали морщины. Трижды поцеловав и перекрестив молодого казака, он сказал коротко и ласково:

— С богом, сынок... Не забывай о нас... в глуши пребывающих.

Метельная и снежная, с частыми ураганными ветрами, которые валили человека с ног, миновала камчатская зима.

План Мятя остаться навсегда на Камчатке чуть было не рухнул. Дважды обращался он со своей просьбой к Соколову, и тот оба раза отказывал. Мятю спас Треска. Сообразив, что если Мятя останется на Камчатке, то судно удастся уберечь от присутствия женщины, мореход, не упоминая имени Мятя, высказал Соколову пожелание оставить в Большерецке кого-либо из команды, с тем чтобы было кому встречать прибывающие из Охотска суда, ибо в следующие плавания решено было проводить судно в устье Большой реки.

— И кого же ты надумал оставить? — спросил Соколов.

— Уж и не знаю, Кузьма, — схитрил мореход. — Чать, каждому охота в Якутск вернуться. Прямо жалко того казака, которого придется оставить. Вот если б кто по доброй воле согласился...

— Постой-ка, постой, — перебил его Соколов. — Кажись, есть такой человек. Не далее как два дня назад у меня Мята просился на Камчатке его оставить.

— Да ну? — притворно удивился Треска. — Тогда надо не мешкая звать его да спытать, не передумал ли.

Вызванный к Соколову Мята подтвердил, разумеется, свое желание остаться в Большерецке. К нескрываемой радости беглого бунтовщика и плутоватого морехода, Соколов написал Мяте соответствующий наказ и выдал жалованье за год вперед.

К устью Колпаковой прибыли в первых числах мая. Лодия спокойно покачивалась на синей глади ковша. Встретивший Соколова и Треску Буш доложил, что судно вполне готово к отплытию: припасы погружены, пресной воды взято с расчетом на месяц плавания. В море, правда, еще видны плавучие льды.

Потянулись дни ожидания.

Наконец льды на море исчезли. Треска хотел ждать еще недельку-другую для верности, однако, уступив требованию всех казаков, вынужден был дать команду сниматься с якоря.

Семейка прощался с Мятой.

— Ну вот, хлопчик, и пора тебе, — говорил Мята, ероша Семейкины волосы своей широкой ладонью. — Свидимся ли когда — одному богу ведомо. Теперь, слава богу, не один ты. Соколов не даст тебе пропасть. Однако же, если худо будет, помни о том, что есть у тебя на Камчатке человек, который тебя всегда как отец примет.

Мята крепко обнял Семейку за плечи, трижды поцеловал и, перекрестив, отпустил. Семейка, пряча слезы, поднялся на борт лодии.

Мята и улыбающаяся по своему обыкновению Матрена, стоя на косе, долго махали вслед судну.

Берега Камчатки уходили все дальше и дальше. Давно слились с берегом фигурки Мяты и Матрены, сам берег потерял очертания и вытянулся темной нитью; потом и эта нить рассосалась в синем мареве горизонта, и только белоглавые вершины хребтов до са-

мого вечера висели в чистом небе, словно отделившиеся от земли облака.

На другой день утром исчезли и горы. Пустынное море со всех сторон окружило судно, катя белопенные валы навстречу резавшему их форштевню.

Миновали еще одни сутки, и другие, и третьи, а судно, гонимое попутным ветром, все так же спокойно шло на запад. Казаки уже надеялись, что плавание закончится благополучно, что не далее как еще дня через три они увидят охотский берег.

Утро пятого дня выдалось моросливым и холодным, судно вошло в стену тумана. У Трески явилась страшная догадка, что туман рожден ледяными полями. Часа через два у бортов лодки стал слышаться шорох. Казаки сквозь туман разглядели на волнах ледяную крошку.

А предательский туман все наплывал и наплывал и вскоре сгустился до такой плотности, что с трудом можно было различить пальцы на вытянутой руке. Треска, скрипя от ярости зубами, носился по судну, выгоняя всех казаков на палубу и требуя одного: смотреть во все глаза, чтобы не налететь на ледяную глыбу. Однако требование его оказалось невыполнимым: даже Умай ничего не различал в тумане. Парус на передней мачте убрали, и судно замедлило ход. А ледяная крошка все терлась и терлась с шорохом о борта, шорох этот становился с каждым часом громче. Наконец первый легкий удар в днище известил о том, что началась полоса более крупных льдов. Убрали парус и на кормовой мачте, и судно застыло на месте. Впрочем, и с неубранным парусом судно едва продвигалось вперед — в тумане ветра почти не чувствовалось, хотя сам туман и не стоял на месте: полосы и сгустки его текли возле самых глаз, словно мутная река, в которую судно погружилось, как стоячая сонная рыба.

В тумане простояли до самой ночи. При этом не раз в борта лодки ударялись льдины, из чего можно было заключить, что льды перемещаются по воле морского течения. Ночь провели в тревоге и неведении.

К утру поднялся небольшой ветер, и туман рассеялся вместе с ночным мраком. За ночь неведомо откуда взявшиеся льды со всех сторон обступили судно от горизонта до горизонта, и только сама лодка дрейфовала в небольшой прогалине чистой воды. К полудню

и этой полыньи не стало. Льды стеснились вокруг судна, зажали его в белые тысячепудовые тиски. Лица казаков посинели от холода и страха. Каждую минуту ожидали они страшного треска, гибели судна, раздавленного льдами.

Однако к вечеру лед вокруг лодки смерзся в единый монолит, и теперь судно могло погибнуть не раньше, чем будет раздавлена льдина, в которую судно оказалось включено, как букашка в слиток янтаря.

Треска оказался прав: они вышли в море слишком рано. Казаки, которые особенно яростно настаивали на немедленном отплытии от камчатского берега, боялись встречаться взглядом с запавшими глазами морехода.

Минула вторая неделя с того дня, как льды сковали судно, а конца ледяному плену все еще не предвиделось. И хотя почти весь май погода стояла солнечная, однако солнце слишком медленно съедало лед.

В ночь накануне петрова дня Семейка проснулся оттого, что его кто-то тряс за плечо. Привстав на топчане, он увидел Соколова. За столом, возле зажженной площадки, охватив голову руками, сидел Треска.

Семейка торопливо поднялся, уселся рядом с Треской, догадываясь, о чем пойдет речь. Соколов устроился за столом напротив и, внимательно оглядев Семейку, велел докладывать.

Неделю назад они уже собирались вот так же. Тогда было решено урезать ежедневную выдачу пищи казакам на четверть. Кажется, на судне никто даже не заметил того, что порции уменьшились, благо воды каждый пил, сколько хотел: сберегая взятую с собой пресную воду, Семейка с Умаем каждый день закладывали три кадушки льдом. К утру воды в них было столько, что хватало всей команде на день.

— Сладкая трава кончилась. Остатки выдал за ужином, — начал Семейка. — Да то не беда. Казаки не великие сластены. Кореньев сараны полмешка еще есть. Дня на три казакам хватит.

— Растянешь на неделю, — приказал Соколов.

— Мне — что! Растяну, — буркнул Семейка. — Да хлеба ж нет! Муки ячменной полмешка осталось. Кеты соленой почти целая бочка еще.

— Кету не вымачивать. Пусть казаки, насолившись, больше воды пьют. Нерпичий жир есть еще?

— Этого добра полбочонка. Плошки заправлять можно полмесяца.

— Никаких плошек! Жир на освещение больше не выдавать.

— Аль кто его есть станет? — удивился Семейка. — Стошнит же. Он затхлый.

— Может статься, через недельку и нерпичьему жиру казаки рады будут. Понял?

— Понял, чего ж не понять? — обиделся Семейка. — А только вы на меня зря серчаете.

— Ну-ну, будет, хлопец, — строго глянул на него Соколов. — Не до капризов ныне. Серчаю я не на тебя, а на самого себя, что Треску не послушал, не выждал на Камчатке еще с полмесяца.

— Да что уж там, Кузьма, — махнул рукой Треска. — Сдается мне теперь, что по здешнему морю пускаться в плавание раньше середины июня вообще опасно. То-то и оно, что море здешнее раньше проведено не было. Мы первые, нам и все беды первыми от него принимать. Однако надежды я не теряю. Недели через две лед разойдется.

— Через две недели? — ахнул Семейка. — Чем же я казаков кормить буду?

— Тяни, хлопец, тяни, как можешь. В этом теперь наше спасение, — устало сказал Соколов. — Надо выжить. Я прикажу казакам поменьше шляться по судну, больше спать.

Спустя несколько дней после этого разговора на море разыгралась буря. Льды с грохотом напозлали друг на друга, однако льдина, в которую вмерзло судно, устояла. Вслед за бурей начался затяжной дождь-мелкосей. День за днем висел он над судном, а просвета в тучах все не было видно. От голода и промозглой сырости казаки впали в уныние, стали раздражительны и угрюмы. Кому-то пришла в голову нелепая мысль, будто все беды происходят оттого, что на судне находятся душегубские пожитки Петриловского. Если их не выбросить в море, льды не выпустят судно.

Мысль эта захватила почти всю команду, и на судне едва не вспыхнул бунт. Соколову с Треской стоило большого труда отговорить казаков от покушения на государственную казну.

Вслед за тем казаки начали утверждать, будто счастье отклонилось от них из-за того, что они оставили на Камчатке Мятю с Матреной. Если бы-де Треска из-за своего предубеждения к камчадалской женщине не заставил Соколова освободиться от нее, никаких мучений они не терпели бы. Камчадалка-де приносила им удачу.

Конец этой распри и всеобщей грызне положил голод.

Опухнув и потеряв силы, казаки вповалку лежали на нарах, молясь и ожидая смерти.

Семейка с Умаем, сами едва держась на ногах, трижды в день поили ослабевших водой. Кроме крошечного кусочка отваренной кеты, за обедом они каждому казаку выдавали кружку кипяченой воды с растопленным нерпичьим жиром. Жир казаки пили с трудом, некоторых тут же рвало.

Долгожданное солнце снова появилось наконец на небе. На судне сразу сделалось теплее. Кое-кто из казаков нашел в себе силы выползти наверх.

После полудня задул резкий, свистящий ветер. Он не стихал до вечера, дул всю ночь, а к утру стал столь силен, что начали со скрипом гнуться мачты, грозя обрушиться на палубу.

Утром казаки сперва увидели далеко, у закраины ледяного поля, чистую воду, и у них появилась надежда на спасение.

Ночью впервые за долгие недели под днищем был слышен плеск воды: льдина подтаяла снизу. Судно, должно быть, дрейфовало в струях теплого течения.

Со следующего утра казаки стали делить день на часы, ибо с каждым часом ледяное поле уменьшалось и уменьшалось, словно по какому-то волшебству.

Семейка в этот день отварил целую кетину. Кроме того, из затаенной горсти муки он испек последнюю лепешку, и казаки получили на обед по крошечному ее кусочку.

Ночью Семейка был разбужен грохотом и сотрясением судна. Вскочив с топчана, он едва удержался на ногах: судно накренилось на правый борт. Затем оно

дернулось и накренилось влево. И вдруг плавно и легко закачалось с борта на борт!

Торопливо одевшись, вместе с Умаем выскочили они на палубу.

Там уже толпились возбужденные казаки. Треска, неистово сверкая глазами, проорал ставить паруса на всех мачтах. Ослабевшие казаки с трудом выполнили его приказание. Лодия дернулась и, медленно набирая ход, пошла вдоль трещины.

Вскоре Семейка заметил, что расколовшаяся льдина перестала расходиться и ее половины начали сдвигаться. Теперь все поняли тревогу Трески и его поспешность. Если они не успеют выскочить из водного коридора до того момента, как льдины сомкнутся, страшно подумать, что произойдет.

Судно между тем шло уже полным ходом, пеня черную, как деготь, воду. А белое чудовище — льдина — все продолжало сжимать стальную пасть.

У Семейки от напряжения выступил на лбу холодный пот.

Судно едва успело выскочить на чистую воду, как позади с треском сошлись льдины.

Семейку оставили силы, и он опустился на палубу. По лицам казаков струились слезы.

Держа в руке факел, Соколов приказал казакам идти спать, Семейке же с Умаем велел немедленно сварить поесть для Трески и Буша: мореходам предстояло всю ночь дежурить у кормила.

Наступившее утро исторгло из казачьих глоток крик радости: впереди, совсем близко, маячили белые вершины гор.

К полудню судно бросило якорь возле устья какой-то речушки.

Решено было спустить бот и наловить сетью рыбы.

Однако ни у кого из казаков, не исключая и Соколова, не было уже сил сесть на весла. На ногах держались только Треска с Бушем да Семейка с Умаем. Они и отправились на устье.

До берега гребли, поочередно меняясь на веслах. Вытащив бот на приливную полосу, они вынуждены были лежать на песке, пока смогли подняться на ноги. Затем снова толкнули бот в воду и вошли в устье реки. Была она совсем невелика, не шире их сети. Но рыба толкалась в ней густо, лезла прямо под весла.

С первого же замета взяли два десятка кетин.

Опасаясь, что не хватит сил добраться до судна, решили изжарить пару рыбин на костре. Ели без соли. Затем, погрузив в бот подсохшую сеть, отупевшие от забытого ощущения сытости, взялись за весла. К судну пригребли уже в сумерках.

Простояв на якоре двое суток, пока казаки набирались сил, судно взяло курс вдоль берега. Льды занесли их далеко на юг от Охотска.

Пятого июля мореходам открылся лиман Охоты и Кухтуя, стены и башенки Охотского острога.

Сойдя на берег, казаки целовали песок на охотской кошке, обнимали землю, ощупывали ее руками: им еще не верилось, что они добрались живыми до твердой суши.

На берегу Семейку с Умаем ожидали печальные новости. Прошлым летом по тайге прошел черный мор, унесший целые стойбища. Умер старый Шолгун, умерла Лия. Привезенное Умаем известие о том, что на Камчатке действительно много незанятых тундр, удобных для оленеводства, теперь мало кого из ламутов могло заинтересовать, разве что северные роды Долганов и Уяганов, меньше пострадавшие от мора.

Семейка, распрощавшись с другом, отправился вместе с Соколовым и всей командой в Якутск. Прибыли они туда осенью. Сил Соколова хватило ровно настолько, чтобы доложить воеводе об удачном окончании экспедиции, сдать пушную казну и ясачные книги. Однако он успел поговорить с воеводой о своем толмаче, и тот выправил Семейке нужные бумаги для путешествия в Москву.

В покосившейся хате казацкой слободки прощался Семейка с Соколовым. Прощание было тягостным. Из всех щелей дома пятидесятника глядела нужда. Шестеро ребятишек — от пяти до двенадцати лет — копошились в тряпье на печи. Жена Соколова, вялая, измученная женщина, тихо всхлипывала в углу, предчувствуя беду.

Соколов силился улыбнуться Семейке.

— Ты езжай... — говорил он. — Не дам я одолеть себя косоротой старухе. Как доберешься, сразу же отпиши мне. Я пришлю тебе денег на учебу. Мне за служ-

бу мою полагается получить немало. Четыре года женке моей воевода не платил жалованья — накопилось много...

Выходя из дома, Семейка уже знал, что прощание это — навсегда. Пятидесятник был так плох, что Семейке стоило большого труда сдержать слезы...

В тот же день обоз с ясачной казной отправился из Якутска. С ним выехал и Семейка — в Москву, в Навигацкую школу.

ЭПИЛОГ

Последнее воскресенье июля 1737 года в Якутске выдалось знойным. В деревянной приземистой церкви о трех куполах только что отслужили обедню.

Высыпав из душной церкви на еще более душную улицу, народ заспешил по домам, чтобы в прохладных сенцах отвести душу ледяным кваском.

На дощатой церковной паперти, сложив по-турецки босые ноги и уронив нечесаную белую голову на грудь, дремал нищий. Жидкобородый промышленный хотел было бросить медяк в его перевернутую шапку, но задержал руку и толкнул старика обутой в красный сапог ногой:

— Эй ты, лядаший! Оглох, что ли? Я ведь бесчувственным истуканам не подаю.

Нищий поднял подслеповатые, мутные глаза на купца. По его лицу прошла гримаса отвращения. Сморгнув набежавшую слезу, он, так и не ответив, снова уронил голову на грудь.

— Да ты что, аль немой? — озлился жидкобородый, задетый таким пренебрежением. — Тебе говорю! — пнул он нищего.

Тот вдруг отбросил назад голову, морщины его лица задвигались, и он глухо, как из подземелья, проговорил:

— Уйди подальше, мучитель. Не хочешь подавать — не надо. Я ведь ничего у тебя не прошу.

— Да ты кто таков, чтоб меня отсылать подальше? — побагровел жидкобородый. — Гляди, кликну какого-нибудь служилого, сгонит он тебя с паперти.

— Зря стращаешь меня служилыми, — спокойно отозвался старик. — Я и сам служилый. Четверть ве-

ка на государственной службе проходил. Слышал ли ты про морехода Буша? А? Никто не смеет обиды мне творить. Потому как все силы я отдал службе государственной. Не осталось теперь сил. Вот и сижу тут, пока господь не приберет.

Жидкобородый, словно что-то вспомнив, оживился и, ядовито улыбаясь, наклонился к Бушу:

— А не тот ли ты швед государев, что вместе с Соколовым и Треской путь морской на Камчатку проведывал? А что случилось с Соколовым? Разбогател он, поди, от наград царских и куда-нибудь на покой отбыл, оставив службу?

— Соколов-то? — переспросил старик. — Отбыл он. Да, на вечный покой отбыл. И недели не прожил после возвращения с Камчатки... А награды какие ж? Наград, знамо, не дождался.

Жидкобородый удовлетворенно хмыкнул и выпрямился. Пошарив глазами по паперти, отыскал камень, поднял его и бросил в шапку.

— Ну спасибо тебе, страдалец, за рассказ твой. Утешил ты меня. Награда твоя в шапке лежит. Гляди, какая шапка стала тяжелая. Так что помолись за меня богу и не забудь всех промышленных, из кого Соколов вытряс душу в Охотске.

Стоявшие за спиной жидкобородого промышленные громко захохотали. Затем вся компания спустилась с паперти на пыльную площадь и направилась в кабак.

Все это видели трое приезжих морских офицеров. Старший из них, краснощекий плотный человек в белом праздничном парике, покрытом треуголкой, глядя вслед удаляющимся купцам, схватился за рукоять сабли, словно собираясь кинуться за ними вдогонку.

— Какая неслыханная наглость! — возмущенно проговорил он, обернувшись к своим более молодым спутникам, один из которых был бледен и задыхался от гнева. Затем краснощекий, сведя широкие черные брови, сунул руку за пазуху и, вытащив целую горсть золотых монет, бережно высыпал их в шапку нищего:

— Возьми, старик. Этого тебе хватит на год. Считай, что это от покойного государя.

Нищий, словно не доверяя своим глазам, сунул руку в шапку и долго перебирал монеты. А когда поднял голову, на паперти оставался один молодой офи-

цер, двое его товарищей удалялись в сторону воеводского дома.

— Эй, сынок, за кого мне молиться? — спросил старик.

— Молись, Буш, за командора Витуса Беринга. Он заставит воеводу вспомнить о тебе и в Петербург отпишет. Это говорю тебе я, Семейка Ярыгин.

— Семейка Ярыгин? — торопливо поднялся на ноги старик и, обняв офицера, вдруг заплакал. — Сынок, вот и дожил я до светлого дня. Хоть тебе-то удалось в люди выйти.

— Где ты живешь? — торопливо спросил Семейка. — Вечером я зайду к тебе. Сейчас мне надо быть у воеводы.

Старик рассказал, как его разыскать, и Семейка зашагал через площадь. Он был силен и молод и не мог дать волю слезам, которые кипели у него в груди.

А Буш, сойдя с паперти, пересыпал золото из шапки в карман и, шатаясь от слабости, побрел в другую сторону. Государева служба оставляла человеку ровно столько сил, чтобы их хватило добрести до могилы. Жесткая усмешка перекосила старику губы, и он упрямо поплелся дальше.



ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Глава первая.</i> Тюремный сиделец	5
<i>Глава вторая.</i> Достижение Камчатки	26
<i>Глава третья.</i> Черное утро	48
<i>Глава четвертая.</i> Прощание	58
<i>Глава пятая.</i> Нападение	66
<i>Глава шестая.</i> На пепелище	76
<i>Глава седьмая.</i> Пир	88
<i>Глава восьмая.</i> После пира	97
<i>Глава девятая.</i> Арест	106
<i>Глава десятая.</i> Ящерница	115
<i>Глава одиннадцатая.</i> Степанида	128
<i>Глава двенадцатая.</i> День последний	134
<i>Глава тринадцатая.</i> Осада	142
<i>Глава четырнадцатая.</i> Открытие Курил	147
<i>Глава пятнадцатая.</i> Семейка теряет друга	153
<i>Глава шестнадцатая.</i> Разбойник	160
<i>Глава семнадцатая.</i> Перемены в Охотске	177
<i>Глава восемнадцатая.</i> Пожар	192
<i>Глава девятнадцатая.</i> Засада	198
<i>Глава двадцатая.</i> Шолгун	209
<i>Глава двадцать первая.</i> К цели	218
<i>Глава двадцать вторая.</i> Слово и Дело государево	231
<i>Глава последняя</i>	242
<i>Эпилог</i>	251

ОТ РЕДАКЦИИ

1935—1976 — даты жизни автора этой книги Арсения Семенова. Он нескольких недель не дожидаясь выхода романа в свет.

А. Семенов написал пять стихотворных сборников. Последнего из них он тоже не дождался. Перу Семенова принадлежат две исторические повести.

Он родился в деревне Язвы под Новгородом. Окончил школу в Старой Руссе, затем — Ленинградский государственный университет. Был директором Корякского окружного и Камчатского областного музеев. Заведовал отделом культуры. Работал редактором в Хабаровском книжном издательстве.

Многолетняя мучительная болезнь не победила дух писателя. Он никогда не жаловался, обладал огромной выдержкой. Не просил для себя послаблений. Вообще ничего не умел просить для себя. И очень много работал. Работал, будучи уже настолько слаб, что не под силу ему подняться на несколько ступеней по лестнице. Работал и в последний год, когда не мог сам разбирать написанное.

Корректур романа «Землепроходцы» была им получена 4 февраля. Арсений Васильевич знал, что дни его, даже часы, сочтены. Но он видел и то, что произведение не завершено.

Он написал эпилог.

8 февраля Семенова не стало. Ушел из жизни человек, на чьем примере надо учиться мужеству и воле.

Семенов А. В.

С30 Землепроходцы. Роман. М., «Молодая гвардия», 1976.

256 с. с ил. (Стрела.)

Роман «Землепроходцы» рассказывает об освоении Камчатки и побережья Охотского моря русскими служилыми людьми в начале XVIII века. В романе рядом с вымышленными героями действуют реально существовавшие личности, в их числе Владимир Атласов. Увлекательный сюжет, богатый этнографический материал, красочность языка делают книгу интересной для широкого круга читателей.

С 70302—129
078(02)—76 257—76

P2

Арсений Васильевич Семенов
ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ

Редактор *В Жигунов*
Художественный редактор *Б. Федотов*
Технический редактор *Р Грачева*
Корректоры *А. Стрелихеева, З Харитонова*

Сдано в набор 18/XII 1975 г. Подписано к печати 26/IV 1976 г. А05078
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 1. Печ. л. 8 (усл. 13,44). Уч.-изд. л. 13,9.
Тираж 100 000 экз. Цена 61 коп. Т. П. 1976 г., № 257. Заказ 2219.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии:
103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

61 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ